Теренс Х. УАЙТ

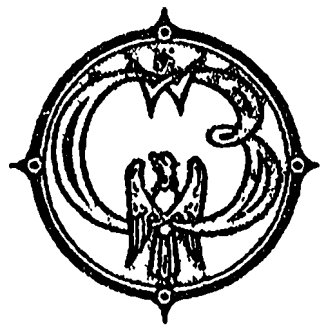
СВЕЧА НА ВЕТРУ



Король
былого и грядущего







T.H. WHITE

THE ONCE AND FUTURE KING

КОРОЛЬ БЫЛОГО И ГРЯДУЩЕГО

ТЕТРАЛОГИЯ

Теренс Хэнбери
УАЙТ

РЫЦАРЬ, СОВЕРШИВШИЙ ПРОСТУПОК

III

СВЕЧА НА ВЕТРУ

IV

Санкт-Петербург
«СЕВЕРО-ЗАПАД»
1993

ББК 84.4 Вл
У 12

Перевод с английского
Сергея Ильина

Уайт Т. Х.

У 12 Свеча на ветру: Том 2 тетралогии «Король былого и грядущего». Книга третья — «Рыцарь, совершивший проступок»; книга четвертая — «Свеча на ветру» / Пер. с англ. — СПб.: Северо-Запад, 1993. — 480 с.
ISBN 5-8352-0095-1 (т. 2)
ISBN 5-8352-0093-5

Тетралогия «Король былого и грядущего» английского писателя Теренса Хэнбери Уайта (1906—1964) — одна из самых знаменитых и необычных книг жанра «фэнтези», наряду с эпопеей Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец» и трилогией «Горменгаст» Мервина Пика. Воссозданная на основе британских легенд и мифов история «короля былого и грядущего» Артура, его учителя, волшебника Мерлина, рыцарей Круглого Стола представляет собой удивительное сочетание фантастической сказки и реальной истории, юмористики и трагедии.

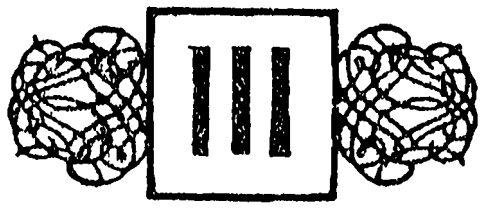
В настоящем, первом издании на русском языке тетралогия публикуется в двух томах: I — «Меч в камне» (Кн. 1 и 2), II — «Свеча на ветру» (Кн. 3 и 4).

Перепечатка отдельных глав и всего произведения в целом — запрещена. Всякое коммерческое использование данного произведения возможно исключительно с ведома издателя.

© С. Ильин, перевод, 1993
© С. Степанов, перевод стихов, 1993
© Составление, оформление. Издательство «Северо-Запад», 1993
® Северо-Запад. Зарегистрированная торговая марка. Охраняется законом.

ISBN 5-8352-0095-1 (т.2)
ISBN 5-8352-0093-5

РЫЦАРЬ, СОВЕРШИВШИЙ ПРОСТУПОК



«Ну нет, — сказал сэр Ланселот, — ...ибо рыцарь, однажды опозоренный, не смоет позора никогда.»

INCIPIT LIBER TERTIUS

1

В Замке Бенвика мальчик-француз разглядывал свое лицо, отраженное полированной поверхностью шлема. Шлем отливал на солнце упрямым металлическим блеском. В сущности, он мало чем отличался от касок, какие и поныне носят солдаты, — зеркало из него было плохое, но лучшего мальчику раздобыть не удалось. Он вертел его так и этак, надеясь получить общее представление о своем лице по различным искажениям, создаваемым выпуклостями шлема. Он хотел уяснить, что он собой представляет, и страшился того, что ему предстояло узнать.

Мальчику казалось, что в нем есть какой-то изъян. Всю свою жизнь — даже став великим человеком и увидев мир лежащим у своих ног — он ощущал этот недостаток: нечто, таившееся в самой глубине души, осознаваемое, постыдное, но так и не понятое. Не стоит и нам пытаться это понять. Не нужно из праздного любопытства ломиться в дверь, которую он предпочел оставить закрытой.

Стены Оружейной, посреди которой стоял мальчик, украшали орудия войны. Последние два часа он без остановки крутил в воздухе пару гантелей (он называл их «грузиками») и пел сам себе песню без слов — равно как и без мотива. Ему было пятнадцать лет. Он только что вернулся из Англии, где отец его, Король Бан Бенвикский, помогал Английскому Королю в подавлении мятежа. Если вы помните, Артур намеревался созвать для Круглого Стола именно юных рыцарей и приметил на пиру Ланселота, победившего в большинстве игр.

Ланселот, размахивая в воздухе гантелями и издавая бессловесный шум, напряженно размышлял о

Короле Артуре. Он был влюблен в Короля. Потому-то он и размахивал своими «грузиками». Он помнил каждое слово того единственного разговора, который состоялся между ним и его героем.

Когда они грузились на корабль, чтобы отплыть во Францию, Артур, поцеловав на прощание Короля Бана, окликнул Ланселота, и они вдвоем отошли в один из тихих уголков судна. Фоном для их разговора служили украшенные гербами паруса Банова флота, матросы на корабельных снастях, орудийные башни, лучники и чайки, похожие на хлопья свинцовых белил.

— Ланс, — сказал Король, — отойдем на минутку, ладно?

— Сэр.

— Я присматривался к тебе во время игр на пиру.

— Сэр.

— Похоже, ты победил в большинстве из них.

Ланселот скосил глаза к кончику носа.

— Мне нужны люди, искусные в играх, и побольше, чтобы помочь в осуществлении одной идеи. Не сейчас — после, когда я действительно стану Королем и в моем королевстве наступит покой. Вот я и подумал, может быть, ты согласишься помочь мне, когда подрастешь?

Мальчик словно бы поежился и вдруг поднял на собеседника вспыхнувшие глаза.

— Это касается рыцарей, — продолжал Артур. — Я собираюсь основать рыцарский орден — что-то вроде Ордена Подвязки — который сможет противостоять Силе. Ты бы хотел присоединиться к нему?

— Да.

Король вглядывался в мальчика, затрудняясь понять, польщен ли тот, напуган или просто не хочет показаться невеждой.

— Ты понимаешь, о чем я говорю?

И тут Ланселот совершенно обескуражил Артура.

— У нас во Франции это называется «Fort Mayne» — «Сильная Рука», — пояснил он. — Самый

сильный человек в клане добивается положения главы, а после этого творит, что захочет. Потому мы и зовем это «Сильной Рукой». Ты хочешь положить конец правлению Сильной Руки, собрав воедино рыцарей, которые больше верят в правоту, чем в силу. Да, мне бы очень хотелось стать одним из них. Но сначала мне нужно вырасти. Спасибо. Теперь же — прощай.

И они отплыли из Англии — мальчик стоял на носу корабля, не оглядываясь, ибо не желал высказывать того, что чувствовал. В ночь свадебного пиршества он уже влюбился в Артура и увозил с собою во Францию запечатленный в душе образ блестящего северного короля, сидевшего за вечерней трапезой в блеске и славе своих военных побед.

За черными глазами, которые усиленно вглядывались в шлем, таился сон, виденный Ланселотом прошлой ночью. Семь столетий назад — или пятнадцать, если принять хронологию Мэлори, — человек относился к снам так же серьезно, как нынешний психиатр, а сон Ланселота был сном тревожным. Не потому, что он означал что-либо, — ибо что этот сон означает, мальчик и представить не мог, — а потому, что он оставил после себя чувство утраты. Вот что ему приснилось.

Сначала Ланселот и его младший брат, Эктор Окраинный, сидели в креслах. Затем они поднялись и вскочили на коней, и Ланселот сказал: «Едем разыскивать то, чего не найдем». Так они и поступили. Но Муж Силы напал на Ланселота и побил его, и сорвал с него облачение, и нарядил его в другие одежды, все в узлах, и заставил его ехать верхом на осле вместо коня. И так Ланселот выехал к источнику, которого прекраснее никогда не видывал в жизни, и сошел с осла, чтобы напиться. И казалось ему, что нет ничего лучше на свете, как испить из того источника. Но едва только он потянулся губами к воде, она отступила. Она уходила вниз, и он не мог

до нее дотянуться. Это бегство воды оставило в нем ощущение покинутости.

Артур, и источник, и гантели, которым предстояло сделать его достойным Артура, и боль в руках, уставших вращать гантели, — все это смутно теснилось в сознании мальчика, пока он так и этак клонил шлем, держа его в ладонях, но голову мальчика занимала иная мысль — мысль о лице, отраженном в металле, и о чем-то, что, свихнувшись в глубине его духа, породило такое лицо. Он не был склонен к самообману. Он знал, что, как ни верти в руках морион, нового тот ничего не расскажет. Он давно уж решил, что, повзрослев и став настоящим рыцарем, изберет себе прозвание, полное грусти. Его как старшего сына непременно положат в рыцари, но он не примет имени «сэр Ланселот». Нет, он назовет себя Кавалером Мальфет — Рыцарем, Совершившим Проступок.

Насколько мальчик мог различить, — и, конечно, думал он, тому должна иметься причина, — лицо его было столь же уродливо, сколь у чудища из зверинца Артура. Более всего он походил на африканскую обезьяну.

2

В конце концов Ланселот стал величайшим из рыцарей Короля Артура. Он стал тем, чем в крикете был Брадман, — обладателем наивысшего турнирного рейтинга. Вторым и третьим были Тристрам и Ламорак.

Однако следует помнить, что человек не может стать хорошим игроком в крикет, не потратив достаточного времени на учение, и что рыцарский поединок, как и крикет, был своего рода искусством. Во многом он и походил на крикет. На каждом турнире имелся судейский шатер с самым настоящим судьей внутри, который помечал на пергаменте набранные баллы, точь-в-точь как теперешний крикетный судья отмечает очки за каждую пробежку. Да и зрителям, разгуливавшим в праздничных нарядах вокруг турнирного поля, от главной трибуны к шатру с буфетом, поединки должны были казаться очень похожими на спортивные игры. Времени на них уходило преизрядно — подачи сэра Ланселота, если он бился с добрым рыцарем, часто занимали весь день, — а в движениях бойцов, по причине тяжести вооружения, было нечто от замедленной съемки. Когда начиналась рубка, сражающиеся вставали один против другого на зеленом лугу, совершенно как бэтсмен и боулер, — с той только разницей, что стояли они друг к другу поближе, — и, скажем, сэр Гавейн начинал с дуговой подачи, а сэр Ланселот уклонялся, изящно скользнув по траве ногой, на которую переносился вес, затем сэр Ланселот отвечал йоркером, прорывавшим защиту сэра Гавейна, — только называлось это «сделать выпад», — и все окружавшие поле разражались аплодисментами. И может быть, в королевском шатре Артур поворачивался к Гвиневере и от-

мечал, что техника работы ногами у великого человека, как и всегда, отменна. Сзади с рыцарских шлемов свисали маленькие занавесочки, защищавшие металл от горячего солнца, — наподобие тех носовых платков, которые в наши дни игроки в крикет иногда прилаживают к своим кепкам.

Рыцарская потеха была искусством в той же мере, в какой им является и крикет, и, может быть, единственное, чем Ланселот отличался от Брадмана, это значительно большее изящество. Ему не приходилось сгибаться над битой и скакать за мячом к середине поля. Он больше походил на Вулли. Невозможно, однако, стать похожим на Вулли, если просто сидишь на стуле и очень хочешь быть на него похожим.

Оружейная, где стоял со своим морионом мальчик, ставший впоследствии сэром Ланселотом, была самым большим из помещений Бенвикского Замка. Именно здесь предстояло мальчику провести (с перерывами для сна) бо́льшую часть ближайших трех лет.

Комнаты главной части замка, которую он мог видеть из окон, были в большинстве своем маленькими, потому что когда строишь крепость, о роскоши думать не приходится. Внутреннюю цитадель с ее комнатушками окружал поместительный скотный двор — сюда на время осады загоняли принадлежащие замку стада. Вокруг двора шла высокая стена с башнями, а по внутренней ее стороне были пристроены просторные помещения, необходимые для устройства складов, амбаров, казарм и конюшен. В одном из них — между конюшней на пятьдесят лошадей и коровниками — и располагалась Оружейная. Самое лучшее фамильное оружие — ту его часть, которой действительно пользовались, — держали в цитадели, в одной из комнатушек, здесь же хранилось вооружение для войска, запасные части к родовому оружию и разного рода приспособления,

потребные для занятий гимнастикой, упражнений и физических тренировок.

Под стропилами кровли, совсем близко к ней, в изобилии висели или стояли, прислоненные, вымпелы и флажки с геральдическими фигурами Бана, — со «стягами Франции», как их теперь именуют, — могущие пригодиться при том или этом случае. Вдоль стены располагались турнирные копья, горизонтально уложенные на торчащие из стены гвозди так, чтобы не коробились. Они походили на гимнастические брусья. В одном из углов стояли торчком копья старые, уже покривившиеся или как-то иначе попорченные, но еще на что-то годные. На козлах, тянувшихся вдоль второй длинной стены, размещалось вооружение пеших воинов — кольчуги-безрукавки, латные рукавицы, дротики, морионы и бордосские мечи. Королю Бану повезло, что он жил в Бенвике, ибо именно в этих местах выделывались наилучшие бордосские мечи. Здесь имелись и особые бочонки, в которые снопами набивали оружие, отправляясь в заморские экспедиции, — некоторые бочонки так и оставались неразобранными после недавнего вояжа и содержали удивительную смесь самых разных вещей. Дядюшка Скок, ведавший Оружейной, начал было распаковывать один из них, чтобы составить опись его содержимого, и в отчаянии удалился, обнаружив в нем десять фунтов фиников и пять голов сахару. Скорее всего, то был медовый сахар, если не те сахарные головы, что привозят из Крестовых походов. Дядюшка Скок бросил рядом с бочонком начатый список, в коем среди прочего значились: салад с забралом, златом украшенный, латных рукавиц осемь пар, покров парадный, карт колода, одежды верхние, бригантин пара, урыльник серебряный, X сорочек для моего Господина, камзол кожаный и кошель с шахматными фигурами. Далее, в алькове, образованном бочонками, располагались полки, составлявшие лазарет для увечного вооружения. На полках стояли огромные бутыли с оливковым мас-

лом — теперь для оружия используют минеральное, но во времена Ланселота этих тонкостей не ведали, — короба с тончайшим шлифовальным песком, мешочки с панцирными гвоздями по одиннадцати шиллингов и восьми пенсов за двадцать тысяч, с клепками, с запасными кольчужными кольцами, с кожами для вырезывания новых ремешков и подкладок к наколенникам, и с ними тысячи иных деталей, некогда чарующих, а ныне утративших для нас всякий смысл. Имелись тут и гамбизоны, очень похожие на щитки, какие носит хоккейный вратарь, или на стеганые одежды американских футболистов. По углам были рассованы — так, чтобы в середине комнаты оставалось побольше места, — разнообразные гимнастические снаряды вроде чучел для упражнений с копьем и прочего, а близ двери помещался стол дядюшки Скока. Стол усеивали гусиные перья, песок для присыпки написанного, трости, чтобы лупить Ланселота, когда на него нападала тупость, и невыразимо путаные заметки касательно того, какие из гамбизонов были в последнее время заложены, — ломбарды владельцам драгоценных доспехов сам Бог послал — какие шлемы удалось подновить посредством шлифовки, какие наручи нуждаются в починке и сколько было заплачено кому за какую потраву, которая когда.

Три года могут показаться мальчику бесконечно долгим сроком, если он проводит их в одной комнате, покидая ее лишь для того, чтобы поесть, поспать и поупражняться в бое на копьях. Трудно даже представить себе мальчишку, способного на такое, если только не уяснить с самого начала, что Ланселот не был романтиком и галантным кавалером. Теннисон и прерафаэлиты так и не сумели понять этого довольно-таки угрюмого и слишком требовательного к себе мальчика с некрасивым лицом, так никому и не открывшего, что основное содержание его жизни составляют мечты и молитвы. Они, возможно, дивились, откуда в нем столько жесто-

кости по отношению к себе самому, жестокости, подвигнувшей его в столь юном возрасте так сокрушать собственное тело. Они дивились, возможно, отчего он такой странный.

Сначала ему пришлось провести несколько изнурительных месяцев, наскакивая на дядюшку Скока с зажатой под мышкой притупленной пикой. С головы до ног облаченный в доспехи, дядюшка Скок восседал на стуле, а Ланселот со своим безвредным оружием раз за разом нападал на него, заучивая те места на доспехах, в которые лучше всего направлять острие. Были также одинокие часы с «грузиками» и множество иных, проведенных под открытым небом, в которые он изучал различные виды бросков, швыряя рогатину или копье, или просто жердину, — пока ему не дозволили хотя бы притронуться к настоящему оружию. После этого, после года подобных трудов, его допустили до чучела. Оно представляло собой врытый в землю кол, и Ланселоту надлежало сражаться с ним, вооружась щитом и мечом, — своего рода бой с тенью или с боксерской грушей. В этом «бою» Ланселоту приходилось использовать вооружение, весившее вдвое больше привычных щита и меча — фунтов под шестьдесят, — чтобы потом настоящее оружие не тяготило руку. В сравнении оно показалось бы легким. Последнюю стадию воспитания истинного мастера крикета составляли потешные бои. На ней, после всех горестных препон, воздвигаемых дисциплиной, его наконец-то допустили до почти настоящего боя с братьями и кузенами. Схватки проводились по строгим правилам. Сначала полагалось метнуть тупое копье, затем нанести семь ударов мечом, у которого были затуплены кромки и острие, «не сближаясь и не тягая друг друга за длани под страхом сурового наказания, каковое сочтут надлежащим судьи, приставленные надзирать за боем». Выпады почитались в этих состязаниях недопустимыми, то есть колющий удар запрещался. И наконец настал черед для вольного

боя. Окрепший к этому времени мальчик мог на свой страх и риск нападать на своих сотоварищей с мечом и тарчем.

Если вам доводилось спускаться под воду в одном из тех стародавних водолазных костюмов, какими пользовались в английском военном флоте до наступления эры легких водолазов и аквалангистов, вы, наверное, знаете, почему водолазы так медленно движутся. У водолаза на каждой ноге висит по сорок фунтов свинца да еще две свинцовых пластины — весом в пятьдесят фунтов каждая — на спине и на груди. Это помимо веса костюма и шлема. Пока водолаз на суше, он весит вдвое больше нормального человека. Переступить через лежащий на палубе канат или воздушный шланг для него — тяжелейший труд, то же самое, что влезть на стену. Если толкнуть его в грудь, тяжесть, прикрепленная к спине, перевесит, и он может грохнуться навзничь. И наоборот — толкните его в спину, и он рухнет ничком. Опытные водолазы приноравливаются к такого рода помехам и довольно проворно переставляют сорокафунтовые ноги вверх и вниз по судовому трапу, но водолаза-любителя сам тяжкий труд передвижения способен утомить до полусмерти. Ланселоту, словно водолазу, пришлось учиться проворству, пребывая под гнетом силы тяжести.

Да и не только в этом отношении рыцарь в доспехах схож с водолазом.

Помимо шлемов, сложностей с дыханием и затрудненности передвижения, и тем, и другим приходится для облачения в свои костюмы прибегать к содействию благожелательных и аккуратных помощников. И полагаться на этих помощников в том, что они все сделают как до́лжно. Водолаз отдает свою жизнь в руки одевающих его матросов. Эти молодые люди, подобно пажам и оруженосцам, нянчатся с ним, проявляя немалую нежность, заботливость и своего рода попечительное уважение. И обращаются они к нему только по титулу, никогда по имени. «Садитесь, во-

долаз», — говорят они; или: «А теперь левую ногу, водолаз»; или: «Водолаз-два, вы слышите меня по внутренней связи?».

Хорошо, когда можно отдать свою жизнь в чьи-то руки.

И так целых три года. Прочих мальчиков все это заботило мало, у них и без того хватало забот, — но для мальчика-уродца в эти труды умещалась вся полнота его темной и потаенной внутренней жизни. Он был обязан предстать перед Артуром искусным и разносторонним спортсменом, и он был обязан размышлять над теорией рыцарства, даже лежа ночами в постели. Ему надлежало выработать твердые мнения по сотням спорных вопросов — о должной длине оружия или покрое гербового намета, о креплении латного оплечья или о том, более ли пригоден кедр для изготовления копий, нежели осина, как, по-видимому, считал Чосер.

Вот небольшой пример, одна из занимавших рыцарство проблем, над которыми размышлял Ланселот в те ранние годы. Был некогда рыцарь, носивший имя Рено де Рой, коему привелось однажды сразиться на копьях с рыцарем по прозванию Иоанн де Голланд. Рено намеренно так закрепил свой турнирный шлем — огромный, набитый соломою барабан, иногда надеваемый поверх собственно шлема, — что барабан этот еле держался. И когда Иоанн Голландский ударил в шлем острием копья, тот просто слетел. То есть шлем свалился с Рено вместо того, чтобы самому Рено свалиться с коня. Действенный трюк, но опасный, — долгое время все рыцарство судило и рядило о нем, одни говорили, что этот прием неспортивен, другие называли его хоть и честным, да рискованным, третьи же полагали, что идея сама по себе недурна.

Три года подчинения дисциплине сделали из Ланселота человека, лишенного веселия в сердце и не склонного распевать «тири-лири». Он отдал тридцать

шесть месяцев жизни, которую в его возрасте и обозреть-то можно было едва ли далее чем на неделю вперед, пожертвовав их замыслу человека, в которого был влюблен. Опорой ему служили мечты. Он желал стать лучшим рыцарем мира, чтобы Артур тоже мог его полюбить, а помимо этого желания имелось у него и другое, в ту пору еще исполнимое. Он желал, чтобы чистота и совершенство позволили бы ему сотворить какое-либо обыкновенное чудо — исцелить слепца, например, или еще что-то подобное.

3

Была одна общая черта у славных семейств, центром притяжения которых стала судьба Артура. Во всех трех имелся свой постоянно живущий рядом с семьей гений-хранитель — нечто среднее между наставником и наперсником, — определивший характер детей каждого из семейств. В замке сэра Эктора им был Мерлин, оказавший решающее влияние на жизнь Артура. В далеком и одиноком Лоутеане имелся святой Тойрделбах, чья воинственная философия, надо думать, во многом определила клановую обособленность Гавейна и его братьев. В замке Короля Бана проживал Ланселотов дядюшка, которого звали Гвенборс. На самом-то деле, мы уже встречали этого старика, известного каждому как дядюшка Скок, но его нареченное имя было Гвенборс. В ту пору имена обыкновенно давали, руководствуясь теми же правилами, в согласии с которым ныне наделяют кличками жеребят и гончих собак. Если вам выпадало родиться королевой Моргаузой и произвести на свет четырех детей, вы вставляли Г во все их имена (Гавейн, Агравейн, Гахерис и Гарет), и, естественно, если вашими братьями оказались Бан и Борс, вам только и оставалось, что называться Гвенборсом. Так легче было запомнить, кто вы такой.

Из всей семьи один только дядюшка Скок принимал Ланселота всерьез, и только один Ланселот принимал всерьез дядюшку Скока. Относиться к старику без особой серьезности казалось проще простого, ибо он принадлежал к тем странноватого сорта людям, над которыми посмеиваются невежды — дядюшка Скок представлял собой истинного маэстро. Отраслью его знаний было рыцарство. Во всей Европе вы не

сыскали бы и единой части доспехов, относительно которой у дядюшки Скока не имелось бы теории. Он гневно порицал новейший готический стиль с его складками, резными узорами и канавками. Он считал смехотворным ношение доспехов, внешний вид которых сильно напоминал переплетение канатов на нельсоновском буфете, ибо очевидно, что любой желобок будет зацепкой для копейного ратовища. Главное назначение хороших доспехов, говаривал он, состоит в том, чтобы острие копья с них соскальзывало, — и как подумаешь о немцах, украшающих свои латы этими жуткими желобами, так просто оторопь берет. Про геральдику он знал все, что только можно было знать. Если кто-либо совершал серьезный промах, помещая один металл или цвет на другой, дядюшка Скок весь бурлил от гнева. Кончики длинных белых усов трепетали, словно антенны, окончания пальцев смыкались в жестах неистовой страсти, он размахивал руками, подпрыгивал, заводил глаза и только что не испускал шипучую пену. Впрочем, все маэстро до единого подвержены такого рода припадкам, и потому Ланселот редко обижался, получая плюху в ходе пылкого препирательства по поводу щитов с вырезом à bouche или относительно того, разумно или неразумно приделывать к щиту ременной навыйник. Порой Ланселот изводил дядюшку Скока настолько, что тот его поколачивал, но мальчик и это сносил. В те времена мальчики были выносливы.

Одна из причин, по которой Ланселот терпел выходки дядюшки Скока, состояла в том, что у того можно было выучиться всему, что мальчик считал необходимым. Дядюшка Скок был не только выдающимся знатоком и авторитетом в своей области, но и одним из первейших во Франции фехтовальщиков. Собственно говоря, и мальчик стремился к тому же: рубить, теснить и колоть под жестокой опекой гения, и нанеся удар от плеча, удерживать тяжкий меч в вытянутой руке, пока не начнет казаться, что вот

сейчас разорвешься надвое, — и все это лишь для того, чтобы дядюшка Скок, дергая за острие, заставлял его вытягиваться пуще и терпеть еще большую муку.

Сколько Ланселот помнил себя, близ него всегда обретался взбудораженный человечек с синевато-стальными глазами, подскакивающий, прищелкивающий пальцами и орущий так, словно от этого зависела жизнь: «Doublez! Dédoublez! Dégagez! Un! Deux!»[1].

Однажды ясным днем в конце лета Ланселот с дядей сидели в Оружейной. В солнечных лучах, заливавших просторную комнату, плясала пыль, которую сами они подняли минуту назад, вдоль стен стояли начищенные доспехи и висели на колышках копья, шлемы и морионы. Кинжалы, коими добивают врага, латы, штандарты и вымпелы с гербами Бана теснились вокруг. Бойцы присели отдохнуть и отдышаться после схватки, дядюшка Скок пыхтел. Ланселоту уже минуло восемнадцать. Фехтовал он теперь лучше, чем его маэстро, — впрочем, дядюшка Скок не желал в этом признаться, а потому и его ученик из вежливости делал вид, что это не так.

Они еще не передохнули, когда появился паж и сказал, что матушка Ланселота призывает его к себе.

— Зачем?

Паж ответил, что приехал джентльмен, желающий видеть его, и Королева просила, чтобы он пришел, не задерживаясь.

Королева Элейна сидела в башенном покое, там, где она обычно ткала гобелены, а по сторонам от нее расположились двое ее гостей. Это была не та Элейна, не одна из корнуольских сестер. В те времена

---

[1] Дуплет! Вилка! Отбить! Раз! Два! (*фр.*)

имя это встречалось нередко, и в «Смерти Артура» его носят несколько женщин, в частности и оттого, что в книге этой смешалось несколько рукописных источников. Трое взрослых сидели в темноватой комнате за длинным столом, словно экзаменаторы. Помимо Элейны, это были пожилой господин, белобородый и в остроконечной шляпе, и приятного вида бойкая девица с оливковой кожей и выщипанными бровями. Все трое уставились на Ланселота, но первым открыл рот пожилой господин.

— Хм!

Прочие молча ждали.

— Вы назвали его Галахадом, — сказал пожилой господин.

— То есть Галахад — его прежнее имя, — добавил он, — а теперь, после конфирмации, его зовут Ланселотом.

— Как вы об этом узнали?

— Тут уж ничего не поделаешь, — ответил Мерлин. — Это из тех вещей, которые знаешь — и все, и говорить больше не о чем. Так, постойте-ка, что еще я вам собирался сказать?

Дамочка с выщипанными бровями поднесла ладошку ко рту и зевнула, изящно, как кошка.

— Через тридцать лет, считая от сегодняшнего дня, исполнится заветнейшее из его сердечных желаний, а кроме того, он станет первым среди рыцарей мира.

— А я доживу до этого? — спросила Королева Элейна.

Мерлин поскреб голову, стукнул по маковке костяшками пальцев и ответствовал:

— Да.

— Ну что же, — сказала Королева, — должна сказать, все это просто чудесно. Ты слышал, Ланс? Тебе предстоит стать лучшим в мире рыцарем!

Юноша спросил:

— Вы прибыли сюда от двора Короля Артура?

— Да.

— Там все в порядке?
— Да. Он посылает тебе привет.
— Король счастлив?
— Очень. И Гвиневера тебе тоже кланялась.
— Какая Гвиневера?
— Милость Господня! — воскликнул волшебник. — Ты ее разве не знаешь? Впрочем, конечно, нет. У меня в голове все перепуталось.

Тут он взглянул на миловидную девицу так, словно это ее вина, — как оно в сущности и было. Девицу звали Нимуя, он, наконец, влюбился в нее.

— Гвиневера, — пояснила Нимуя, — это молодая Королева. Они с Артуром уже несколько времени, как женаты.

— Она дочь Короля Леодегранса, — пояснил Мерлин. — К свадьбе он подарил Артуру круглый стол и сотню рыцарей в придачу. Но за столом достанет места для ста пятидесяти.

— О! — произнес Ланселот.

— Король собирался тебя известить, — сказал Мерлин. — Быть может, вестник утонул по дороге. Наверное, шторм приключился. Нет, правда, он хотел тебя известить.

— О! — во второй раз произнес юноша.

Мерлин заговорил торопливо, ибо понимал, что положение сложилось не из самых ловких. Глядя на Ланселота, он не мог уяснить, обижен ли тот или просто у него всегда такое лицо.

— Пока он успел заполнить лишь двадцать девять сидений, — рассказывал Мерлин. — Двадцать одно осталось незанятым. Свободных мест полно. И на них золотом начертаны имена рыцарей.

Последовала пауза, никто не знал, что сказать. Затем Ланселот откашлялся.

— Когда я был в Англии, — сказал он, — там был один мальчик. Его звали Гавейн. Он тоже стал рыцарем Стола?

Мерлин с виноватым видом кивнул головой.

— Его посвятили в день свадьбы Артура.

— Понятно.

Последовала еще одна долгая пауза.

— А эту даму, — сказал Мерлин, чувствуя, что паузу следует чем-то заполнить, — зовут Нимуя. Я влюбился в нее. У нас что-то вроде свадебного путешествия, только волшебного, и теперь нам самое время отправиться в Корнуолл. Простите, что не смогу погостить у вас подольше.

— Но Мерлин, дорогой, — воскликнула Королева, — вы ведь останетесь на ночь?

— Нет-нет. Спасибо. Огромное вам спасибо. Именно сейчас мы страшно спешим.

— Но, может быть, хоть выпьете стаканчик чего-нибудь на дорожку?

— Спасибо, нет. Вы очень добры, но, право же, нам пора. Мы должны заняться в Корнуолле кое-каким волшебством.

— Вы так ненадолго заглянули... — начала Королева.

Мерлин прервал ее, поднявшись и взяв Нимую за руку.

— Ну, до свидания, — решительно вымолвил он, и оба, пару раз крутанувшись, исчезли.

Исчезли тела, но голос волшебника еще помедлил в воздухе.

— Что ж, вот и дело с концом, — произнес он с облегчением. — А теперь, ангел мой, как насчет того местечка в Корнуолле, про которое я тебе рассказывал, помнишь, с волшебной пещерой?

Медленно Ланселот вернулся в Оружейную к дядюшке Скоку. Он встал прямо перед дядюшкой и закусил губу.

— Я собираюсь в Англию, — сообщил он.

Дядюшка Скок изумленно взглянул на него, но ничего не сказал.

— Уезжаю сегодня.

— Как-то ты неожиданно, — сказал дядюшка Скок. — Твоя матушка обыкновенно не принимает решений с такой быстротой.

— Она ничего об этом не знает.

— Ты что, намерен сбежать?

— Если я скажу матери и отцу, ничего кроме шума не получится, — пояснил Ланселот. — Я не собираюсь убегать. Я вернусь. Но я должен попасть в Англию как можно скорее.

— И ты рассчитываешь, что я ничего не сообщу твоей матери?

— Да, рассчитываю.

Дядюшка Скок подергал себя за усы и скрестил руки.

— Если они проведают, что я мог тебе помешать, — заметил он, — Бан мне голову снимет.

— Не проведают, — безразлично сказал мальчик и пошел собираться в дорогу.

Спустя неделю, Ланселот с дядюшкой Скоком на странном корабле пересекали Ла-Манш. На носу и на корме судна размещались некие подобия крепостей. Еще одна крепость находилась посередке единственной мачты, придавая ей сходство с голубятней. Из нее во все стороны торчали флаги. Нарядный парус нес изображение Святого Креста, а с верхушки мачты свисал громадных размеров вымпел. Судно было о восьми веслах. Обоих пассажиров тошнило.

4

С горестным чувством скакал в Камелот пылкий поклонник Артура. В восемнадцать лет отдать Королю всю свою жизнь и лишь для того, чтобы тебя забыли, — тяжко; тяжко провести столь многие часы в пыли и унынии Оружейной, размахивая тяжелым мечом, — лишь для того, чтобы узнать, что Гавейна посвятили в рыцари первым; а тяжелее всего — день за днем ломать свое тело ради идеала, исповедуемого человеком, который превосходит тебя годами, и, почти достигнув идеала, обнаружить, что под самый конец откуда ни возьмись появилась какая-то ветреница и без особых усилий отняла у тебя любовь этого человека. Ланселот ревновал к Гвиневере и сам стыдился того.

Дядюшка Скок молча трусил следом за горестным молодым человеком. Ему было ведомо нечто, о чем этот зеленый юнец еще не догадывался по молодости лет, — он знал, что его ученик — лучший рыцарь Европы. Дядюшка Скок, трепеща, поспевал за своим вундеркиндом, напоминая синицу, воспитавшую кукушонка. На своем скакуне он вез боевые доспехи, стянутые ремнями в аккуратный тюк, — в согласии с его хитроумными соображениями, ибо отныне он был оруженосцем Ланселота.

Они выехали на лесную прогалину с небольшим потоком посередине. Тут находился брод, и поток бежал, позванивая, по чистым камням, лежавшим на глубине всего в несколько дюймов. Солнце заливало прогалину, ворковали сонные вяхири, а по другую сторону певучего тока возвышался огромный рыцарь в черных доспехах и низко надвинутом турнирном шлеме. Щит его обтягивала парусина, он неподвижно

восседал на черном коне. Прочитать его герб никакой возможности не было. Неподвижный, осанистый в своей железной оболочке, с огромным слепым шлемом на голове, лишавшим его лица, он выглядел очень грозно. Невозможно было понять, о чем он думает и что собирается предпринять. Он казался воплощением опасности.

Ланселот остановился, дядюшка Скок тоже. Конь черного рыцаря перешел неглубокую воду, и рыцарь, оказавшись перед путниками, натянул поводья. Он поднял в приветственном жесте копье и ткнул им куда-то за спину Ланселота. Он то ли требовал, чтобы тот воротился домой, то ли указывал удобное место, с которого они могли бы атаковать друг друга. Как бы там ни было, Ланселот отсалютовал ему рукой в латной рукавице и развернулся, чтобы занять исходную позицию. Он взял у дядюшки Скока одно из копий, натянул на голову висевший за спиной на цепочке шлем, поднял стальное забрало и закрепил его. Теперь и он стал человеком без лица.

Двое рыцарей взирали один на другого с противоположных концов небольшой поляны. Затем, хотя ни один из них так и не произнес до сих пор ни слова, они уперли копья в седельные упоры, пришпорили коней и двинулись друг на друга. Дядюшка Скок, выбравший безопасное место за одним из ближних деревьев, едва сдерживал охвативший его восторг. Он знал, что сейчас случится с черным рыцарем (хоть сам Ланселот не ведал того), и уже начал прищелкивать пальцами.

Когда делаешь нечто впервые, оно, как правило, очень волнует. Скажем, в первый раз самостоятельно управляя аэропланом, буквально не можешь дышать от волнения. Ланселот никогда до того не участвовал в настоящем поединке и хоть он сотни раз атаковал кольца и чучела, всерьез рисковать своей жизнью ему еще не приходилось. В первый миг он подумал:

«Ну вот, дошло и до дела. Теперь мне никто не поможет». Во второй — его действия стали автоматическими, словно перед ним было все то же чучело или кольцо.

Острие копья ударило черного рыцаря под обод оплечья, точно в нужное место. Конь Ланселота шел полным галопом, к которому конь черного рыцаря еще только готовился. Черного рыцаря вместе с конем резко развернуло справа налево, они взлетели в воздух и после небольшого полета по красивой параболе с лязгом грохнулись оземь. Проносясь мимо, Ланселот видел обоих распластавшимися по земле, сломанное копье рыцаря застряло между ног коня, одна из сверкающих подков сдирала парусину с упавшего щита. Всадник и конь сплелись воедино. Каждый из них боялся другого и наносил другому удары, пытаясь освободиться. Наконец конь сумел приподняться, опершись на передние ноги, круп его вздыбился, и рыцарь сел, подняв одну стальную рукавицу так, словно хотел почесать голову. Ланселот натянул поводья и поскакал обратно к рыцарю.

Обыкновенно, если один рыцарь сбрасывал другого с коня, упавший страшно сердился, обвинял в падении своего скакуна и требовал продолжения боя — пешими и на мечах. В виде оправдания, как правило, говорилось: «Хоть сын кобылы меня и подвел, но клянусь, что меч отца моего не подведет никогда».

Однако черный рыцарь поступил необычно. Похоже, он принадлежал к разряду людей гораздо более веселых, чем то подразумевалось цветом его доспехов, ибо, усевшись, он присвистнул сквозь щель шлема в удивлении и восторге. После чего стянул шлем и вытер лоб. Щит, с которого копыто коня сорвало парусину, нес изображение «на золотом поле дракона червленого стоящего».

Ланселот, закинув копье в кусты, со всей поспеш-

ностью слез с коня и преклонил близ рыцаря колено. Любовь снова вспыхнула в нем. Как это похоже на Артура — слетев с коня, не гневаться, но сидеть на земле, издавая восторженные звуки.

— Сэр, — произнес Ланселот, смиренно снимая шлем и склоняя голову на французский манер.

Король в крайнем возбуждении кое-как поднялся на ноги.

— Ланселот! — воскликнул он. — Господи, да это же мальчик Ланселот! Ты сын короля из Бенвика. Я тебя помню, мы виделись, когда король приезжал сюда, чтобы биться под Бедегрейном. Как ты меня спе́шил! Отроду такого не видел! Где ты этому выучился? Потрясающе! Ты не к моему двору направляешься? А как Король Бан? Как твоя очаровательная матушка? Нет, правда, милый ты мой, ты просто великолепно это проделал!

Ланселот поднял взгляд на запыхавшегося Короля, протянувшего обе руки, чтобы помочь ему встать, и горе его и ревность исчезли.

Они взобрались на коней и рысцой поскакали к замку, забыв про дядюшку Скока. Им столько нужно было сказать друг другу, что по дороге оба говорили, не умолкая. Ланселот пересказывал выдуманные послания от Короля Бана и Королевы Элейны, а Артур рассказывал про Гавейна, убившего некую даму. Он говорил о Короле Пеллиноре, столь расхрабрившемся после женитьбы, что он ненароком убил в поединке Короля Лота Оркнейского, и о Круглом Столе, с коим дела шли хорошо — настолько, насколько этого можно было ожидать, только очень медленно, — и о том, что теперь, с появлением Ланселота, все наладится, они и глазом моргнуть не успеют.

Его произвели в рыцари в первый же день, — уже два года как он мог стать рыцарем в любую минуту, но отказывался, не желая, чтобы его посвя-

щал кто-либо, кроме Артура, — и в тот же день Артур представил его Гвиневере. Существует свидетельство, согласно которому Гвиневера была светловолоса, но это свидетельство неверно. Волосы ее были черны, так черны, что это несколько даже пугало, а в выражении синих глаз, глубоких и ясных, обозначалось бесстрашие, от которого тоже становилось не по себе. Странно изломанное лицо юноши удивило ее, но не вызвало страха.

— Ну вот, — сказал Король, соединяя их руки. — Это Ланселот, тот самый, о котором я тебе рассказывал. Ему предстоит стать лучшим моим рыцарем. Меня еще никто так с коня не сбрасывал! Будь с ним поласковей, Гвен. Его отец — один из самых старых моих друзей.

Ланселот холодно поцеловал ее руку.

Он не увидел в ней ничего особенного, поскольку сознание его заполняли картины, им же самим и написанные. Для образа подлинной Гвиневеры места в нем не оставалось. Он думал о ней лишь как о человеке, который его ограбил, а поскольку все грабители злоумышленны, вероломны и бессовестны, он и ее считал таковой.

— Как поживаете? — осведомилась Королева.

Артур сказал:

— Нам придется пересказать ему все, что случилось со времени его отъезда из Англии. Хватит надолго! С чего начнем?

— Начните со Стола, — попросил Ланселот.

— О Господи!

Издав смешок, Королева поворотила к новому рыцарю улыбающееся лицо.

— Артур только о нем все время и думает, — сказал она. — Ему этот Стол даже ночами снится. Да если он проговорит с вами целую неделю, и тогда всего не расскажет.

— Дело идет, и идет неплохо, — сказал Король. — Вообще говоря, невозможно и ожидать, чтобы такое

дело шло без сучка без задоринки. Идея живет, и ее понемногу начинают усваивать, а это уже немало. Я уверен, она заработает.

— А про Оркнейскую партию ты не забыл?

— Дай срок, образумятся и они.

— Это вы о Гавейне? — заинтересовался Ланселот. — Что, собственно, неладно с Оркнейцами?

Король, казалось, смутился:

— По настоящему-то неладно не с ними, — сказал он, — а с их матерью, Моргаузой. Она растила их без любви и защиты, поэтому человека сердечного они попросту не воспринимают. Они подозрительны, всего боятся, и мне никак не удается внушить им наши идеи. Их здесь у нас трое — Гавейн, Гахерис и Агравейн. Во всем этом нет их вины.

— В год нашей свадьбы, — пояснила Гвиневера, — Артур задал на Пятидесятницу первый свой пир и отправил всех на поиски достойных приключений, чтобы посмотреть, что из его идеи получится. А когда они воротились, оказалось, что Гавейн отрубил голову даме, и даже старый добряк Пеллинор оказался не в силах помочь девице, попавшей в беду. Артур ужасно на них разгневался.

— Гавейн был не очень и виноват, — сказал Король. — Он малый хороший. Мне он нравится. Виновата была та женщина.

— Я надеюсь, что с той поры хоть что-то переменилось к лучшему?

— Да. Изменения происходят, правда, медленно, но, по-моему, я все же вправе сказать, что перемены к лучшему есть.

— А Пеллинор сильно сокрушался?

Артур сказал:

— Пеллинор сокрушался, да. Там, впрочем, и сокрушаться было особенно не о чем. Он просто очередной раз все перепутал. С Пеллинором другая беда, он после женитьбы на дочери королевы Фландрии почувствовал такую отвагу, что не на шутку

увлекся поединками и по большей части в них побеждает. Я ведь тебе рассказывал, как они с Королем Лотом затеяли поупражняться и как Пеллинор Лота убил. А в итоге возникла вражда. Дети Оркнея поклялись отомстить за смерть своего отца и устроили настоящую охоту на бедного старину Пеллинора. Мне с большим трудом удалось призвать их к порядку.

— Ланселот поможет тебе, — сказала Королева. — Теперь с тобой старый друг, на которого можно положиться, и все пойдет хорошо.

— Да, теперь все пойдет хорошо. Однако, Ланс, ты, наверное, хочешь увидеть свою комнату?

Лето перевалило за половину, и по всему Камелоту любители соколиной охоты выносили своих птиц на вольный простор, завершая их обучение. Если вы соколятник с понятием, вы постараетесь поскорее поднять своего сокола в воздух. Если же понятия вам не хватает, вы неизбежно наделаете ошибок, и в итоге обучение сокола растянется на долгий срок. По этой причине все соколятники Камелота норовили показать себя с лучшей стороны — сколь возможно раньше спуская соколов — и в какую бы сторону ни направились вы на прогулку по полям, вы бы непременно наткнулись на желчного владельца очередной птицы, распутывающего поводок и бранящегося со своими помощниками. Соколиная охота, как указал еще Яков Первый, до крайней степени распаляет страсти. Дело в том, что сами ловчие птицы — существа чрезвычайно гневливые, и человек, возящийся с ними, перенимает у них эту черту.

Артур подарил сэру Ланселоту, чтобы тот не скучал, еще не перелинявшую до конца самку кречета. Это было немалой любезностью, ибо предполагалось, что кречетами могут владеть лишь одни короли. Во всяком случае, так уверяет нас аббатиса Джулиана

Бернерс, — быть может, не вполне основательно. Императору дозволено владеть орлом, королю — кречетом, а за ними следуют: сапсан для графа, дербник для дамы, ястреб для йомена, перепелятник для священника и пустельга для дьячка. Ланселоту подарок польстил, и он, не теряя времени, ударился в соперничество с прочими сердитыми соколятниками, из коих каждый неустанно трудился, понося методы всех остальных, обмениваясь с ними репликами, пропитанными сладчайшим ядом, и понемногу желтея от зависти.

Подаренная Ланселоту птица еще продолжала мытиться. Подобно Гамлету она была тучна и одышлива. Долгое сидение в кречатне во время линьки сделало ее угрюмой и вспыльчивой. Поэтому Ланселоту пришлось несколько дней отпускать ее на поводке, пока он не уверился, что можно начать занятия с вабилом.

Если вам приходилось когда-либо припускать сокола на поводке, то есть на длинной бечевке, привязанной к опутенкам, чтобы птица не могла улететь, вы знаете, насколько это утомительное дело. В наши дни соколятники пользуются спиннинговыми катушками, что позволяет с большей легкостью и отматывать, и сматывать поводок, но во времена Ланселота хороших катушек не было, и поводок просто сматывали клубком, будто бечевку. При этом клубку грозили две главных напасти — первой из них подвержен всякий клубок, неизбежно обращающийся в путаницу узлов и петель. Вторая же состояла в том, что как только птицу отпускали над плохо выкошенным лугом, бечевка немедля цеплялась за чертополох или пучки травы, задерживая сокола и препятствуя его обучению. По всем этим причинам Ланселот, как и все остальные рассерженные соколятники, слоняясь по окрестностям Камелота, погружался в густую атмосферу соперничества, бьющих крыльями соколов и вяжущейся в узлы бечевы.

Король Артур попросил жену быть с молодым человеком поласковее. Она любила мужа и понимала, что стоит между ним и его другом. Она была не настолько глупа, чтобы пытаться как-то возместить Ланселоту наносимый ею ущерб, однако этот юноша тронул ее воображение. Ей нравилось его изломанное лицо, пусть и уродливое, к тому же Артур сам попросил ее быть с ним поласковее. Помощников для соколятников в Камелоте не хватало — слишком многие нуждались в помощниках — и потому Гвиневера стала бродить с Ланселотом по полям, помогая ему распутывать поводки.

Он ее почти не замечал. «Пришла», — говорил он себе, или: «Уходит». Он уже углубился в воспитание сокола, лишь в малой степени бывшее женским занятием, и его мысли о Королеве редко выходили за описанные выше пределы. При всем безобразии его внешности, он вырос в замечательно вежливого молодого человека, да к тому же был еще и слишком застенчив, чтобы дозволить себе какие-либо игривые помыслы. Он занимался своей птицей, воспитанно благодарил Королеву за помощь и принимал оную со всем положенным вежеством.

В один из дней чертополох в особенности досаждал ему, кроме того днем раньше он промахнулся и перекормил кречета. У кречета настроение было дурное, что передалось и Ланселоту. Гвиневера, мало понимавшая в соколах и не особенно ими интересовавшаяся, испугалась, увидя нахмуренное чело юноши, а испугавшись, стала неуклюжей. Она очень старалась помочь, но сознавала себя несведующей в соколином деле, и оттого мысли ее мешались. Очень старательно и аккуратно, с самыми лучшими намерениями, она совершенно запутала поводок. Ланселот только что не грубым жестом отнял у нее никудышный моток.

— Не пойдет, — сказал он и принялся сердитыми пальцами распускать ее с такой надеждой

сделанную работу. Брови его сошлись угрюмо и страшно.

На миг все застыли. Застыла Гвиневера, уязвленная в самое сердце. Застыл, ощутив ее неподвижность, Ланселот. Застыл, прекратив хлопать крыльями, кречет, смолк шелест листвы.

В этот миг юноша вдруг понял, что обидел живого человека, годами равного ему. По ее взгляду он понял, что кажется ей ненавистным, что он удивил ее своей грубостью. Она со всей сердечностью пыталась помочь ему, он же бессердечно ее оттолкнул. Но самое главное состояло в том, что она — живой человек. Не ветреница, злоумышленная, вероломная и бессовестная, — а прелестная Дженни, способная мыслить и чувствовать.

5

Первыми, кто заметил, что Ланселот и Гвиневера влюбились друг в друга, были дядюшка Скок и сам Артур. Артура об этой любви некогда предуведомил Мерлин, — ныне надежно запертый в своей пещере ветреной Нимуей, — и Артур подсознательно страшился ее. Но знание будущего всегда оставалось для него ненавистным, и он ухитрился выбросить предупреждения Мерлина из головы. Дядюшка Скок отреагировал по-своему, он решил прочитать своему ученику нотацию — они как раз возились в кречатне с усмиренным кречетом.

— Божья нога! — воскликнул дядюшка Скок и присовокупил еще несколько замечаний в этом же роде. — Что с тобой? Что ты творишь? Выходит, лучший рыцарь Европы намерен плюнуть на все, чему я его учил, ради прекрасных дамских глаз? Да и дама-то к тому же замужняя!

— Я не понимаю, о чем ты?

— Не понимаю! Не понимает он! Пресвятая Богородица! — орал дядюшка Скок. — Я о Гвиневере говорю, разве не так? Да пребудет Слава Господня во веки веков!

Ланселот взял старика за плечи и усадил его на сундук.

— Послушай, дядюшка, — решительно сказал он. — Я все собирался с тобой поговорить. Не пора ли тебе возвращаться в Бенвик?

— В Бенвик? — возопил дядюшка, словно кинжалом пораженный в сердце.

— Да, в Бенвик. Не можешь же ты вечно изображать моего оруженосца. Во-первых, ты все-таки приходишься братом двум королям, во-вторых, ты в три

раза старше меня. Это противно всем законам рыцарства.

— Законам рыцарства! — закричал старик. — Пф!

— Конечно, и нечего фыркать.

— И это я, научивший тебя всему, что ты знаешь! Я должен вернуться в Бенвик, не увидев, как ты покажешь себя? Да ведь ты даже мечом ни разу при мне не воспользовался, ни разу не извлек из ножен Весельчака! Это неблагодарность, предательство и вероломство! Горе мне до самой могилы! Кому я поверил? Благие Небеса!

И возмущенный старик испустил длинную череду галльских проклятий, включавшую и «Per Splendorem Dei» — божбу так называемого Вильгельма Завоевателя, и «Pasque Dieu», что отвечало представлениям о хорошей шутке, присущим воображаемому Людовику XI. Видимо, они навели его на вдохновенную мысль так и следовать по королевским стопам, ибо он добавил сюда восклицания Вильгельма Рыжего, Генриха Первого, а также Иоанна и Генриха Третьего, каковыми были (в том же порядке) «Клянусь святым ликом из Лукки», «Клянусь Гробом Господним», «Зубом Господним» и «Господней Главой». Кречет, с явным одобрением взиравший на представление, встопорщил перья, обретя сходство со шваброй, которую служанка стряхивает, высунувши в окно.

— Ну хорошо, не хочешь — не уезжай, — сказал Ланселот. — Но, прошу тебя, не приставай ко мне с разговорами о Королеве. Да, мы друг другу нравимся, и я ничего не могу с этим поделать и ничего не вижу дурного в том, что один человек нравится другому. Это не означает, что мы с Королевой совершаем нечто постыдное. А когда ты принимаешься читать мне нотации, начинает казаться, будто в наших с ней отношениях что-то не так. Словно бы ты дурно думаешь обо мне или сомневаешься в моей чести. Пожалуйста, не упоминай больше об этом.

Дядюшка Скок выкатил глаза, взъерошил свою

шевелюру, похрустел суставами пальцев, перецеловал их кончики и исполнил еще несколько телодвижений, предназначенных выразить его точку зрения. Но более он об этой любви не заговаривал.

Реакция Артура на возникшую проблему была сложной. Предупреждение Мерлина относительно его жены и его лучшего друга содержало в себе противоречие, ибо друг вряд ли может считаться другом, если он тебя предает. Артур обожал свежую, словно розовый лепесток, Гвиневеру и питал к Ланселоту инстинктивное уважение, которому вскоре предстояло перерасти в привязанность. Оттого было трудно и заподозрить их, и не заподозрить.

В конце концов он пришел к заключению, что самое правильное — это взять Ланселота на войну с Римом. Это, во всяком случае, разлучит юношу с Гвиневерой, а иметь рядом с собой своего ученика и к тому же превосходного воина — справедливы ли были пророчества Мерлина или не справедливы — всегда приятно.

Война с Римом была делом путаным и к тому же растянувшимся на несколько лет. Нам нет нужды надолго на ней задерживаться. На свой манер она явилась логическим продолжением Бедегрейна — продолжением той же битвы, но уже с европейским размахом. Феодальную идею войны ради выкупа удалось уничтожить в Британии, но не за ее рубежами, и ныне иноземные охотники до выкупов избрали своей мишенью только что взошедшего на престол Короля. Некий господин по имени Луций, состоявший Диктатором Рима, — и как странно думать о том, что Мэлори именно это слово, «Диктатор», и употребил, — прислал посольство, требуя от Артура дани, — требуемое именовалось «данью» до сражения и «выкупом» после, — на что Король, после консультаций с Парламентом, ответил, что никакой

данью Диктатору не обязан. По сей причине Диктатор Луций объявил Артуру войну. Он разослал также, подобно Ларсу Порсенне у Маколея, послов во все стороны света, вербуя союзников. Из Рима в сторону Верхней Германии — на сражение с Англией — выступило не менее шестнадцати королей. У Луция имелись союзники в Амбагии и Аррагии, Александрии, Инде, Гермонии и Евфрате, в Аффрике и Европе Бескрайней, в Ертании и Эламии, в Аравии, Египте, Дамаске и Дамиате, в Кайре и Кападокии, в Тарсе и Турции, в Понтии и Памполии, в Сарии и Галахии, не считая Греции, Кипра, Македонии, Калабрии, Каталонии, Портингалии, а также многих тысяч Испанцев.

Как раз в первые недели увлечения Ланселота Гвиневерой настало время войскам Артура пересечь Пролив, чтобы встретить врага во Франции, — вот на эту-то войну он и решил взять с собой молодого человека. Ланселот, разумеется, не был в то время признанным главой рыцарей Круглого Стола, иначе вопроса о том, брать его или не брать вообще бы не возникло. К этой поре своей жизни он успел провести всего один поединок на копьях — с самим Артуром, а признанным главою рыцарей был Гавейн.

Ланселот сердился, что его отрывают от Гвиневеры, поскольку усматривал в этом недостаток доверия. Кроме того он знал, что при схожей оказии Король Марк оставил сэра Тристрама со своей женой в Корнуолле, и не понимал, отчего бы и его точно таким же образом не оставить при Гвиневере.

Нет никакой необходимости подробно излагать всю историю римской кампании, хоть она и заняла несколько лет. Это была самая обыкновенная война, противники много шумели, поочередно теснили и разили один другого, потеряли немало людей, и каждый ее день ознаменовывался проявлениями великой доблести и блеском оружия. Одним словом, то был

тот же Бедегрейн, но в более широком масштабе — при том же нежелании Артура относиться к войне, как к спортивному или коммерческому предприятию; впрочем, имелись у этой войны и свои отличительные черты. Рыжий Гавейн, будучи отправлен с посольством, прогневался и в самый разгар переговоров убил одного из послов противника. Сэр Ланселот командовал в страшной битве, в которой силы врага втрое превосходили число его воинов. Он убил царя Ливийского и трех славных лордов, которых звали Алакук, Хирод и Герингдаль. В ходе кампании пали три печально известных великана — двое от руки самого Артура. Наконец, во время последней битвы Артур нанес Диктатору Луцию такой удар по голове, что Эксаклибур дошел до середины груди. Среди зарубленных отыскались также Салтан Сарийский, Король Египетский и Царь Ефиопский, — предок Хайле-Силасии — и с ними еще семнадцать царей из разных мест да шестьдесят сенаторов римских. Артур — отнюдь не из сарказма — повелел уложить их тела в богато изукрашенные гробы и отослал Лорд-Мэру Рима вместо затребованной дани. В итоге Лорд-Мэр и почти вся Европа почли за лучшее признать Артура своим феодальным властителем. Земли Плезанса, Павии, Петрасанта и Порт-Трембило обязались платить ему дань. Как и в Англии, на Континенте феодальные условности по части ведения войн были сокрушены навсегда.

За время войны Артур искренне привязался к Ланселоту и, возвращаясь домой, уже совершенно не верил в пророчество Мерлина. Он оттеснил его в самую глубь своего сознания. Ланселота признали лучшим во всей армии воином. Оба решили про себя, что Гвиневера не сможет встать между ними; так, в спокойствии, миновали первые несколько лет.

6

Какое представление о Ланселоте составляется у людей, обитающих по эту сторону времени? Возможно, они полагают всего лишь, что он был некрасивым молодым человеком, но хорошим спортсменом. Однако в нем присутствовало и нечто иное. Он был рыцарем со средневековым отношением к чести.

Существует присловье, которое еще и в наши дни можно услышать в сельских краях, и оно заключает в себе бóльшую часть того, что мы пытаемся растолковать. К нему прибегают ирландские фермеры, когда говорят в похвалу или в виде лести: «У такого-то есть Слово. Что обещал, то сделает».

Вот и Ланселот стремился к тому, чтобы у него было Слово. Он почитал его, как почитают и ныне темные деревенские жители, драгоценнейшим из имений.

Удивительно, однако, что под венчающей его личность верностью себе и другим таилась натура далеко не праведная. Он ценил свое Слово не только потому, что был человеком достойным, но также и потому, что был человеком дурным. Именно дурные люди и нуждаются в принципах, не позволяющих им распускаться. Прежде всего ему нравилось причинять людям боль. Именно по этой странной причине, по присущей ему жестокости, бедняга ни разу не убил человека, молившего его о пощаде, и не совершал жестоких поступков, если можно было без них обойтись. Да и одна из причин, по которой он полюбил Гвиневеру, состояла в том, что он сразу же причинил ей страдание. Если б не выражение боли в ее глазах, он мог вообще не заметить в ней человека.

По каким только странным причинам не становятся люди под конец жизни святыми. Человек, не пораженный тягой к порядочности, мог просто сбежать с женой своего героя и тогда, быть может, никакой трагедии с Артуром и не случилось бы. Рядовой человек, не протерзавшийся полжизни в стараниях понять, что такое праведность, и тем удержать себя от неправедных дел, мог бы попросту разрубить этот узел, в конце концов приведший их всех к гибели.

Флот, с которым двое друзей воротились в Англию после Римской войны, пристал в Сандуиче. Стоял серый сентябрьский день, синие с медью бабочки порхали в отаве, стрекотали, словно сверчки, куропатки, наливалась краскою ежевика, и фундук еще нежил в устланных ватою люльках свои безвкусные ядрышки. Королева Гвиневера встретила их на берегу, и Ланселот сразу же, пока она еще целовала Короля, понял, что она все-таки может встать между ними. Он дернулся, словно внутренности его вдруг завязались узлом, отдал Королеве честь, не медля отправился в ближайшую харчевню, улегся в кровать и провел в ней без сна целую ночь. Утром он попросил дозволения покинуть двор.

— Да ты и при дворе-то еще не был, — сказал Артур. — Зачем тебе уезжать так сразу?

— Я должен уехать.

— Должен уехать? — переспросил Король. — Что значит «должен уехать»?

Ланселот стиснул кулаки, так что костяшки вылезли наружу, и сказал:

— Я хочу отправиться на поиски приключений. Мне нужны приключения.

— Но Ланс...

— Для того ведь и создан Круглый Стол, разве не так? — выкрикнул молодой человек. — Рыцари должны искать приключений, сражаться с Силой, пра-

вильно? Почему ты пытаешься мне помешать? В этом же главный смысл нашей идеи!

— Да нет, отправляйся, конечно, — сказал Король. — И не стоит так горячиться. Если тебе приспичило ехать, ты, разумеется, можешь поступать, как считаешь нужным. Мне просто хотелось, чтобы ты побыл с нами немного. Ну, не сердись, Ланс. Не понимаю, что на тебя нашло?

— Возвращайся скорее, — проговорила Гвиневера.

7

Так начались его знаменитые поиски приключений. Он предпринимал их не ради славы или развлечения. То были попытки бежать от Гвиневеры. Он пытался спасти свою честь, а не достигнуть почестей.

Нам придется описать одно из его странствий поподробнее, дабы показать, какими способами он пытался рассеяться и каково было в действии его прославленное благородство. К тому же это даст нам представление о состоянии Англии, вынудившем Короля Артура разработать его теорию правосудия. Дело ведь не в том, что Артур был педантом, а в том, что управляемая им Страна Волшебства билась в тенетах такой анархии, что без какой-либо идеи, подобной идее Круглого Стола, она вообще не смогла бы выжить. Воинственные наклонности людей, подобных Лоту, подавить удалось, но непокоренное баронство как жило в своих владениях, так и продолжало жить на разбойничий манер. Эти бароны по-прежнему выдирали зубы евреям, вымогая у них деньги, или поджаривали не поладивших с ними епископов. Вилланов, которым не повезло с хозяином, жгли на медленном огне или поливали расплавленным свинцом, или бросали помирать с выдавленными глазами, и немалое их число ползало тогда по дорогам на четвереньках с перерезанными ахиллесовыми сухожилиями. Любая пустяшная вражда выливалась в истребление беспомощных и бедных, а если по ходу сражения удавалось стащить рыцаря с коня, то доспехи его оказывались завинчены столь основательно, что причинить ему какой-либо вред мог лишь большой специалист. Вот, скажем, в легендарной битве при Бувине удалось спе́шить и окру-

жить Филиппа-Августа Французского, и все же, как ни старалась несчастная пехота его проткнуть, ничего у нее не вышло: вскоре его отбили, и он продолжал сражаться еще даже лучше прежнего, потому что прогневался. Пусть, однако, история первого странствия Ланселота сама и на свой лад расскажет нам о тех сумбурных временах, когда страною правила Сила.

Жили на границе с Уэльсом два рыцаря по прозванию сэр Карадос и сэр Тарквин, оба кельтских кровей. Эта пара закоснелых баронов так и не признала власти Артура и вообще ни в какое правление, кроме насильственного, не верила. Жили они в крепких замках, в окружении нечестивых вассалов, находивших для упражнения в своей нечестивости куда больше возможностей, чем их удалось бы сыскать в сколько-нибудь обустроенном обществе. Бароны существовали подобно орлам, кормящимся своими более слабыми собратьями. Впрочем, сравнение с орлами несправедливо, ибо среди этих птиц нередко встречаются создания, исполненные благородства, в то время как сэр Тарквин решительно ни в каком благородстве замечен не был. Живи он теперь, его, пожалуй, упекли бы в сумасшедший дом, и уж во всяком случае свели бы к психоаналитику.

Однажды, когда сэр Ланселот почти уже месяц проскитался в поисках приключений, все удаляясь от мест, в которых ему хотелось бы находиться, так что каждый шаг коня причинял ему муку, он повстречался с облаченным в доспехи рыцарем, скакавшим на огромной кобыле, перекинув через седельную луку другого рыцаря, спутанного по рукам и ногам. Плененный рыцарь, забрызганный кровью и вымазанный в грязи, был в обмороке. Рыжая голова его билась о кобылью лопатку. Рыцарь, пленивший его, был человеком могучего сложения, по гербу Ланселот узнал, что перед ним сэр Карадос.

— Кто твой пленник?

Огромный рыцарь приподнял свисавший рядом с пленником щит и показал «на золоте стропило червленое средь трех чертополохов стоячих».

— Что ты сделал с сэром Гавейном?

— Не лезь не в свое дело, — ответил сэр Карадос.

Видимо, когда кобыла остановилась, Гавейн пришел в себя, ибо снизу донесся его голос:

— Это вы, сэр Ланселот?

— Как дела, Гавейн? Как вы себя чувствуете?

— Хуже некуда, — сказал сэр Гавейн, — вот разве только вы мне поможете. Ибо если вы не спасете меня, я не знаю другого рыцаря, который на это способен.

Он говорил формально, на Высоком языке рыцарства, — в те дни в ходу было два рода речи, скажем, верхне- и нижненемецкий или французский норманнов и английский саксов.

Ланселот посмотрел на сэра Карадоса и сказал простыми словами:

— Не опустить ли тебе этого рыцаря на землю и не сразиться ль со мной?

— Глупец, — ответил сэр Карадос, — ведь я и с тобой точно так же разделаюсь.

Они спустили сэра Гавейна на землю, связали покрепче, чтоб не сбежал, и приготовились к бою. У сэра Карадоса имелся оруженосец, подавший ему копье, Ланселоту же, настоявшему на том, чтобы дядюшка Скок остался дома, приходилось обслуживать себя самому.

Этот бой отличался от боя с Артуром. Прежде всего силы рыцарей были примерно равны, и в поединке на копьях ни один не слетел с коня. Ясеневые древки их копий просто разлетелись в щепу, но рыцари лишь покачнулись в седлах, и кони их устояли. В последовавшей за этим рубке Ланселот доказал свое превосходство. Примерно через час с небольшим он сумел нанести сэру Карадосу такой удар по шлему, что проломил ему череп, — и затем, пока мерт-

вец еще раскачивался в седле, Ланселот ухватил его за ворот, бросил коню под ноги, сам в ту же минуту спешился и отсек ему голову. Он освободил сэра Гавейна, сердечно его благодарившего, и вновь поскакал по диким дорогам Англии, забыв и думать о Карадосе. На этих дорогах повстречался он со своим юным кузеном, сэром Лионелем, и дальше они отправились вместе в поисках зла, каковое должно исправить. Но забывать о сэре Карадосе было с их стороны неразумно.

Как-то раз в душный полдень въехали они после долгой скачки в лес. Ланселот чувствовал себя столь изнуренным внутренней борьбой с Королевой да и жаркой погодой тоже, что не мог продолжать путь. Сморило и Лионеля, а потому они решили прилечь под яблоней, что росла среди придорожных кустов, привязав коней к ее иссушенным солнцем ветвям. Ланселот мгновенно заснул, а сэру Лионелю все мешало жужжание мух, и пока он так маялся, явилось ему на глаза редкое зрелище.

Увидел он, как во весь опор пронеслись мимо три рыцаря в полных доспехах, а за ними еще один рыцарь, преследуя их. Копыта коней гремели и сотрясали землю, — странно, что Ланселот не проснулся, — и могучий охотник по одному нагонял свою дичь, сбрасывал на землю и вязал.

Лионель был юноша честолюбивый. Ему подумалось, что вот он, случай сравняться со своим знаменитым двоюродным братом. Он тихо поднялся, облачился в доспехи и поскакал вдогон победителю, дабы вызвать его. Меньше чем через минуту он тоже лежал на земле, связанный так, что и не двинуться, и прежде чем Ланселот пробудился, вся кавалькада исчезла. Загадочный рыцарь, победивший во всех этих схватках, был сэр Тарквин, брат Карадоса, недавно убитого Ланселотом. Он имел обыкновение свозить плененных им рыцарей в свой мрачный замок, срывать с них одежды и сечь, пока душа не утешится, — такое у него было хобби.

А Ланселот все спал, и той порой явилась, пригарцовывая, новая пышная кавалькада. Середину ее образовывал балдахин зеленого шелка, несомый на четырех копьях пышно разодетыми рыцарями. Под балдахином ехали на белых мулах четыре немолодые королевы. Зрелище было весьма живописное. Они как раз проезжали мимо яблони, когда конь Ланселота трубно заржал.

Королева Моргана ле Фэй, старшая из четырех королев, — а все они были колдуньи, — остановила процессию и подъехала к сэру Ланселоту поближе. Вид у него, раскинувшегося в полном воинском облачении на траве, был довольно грозный.

— Да это же сэр Ланселот!

Ничто не распространяется так быстро, как слух о скандале, особенно среди людей, прикосновенных к сверхъестественному, а потому четыре королевы уже знали о любви рыцаря к Королеве Гвиневере. Знали они и о том, что он признан сильнейшим рыцарем мира. Это заставило их воспылать ревностью к Гвиневере. Так что возможность, вдруг открывшаяся перед ними, их немало утешила. Они тут же принялись переругиваться, споря о том, кому из них предстоит посредством магического искусства завладеть Ланселотом.

— Нам нет нужды пререкаться, — сказала Моргана ле Фэй. — Я наведу на него чары, чтобы он еще шесть часов не проснулся. А когда он окажется в моем замке, он сам сможет выбрать, которая из нас станет его полюбовницей.

Так она и сделала. Двое рыцарей, уложив спящего воина на щит, отнесли его в Замок Чэриот. Ныне тот не имел уже облика замка эльфов, построенного сплошь из еды, пребывая в обыденном виде зауряднейшей крепости. Все еще спящего Ланселота поместили в холодную голую комнату и оставили лежать, пока не развеются чары.

Очнувшись, Ланселот не смог понять, куда он попал. Света в комнате не было, а каменные стены ее отзывались темницей. Он лежал в темноте, гадая,

что приключится дальше. Затем мысли его перетекли к Королеве Гвиневере.

Дальше же приключилось вот что: пришла прекрасная девица, принесла ему обед и спросила, как он поживает.

— Как дела, сэр Ланселот?

— Сам не знаю, прекрасная девица. Я не знаю, как я сюда попал, а потому не знаю и каковы мои дела.

— Вы только не падайте духом, — сказала девица. — Если вы действительно такой замечательный человек, как о вас говорят, я, может быть, завтра утром смогу вам помочь.

— Благодарю. Поможете вы мне или нет, но я рад, что вы обо мне такого доброго мнения.

И с тем прекрасная девица удалилась.

Поутру заслышался грохот засовов, скрежет ржавых запоров, и в темницу вошли несколько челядинцев в кольчугах. Они выстроились по обе стороны двери, а следом появились волшебные королевы, все в своих лучших нарядах. Каждая королева одарила сэра Ланселота величавым реверансом. Ланселот вежливо встал и сдержанно поклонился каждой из них. Моргана ле Фэй представила их как королев Гоора, Северного Уэльса, Восточной Страны и Внешних Островов.

— Ну что же, — сказала Моргана ле Фэй, — нам ведомо, кто ты такой, а потому не тешь себя мыслью, что мы ничего о тебе не знаем. Ты сэр Ланселот Дюлак и у тебя любовь с Королевой Гвиневерой. О тебе говорят, что ты лучший рыцарь на свете, и по этой причине всякая дама к тебе благосклонна. Впрочем, теперь простись с их благосклонностью. Мы все королевы, ты в нашей власти, и тебе следует выбрать, какая из нас станет твоей возлюбленной. Заставить тебя мы, очевидно, не можем, пока ты сам не сделаешь выбор, — но одну из нас ты выбрать обязан. Итак, которую?

Ланселот сказал:

— Как же могу я ответить на подобный вопрос?

— Да уж как-то ответить придется.

— Прежде всего, — произнес он, — то, что сказали вы обо мне и супруге Короля Британии, — ложь. Будь я сейчас на свободе или имей, как прежде, оружие, я доказал бы это, сразившись с любым воином, какого вам было б угодно выставить против меня. Что же до прочего, я, безусловно, ни одну из вас в возлюбленные не возьму. Простите, если это невежливо, но больше мне нечего вам сказать.

— Вот как! — сказала Моргана ле Фэй.

— Вот так, — сказал Ланселот.

— И это все?

— Все.

Четыре королевы с холодным достоинством поклонились и строем вышли из комнаты. Стража четко развернулась налево кругом, лязгая по каменному полу доспехами. Свет начал удаляться. Дверь захлопнулась, взвизгнул ключ, и засовы с грохотом вернулись в свои гнезда.

Когда прекрасная девица вновь принесла ему пищу, он заметил, что ей явно хочется поговорить. Ланселот заключил, что девица она смелая и, судя по всему, довольно упрямая.

— Вы говорили, что, может быть, сумеете мне помочь?

Девица с сомнением оглядела его и сказала:

— Я могу вам помочь, если вы и вправду тот человек, за которого вас принимают. Вы действительно сэр Ланселот?

— Боюсь, что так.

— Я помогу вам, — сказала она, — если вы мне поможете.

И она залилась слезами.

Пока девица плачет, а делает она это с немалым очарованием и изрядным усердием, нам, пожалуй, следует пояснить кое-что касательно турниров —

каковы они были в те давние дни Страны Волшебства. Настоящий турнир это не то, что единоличные поединки. В поединках рыцари сражались один на один — копьями или мечами, — дабы завоевать награду. Турнир же более походил на беспорядочную потасовку. Каждый из рыцарей выбирал, на чьей стороне он будет сражаться, так что на каждой их оказывалось человек по двадцать или тридцать, и затем эти стороны бились довольно безалаберным образом. Такого рода массовым стычкам придавалось большое значение — скажем, если вы вносили плату за участие в турнире, вам дозволялось по тому же билету биться и в единоличных схватках, а если вы платили только за них, то участвовать в турнире вам уже не разрешали. Случалось, что в общей сшибке люди получали опасные увечья. В целом у этих схваток имелись свои достоинства — когда за ними присматривали судьи. К сожалению, в те ранние дни бывало это нечасто.

Добрая Старая Англия времен Пендрагона весьма походила на Несчастную Старинную Ирландию под ферулой О'Коннеллов. Она разделялась на обособленные партии. Рыцари одного графства, или обитатели одного округа, или челядинцы одного благородного владетеля без особого труда доводили себя до ненависти к партии, проживавшей по соседству. Эта ненависть перерастала во вражду, и тогда король или вождь одной местности вызывал вождя другой на турнир — и партии сходились, горя желанием причинить одна другой побольше вреда. То же происходило во времена папистов и протестантов, или Стюартов и Оранжистов, встречавшихся с дубинами в руках и с жаждой убийства в душах.

— Почему вы плачете? — спросил сэр Ланселот.

— Ах, сэр, — рыдая, вымолвила девица, — этот ужасный Король Северного Уэльса вызвал моего отца на турнир в будущий вторник, а на его стороне трое рыцарей Короля Артура, и оттого моего несчастного

отца непременно ждет поражение, и я боюсь, что его покалечат.

— Понятно. А как же имя вашего отца?

— Его зовут Король Багдемагус.

Сэр Ланселот встал и вежливо поцеловал ее в лоб. Он уже понял, чего от него ожидают.

— Хорошо, — сказал он. — Если вы вызволите меня из этой тюрьмы, я готов в будущий вторник сражаться на стороне Короля Багдемагуса.

— О, благодарю вас, — сказала девица, выжимая платок. — Теперь же, боюсь, мне нужно уйти, иначе внизу меня хватятся.

Естественно, что никакого желания помогать Королеве Северного Уэльса томить Ланселота в узилище она не испытывала, тем более что Король Северного Уэльса намеревался биться с ее отцом.

Утром, еще до того как обитатели замка проснулись, Ланселот услышал, как тихо отворяется тяжелая дверь. Мягкая ладошка скользнула в его ладонь и повела его сквозь тьму. Они миновали двенадцать волшебных дверей и наконец достигли оружейной, в которой он обнаружил свое оружие и доспехи приготовленными и начищенными. Ланселот облачился, они прошли на конюшню — там его конь царапал булыжник блестящей подковой.

— Помните же.

— Конечно, — сказал он и выехал по подъемному мосту под утренний свет.

Пока они крались коридорами Замка Чэриот, у них составился план встречи с Королем Багдемагусом. Ланселоту предстояло приехать в обитель белых монахов, расположенную неподалеку, и там повстречаться с девицей, которой, разумеется, придется бежать от Королевы Морганы, ибо девица ей изменила, выпустив рыцаря из-под стражи. В обители они дождутся появления Короля Багдемагуса, а затем все подготовят к турниру. К несчастью, Замок Чэриот

стоял в Диком Лесу, и Ланселот заблудился, потеряв дорогу к обители. Конь и всадник проблуждали почти целый день, ударяясь о ветви, увязая в зарослях ежевики и быстро теряя терпение. Под вечер он наехал на шатер из легкого красного шелка и без единой души внутри.

Ланселот спешился и заглянул в шатер. Было в нем нечто странное — такая роскошь посреди мглистого леса, а вблизи ни единого человека.

«Странный шатер, — подумал он с печалью, ибо разум его переполняла Гвиневера, — но, верно, я могу провести в нем ночь. Либо он поставлен здесь ради некоего приключения, и тогда мне должно это приключение испытать, либо владельцы его отправились куда-то развлечься, и, стало быть, не будут возражать, если я найду в нем прибежище на ночь. Как бы там ни было, я заблудился и ничего иного мне не остается».

Он расседлал и стреножил коня. Затем снял доспехи и аккуратно повесил их на ближайшее дерево, пристроив поверху щит. Затем поел хлеба, данного ему в дорогу девицей, напился из ручья, бежавшего рядом с шатром, потянулся — да так, что хрустнули суставы, три раза ударил себя по зубам кулаком и улегся в постель. Постель оказалась роскошная, накрытая красным шелком в тон шатру. Ланселот завернулся в шелк, уткнулся носом в шелковую подушку, поцеловал ее взамен Гвиневеры и крепко уснул.

Когда он проснулся, ярко светила луна, а на его левой ноге сидел голый мужчина и подстригал себе ногти.

Ланселот, вырванный из объятий любовного сна, дернулся в постели, едва ощутив на себе мужчину. Мужчина же, не менее Ланселота удивленный тем, что в постели кто-то дергается, подпрыгнул и схватился за меч. Ланселот выскочил из постели по другую ее сторону и понесся к дереву, на котором висело его оружие. Мужчина гнался за ним, размахивая мечом и норовя полоснуть сзади. Ланселот

успел добежать до дерева невредимым и обернулся с мечом в руке. Странно и страшно выглядели они в лунном свете, оба совершенно голые, с серебристой сталью в руках, сверкающей под первой за осень полной луной.

— Ага! — крикнул мужчина и яро взмахнул мечом, целя по ногам Ланселота. В следующий миг он выронил меч и ухватился обеими руками за живот, согнувшись и шипя. Из рассеченного живота била кровь, черная в свете луны, и какие-то внутренности с их потаенной жизнью виднелись сквозь открытую рану.

— Не бей! — крикнул мужчина. — Пощади! Не бей меня больше. Ты убил меня.

— Сожалею, — сказал Ланселот. — Но ты даже не подождал, пока я возьмусь за меч.

Мужчина продолжал завывать:

— Пощади! Пощади!

Ланселот воткнул клинок в землю и склонился, чтобы осмотреть рану.

— Я не причиню тебе зла, — сказал он. — Не пугайся. Позволь мне взглянуть.

— Ты распорол мне печень, — обвинительным тоном сказал мужчина.

— Что же, большего, чем «сожалею», я сказать все равно не смогу, даже если придется. Тем более что я и не знаю, из-за чего мы с тобой сражались. Обопрись на мое плечо, я помогу тебе лечь в постель.

Когда он уложил мужчину, остановил кровь и обнаружил, что рана не смертельна, в просвете шатра показалась прекрасная собою дама. Им пришлось запалить светильник, так что она сразу увидела, что случилось, и сразу же завизжала в полный голос. Она бросилась к раненому, и ласкала его, и называла Ланселота убийцей, и была в своем горе крайне неистова.

— Перестань реветь, — сказал мужчина. — Никакой он не убийца. Просто мы оба ошиблись.

— Я лежал в кровати, — пояснил Ланселот, — а

он вошел и сел на меня, и оба мы так напугались, что стали биться. Мне жаль, что я его ранил.

— Но ведь это наша кровать, — возопила дама, словно один из Трех Медведей. — Что ты делал в нашей кровати?

— Право же, — сказал Ланселот, — мне очень жаль. Когда я наткнулся на шатер, в нем никого не было, а я заблудился, устал, — вот и решил, что никому не будет вреда, если я проведу в нем ночь.

— Конечно, не будет, — сказал мужчина. — Прошу тебя, проведи здесь ночь, что же до раны, не думаю, что она так уж ужасна. Могу я узнать твое имя?

— Ланселот.

— Ничего себе! — воскликнул мужчина. — Дорогая, ты посмотри, с кем это я бился! Не диво, что он с меня стружку спустил. Диво, что я так легко отделался да и вообще жив остался.

И они настояли на том, чтобы Ланселот провел с ними ночь, а утром указали ему дорогу к обители белых монахов.

Для основной нашей истории эта встреча никаких последствий не имела, не считая того, что рыцарь, коего звали Беллеус, едва он оправился, был введен Ланселотом в братство Круглого Стола. Малый он был великодушный, как раз в таких Артур и нуждался, Ланселот же, доставляя ему место за Столом, желал загладить невольную обиду.

В обители белых монахов, ужасно волнуясь, ожидала его прекрасная девица. Она опасалась, что Ланселот может покинуть ее в беде. Однако, едва застучали по камням копыта, как она, обрадованная, выбежала из башенного покоя навстречу.

— Отец приедет сегодня вечером, — вскричала она. — Ах, как я рада, что вы появились! Я боялась, что вы забудете.

Кривой рот Ланселота еще сильнее скривился в

усмешке, когда он услышал выбранное ею слово. Он снял доспехи, искупался и стал ожидать Короля Багдемагуса.

— Странно устроена жизнь в Стране Волшебства, — говорил он себе, стараясь не думать о молодой Королеве. — Все происходит так быстро. Половину времени вообще невозможно понять, где ты и что ты, — и куда, спрашивается, пропал прямо из-под яблони мой кузен, придется еще и им заниматься. Со всеми этими волшебными королевами, партийными турнирами, людьми, которые лезут ночью к тебе в постель, и бесследно исчезнувшей половиной родни трудно держать себя на верной ноге.

Затем он причесался, расправил складки на ферязи и спустился во двор, чтобы встретить Короля Багдемагуса.

Нет нужды пускаться в длинное описание турнира. Оно имеется у Мэлори. Ланселот отобрал себе в помощь трех из рекомендованных девицей молодых рыцарей и устроил так, что щиты у всех четверых были белые, без гербов и изображений. Такими щитами пользовались рыцари, еще не оперившиеся, Ланселот же настоял на них, зная, что на стороне противника будут сражаться трое из братства Круглого Стола. Ему не хотелось, чтобы они узнали его, ибо это могло возбудить при дворе недобрые чувства. С другой стороны, он полагал своим долгом сразиться с ними — из-за обещания, данного им девице. В партии Короля Северного Уэльса, возглавлявшего силы противника, числилось сто шестьдесят рыцарей, а на стороне Короля Багдемагуса — только восемьдесят. Ланселот сшибся с первым из рыцарей Круглого Стола так, что у того плечо вышло из сустава. Второго он ударил столь сильно, что бедняга перелетел через круп своего коня и шлем его на семь дюймов зарылся в землю. Третий же получил по шлему такой удар, от которого у этого рыцаря носом

хлынула кровь, а лошадь его понесла и пропала из виду. К тому времени, когда Ланселот сломал бедро Королю Северного Уэльса, каждый смог убедиться, что турнир завершен окончательно и бесповоротно.

Дальнейшие события связаны с поисками Лионеля, на которые отправился наш герой. У него только теперь появилось для этого время, — ибо с той поры, как пропал его двоюродный брат, он либо сидел у злокозненных королев под запором, либо выполнял свои обязательства перед девицей, освободившей его оттуда. Перед самым его отъездом Король Багдемагус получил на турнире приз, девица, чуть не плача, благодарила Ланселота, и все обменялись заверениями, что теперь они друзья навек, и что если только впредь кто-либо из них сможет сделать для кого-либо что-либо, довольно будет лишь весточку послать. Затем Ланселот вскочил на коня, определил, в какую сторону ехать, выспросив у нескольких селян, где он находится, и поскакал в сторону леса с яблоней, в котором затерялся его двоюродный брат. Он полагал, что сможет, как следует прочесав окрестности того места, где он в последний раз видел кузена, взять пусть и остывший след.

В лесу с яблоней, а вернее сказать, прямо под этой самой яблоней, он повстречался с дамой на белой лошади. Яблоня почиталась волшебной, по каковой причине движение возле нее было весьма оживленное.

— Благородная дама, — сказал Ланселот, — не слыхали ли вы о каких-либо приключениях в этом лесу?

— Здесь множество приключений, — отвечала она, — если у тебя достанет мужества пойти им навстречу.

— Я мог бы попробовать.

— Ты, похоже, сильный мужчина, — сказала дама. — И вид у тебя отважный, вот только уши уж

больно торчат. Если желаешь, я отведу тебя туда, где живет самый свирепый барон на свете, но только он непременно тебя убьет.

— Это меня не пугает.

— Но я отведу тебя лишь после того, как ты назовешь мне свое имя. Было б убийством вести тебя к нему, когда ты не из числа прославленных рыцарей.

— Меня зовут Ланселотом.

— Так я и думала, — сказала дама. — Ну что же, все складывается очень удачно. Если верить тому, что о тебе говорят, ты, быть может, единственный рыцарь на свете, способный одолеть человека, к которому я тебя поведу. Имя его — сэр Тарквин.

— Хорошо.

— Некоторые считают его сумасшедшим. У него в темнице томятся шестьдесят четыре рыцаря, коих он полонил своими руками, а свободное время он проводит, стегая их колючими лозами. Если ты попадешь к нему в плен, он и тебя будет сечь, раздев донага.

— Похоже, что с этим человеком интересно будет сразиться.

— У него там что-то вроде концентрационного лагеря.

— К таким именно встречам я себя и готовил, — сказал сэр Ланселот. — Артур придумал Круглый Стол как раз для того, чтобы воспрепятствовать такого рода поступкам.

— Но если ты хочешь, чтобы я тебя к нему проводила, ты должен пообещать сделать потом кое-что для меня — то есть, если ты победишь.

— А что именно? — с опаской осведомился он.

— Не бойся, — ответила дама. — Всего лишь одолеть еще одного известного мне рыцаря, который досаждает неким девицам.

— Это я вам с радостью обещаю.

— Ну что же, — сказала дама. — Господу виднее, преуспеешь ты или нет. Как бы там ни было, а я стану молиться за тебя, пока ты сражаешься.

Они поскакали и скакали довольно долго, пока не выехали к броду, похожему на тот, у которого Ланселот сражался с Королем Артуром. С деревьев у брода свисали заржавелые шлемы и понурые щиты — числом шестьдесят четыре, — их перевязи и стропила, и лилии раскрытые, и птицы безлапые, и орлы парящие, и львы, идущие анфас, выглядели одинокими и покинутыми. Изъеденная грибком кожа навыйников позеленела. Походило все это на вешалку для разного хлама в чулане лесничего.

Посреди поляны, на самом большом дереве, висел, царя над разбитыми щитами, огромный медный таз. Новее всех был щит Лионеля — серебряный, с червленой перевязью, он выделялся знаком принадлежности к младшей линии рода.

Ланселот знал, что следует делать с тазом и именно это и сделал. Он закрепил свой шлем, подъехал под мокрой листвой к тазу и принялся дубасить в него древком копья, и дубасил, покуда не вышиб дно. Затем и он, и дама какое-то время мирно стояли под покровом леса в тишине, казалось, оглушенной ужасающим шумом.

Никто к ним не вышел.

— Там дальше замок, — сказала дама.

Молча они подъехали к воротам замка и с полчаса разъезжали перед ними взад и вперед. Шлем и латные рукавицы Ланселот снял и, нахмурясь, в тревоге покусывал ногти.

По прошествии получаса показался скачущий лесом могучий рыцарь. Он так походил на сэра Карадоса — рыцаря, убитого во спасенье Гавейна, что Ланселот испугался. Не только был он того же сложения, но с седельной луки его кобылицы тоже свешивался связанный рыцарь. И что самое странное, щит связанного рыцаря нес те же три чертополоха и стропило, и красный квадрат в верхнем правом углу. Собственно говоря, второй из могучих рыцарей пленил Гахериса — Гавейнова брата. Ланселот окинул рыцаря оценивающим взглядом.

Быть может, не стоит упускать здесь возможности упомянуть о том, что хороший знаток рыцарского стиля нередко опознавал укрытого доспехами рыцаря, даже если тот изменял свой облик и нес щит, лишенный герба и изображений. В дальнейшей своей жизни Ланселот часто сражался переодетым, потому что иначе никто бы с ним сражаться не стал. И все же Артур и иные, как правило, распознавали его по посадке. В наши дни люди узнают игроков в крикет даже на расстоянии, не позволяющем разглядеть их лица, — то же и тогда.

Ланселот благодаря своей долгой практике знал толк в рыцарском стиле. С минуту понаблюдав за сэром Тарквином, он приметил, что тот не очень крепко сидит в седле. И обернувшись к даме, Ланселот сказал, что если посадка Тарквина и всегда такова, как теперь, то он, пожалуй, сможет освободить его узников. Как оказалось, когда доходило до копий, посадка Тарквина значительно улучшалась, так что критическое замечание Ланселота оказалось бессмысленным, но оно бросает некоторый, пусть и косвенный, свет на искусство копейного боя, а потому заслуживает упоминания.

Главное в этом бою — сноровка наездника. Если человеку доставало отваги в миг столкновения перейти на полный галоп, он обыкновенно и побеждал. Большая же часть бойцов слегка осаживала, что уменьшало их натиск. Вот почему Ланселот раз за разом побеждал в поединке на копьях. Ланселот обладал тем, что дядюшка Скок обозначал словом *élan*[1]. Порой, пытаясь остаться неузнанным, он скакал нарочито неловко, обнаруживая просвет между собой и седлом. Но бросок, совершаемый им в последний момент, был всегда настоящим, — и зрители, а зачастую и его несчастный противник, ус-

---

[1] Порыв (*фр.*).

певали воскликнуть: «А-а, Ланселот!» еще до того, как копье без промаха ударяло в цель.

— Честный рыцарь, — сказал Ланселот, — опусти на землю этого израненного человека, пусть отдохнет немного. А мы с тобой померяемся силой.

Сэр Тарквин подскакал к нему и сквозь зубы сказал:

— Если ты рыцарь Круглого Стола, я с огромным удовольствием сначала сброшу тебя на землю, а после выдеру. Я в состоянии сделать это и с тобой, и со всем вашим столом в придачу.

— Похоже, трудностей ты не боишься.

Затем они, как обычно, разъехались, уперли копья и с громом понеслись один на другого. В последний миг Ланселот обнаружил, что он ошибся в суждении о посадке Тарквина. Вспышкой мелькнула мысль, что Тарквин — лучший из когда-либо виденных им копейных бойцов, что мчит он так же стремительно, как сам Ланселот, и целит уверенно.

Рыцари пригнулись, сшиблись, одновременно тресну-

ли копья, кони, застигнутые ударом в прыжке, вздыбились и рухнули на спины; переломленные копья взлетели на воздух и поплыли, кружа, как после взрыва, и дама-наездница засмотрелась им вслед. Когда она опустила глаза, оба коня валялись со сломанными хребтами, а рядом недвижно лежали рыцари.

Спустя два часа Ланселот и Тарквин все еще продолжали рубиться.

— Остановись, — сказал Тарквин. — Я хочу поговорить с тобой.

Ланселот остановился.

— Кто ты? — спросил сэр Тарквин. — Ты лучший рыцарь, с каким мне приходилось сражаться. Человека с таким дыханием я еще не встречал. Послушай, у меня в замке шестьдесят четыре пленных рыцаря, и еще сотни иных я убил или покалечил, но столь доброго рыцаря я среди них не видел. Если ты готов помириться со мной и заключить дружбу, я отпущу моих узников.

— Это доброе предложение.

— Я сделаю это ради тебя, будь ты кто угодно, разве только не один человек. Если же ты — он, мне придется биться с тобою насмерть.

— И кто же это такой?

— Ланселот, — сказал сэр Тарквин. — Если ты — Ланселот, мне нельзя будет ни сдаться, ни заключить с тобой дружбу. Он убил брата моего, Карадоса.

— Я и есть Ланселот.

Сэр Тарквин зашипел под шлемом и нанес искусный удар прежде, чем противник его успел изготовиться.

— Ах, вот как? — вспылил Ланселот. — Мне стоило лишь притвориться, что я — это не я, и пленники оказались бы на свободе. Ты же попытался убить меня врасплох.

Сэр Тарквин продолжал шипеть.

— Я сожалею о Карадосе, — сказал Ланселот. — Он был убит в честном бою и не пытался сдаться. У меня не было даже возможности его пощадить. Он пал как воин.

Они бились еще два часа. Лезвие меча — не единственное оружие, к которому прибегал в бою облаченный в доспехи рыцарь. Иногда они наносили удары венцами щитов, порой били головками эфесов. Вся трава вокруг была забрызгана кровью — маленькими пятнышками вроде тех, что покрывают форель, но каждое с подобием хвостика, как у головастиков. Порой, собственный вес заставлял их падать друг на друга. Дыхательные отверстия в тяжелых, набитых соломой рыцарских шлемах были настолько малы, что рыцари страдали от удушья. Щиты то и дело грузно повисали, не прикрывая их должным образом.

Все завершилось мгновенно. Никто из них не произнес ни слова. Улучив момент, Ланселот обрушил меч и попал Тарквину по выступу шлема. Оба рухнули, шлем с Тарквина слетел. Оба вытащили кинжалы для ближнего боя. Тарквин попытался подняться, содрогнулся и упал замертво.

Позже, когда Гахерис и дама поили его водой, Ланселот сказал:

— Сколько бы ни было в нем дурного, а все же он был настоящий боец. Я сожалею, что он не сдался.

— Но подумайте о рыцарях, которых он избивал и калечил.

— Он принадлежал к старой школе, — сказал Ланселот. — Именно это мы и намерены искоренить. И все же как воин он делал старой школе честь.

— Он был животным, — сказала дама.

— Кем бы он ни был, он любил своего брата. Послушайте, Гахерис, вы не одолжите мне коня? Мне нужно ехать дальше, а конь мой мертв, бедняга. Если бы вы ссудили мне вашего, вы могли бы отправиться в замок и выпустить Лионеля и всех остальных. Скажите Лионелю, чтобы возвращался ко двору и впредь воздерживался от глупостей. Я же должен ехать с этой дамой. Сделаете это?

— Конечно, вы можете взять моего коня, — сказал Гахерис. — Вы же спасли и коня моего, и меня. Странное дело, вы то и дело спасаете Оркнейцев! В прошлый раз Гавейна. А теперь еще и Агравейна в придачу, он как раз сидит в этом замке. Конечно, вы можете взять моего коня, Ланселот, еще бы.

8

Случались с Ланселотом и другие приключения во время этого первого странствия, продлившегося целый год, но подробного рассказа заслуживают, быть может, только два из них. Оба были связаны с консервативной этикой Сильной Руки, против которой Король снарядил свой крестовый поход. В этот период приключения поставляла старая школа, система взглядов норманнского баронства, ибо немногие способны ненавидеть с такой горечью и уверенностью в своей правоте, как члены отстраняемой от власти правящей касты. Рыцарство Круглого Стола шло войной против принципа Сильной Руки, и холерические бароны, для которых он был основным жизненным принципом, хватались за дубины со свирепством отчаяния. Они непременно писали бы протестующие письма в «Таймс», если бы тогда существовала такая газета. Лучшие из них убедили себя в том, что Артура просто влечет новизна, а рыцари его суть ренегаты, изменившие принципам своих пращуров. Худшие поносили его рыцарей такими словами, в сравнении с которыми и «большевик» кажется ласковым прозвищем, и дозволяли брутальной стороне своих личностей упиваться воображаемыми гнусностями, кои они же этим рыцарям и приписывали. Здравого смысла в этой ситуации оставалось все меньше и меньше, и уже ничто не мешало людям, от природы зверообразным, тешиться россказнями о зверствах противника. Многие из баронов, сопротивление которых приходилось подавлять Ланселоту, распалили себя до такого состояния, что почитали его уже не за человека, а как бы за некий отравляющий газ. Они воевали с ним, не стесняя себя разборчивостью в средствах, они его нена-

видели совершенно так, как антихриста, — и при этом искренне верили, что защищают правое дело. Началась гражданская война идеологий.

Однажды ясным летним днем Ланселот скакал через парк, примыкавший к незнакомому замку. По зеленому дерну привольно стояли деревья — вязы, дубы, буки, на сердце у Ланселота лежала тяжесть, он думал о Гвиневере. Перед тем, как он расстался с дамой, которая привела его к замку сэра Таркви-на, — просьбу ее Ланселот выполнил, как обе-щал, — между ними завязался разговор о женитьбе, который его расстроил. Дама сказала, что ему сле-дует либо жениться, либо обзавестись любовницей, и Ланселот рассердился.

— Я не властен запретить людям говорить, что им нравится, — сказал он, — но жениться я по моим обстоятельствам не могу, а обзаводиться любовницей считаю неправильным.

Какое-то время они проспорили, а после расста-лись. Ныне, хоть и пережив с тех пор несколько других приключений, он все еще размышлял о дан-ном той дамой совете и чувствовал себя отврати-тельно.

В воздухе послышался звон, и Ланселот поднял к небу глаза.

Над головой его летел к верхушке одного из вязов отличный ловчий сокол, за ним тянулся поводок, и музыкальный звон колокольцев сливался с чистым посвистом ветра. Вид у сокола был сердитый. Достиг-нув верхушки, сокол уселся, гневно озираясь и ра-зевая клюв. Поводок трижды обмотался вокруг бли-жайшего сука. Заметив скачущего в ее сторону сэра Ланселота, птица еще пуще взгневилась и вновь по-пыталась взлететь, но поводок ее не пустил, и она повисла вниз головой, бия по воздуху крыльями. У Ланселота от страха, что птица может обломать оперение, сердце подпрыгнуло к горлу. Через не-сколько мгновений сокол затих, и остался висеть, медленно вращаясь, задрав по-змеиному голову впра-

во и вверх; вид у него был постыдный, яростный и смешной.

— О, сэр Ланселот, сэр Ланселот! — закричала совершенно незнакомая благородная дама, вскачь подлетая к нему на коне и явственно пытаясь заломить руки, чему, впрочем, мешали поводья. — О, сэр Ланселот! Я потеряла сокола!

— Вон он, ваш сокол, — сказал Ланселот. — На дереве.

— О Боже, о Боже! — восклицала дама. — Я лишь хотела поучить птицу возвращаться на зов, не спуская с поводка, а шнурок и порвался! Муж убьет меня, если я ее не поймаю! Он такой вспыльчивый и так увлечен соколиной охотой!

— Ну, уж, верно, не убьет.

— Убьет, всенепременно убьет! Еще и задуматься не успеет, а уж убьет! Такой, право, вспыльчивый.

— Возможно, я смог бы ему воспрепятствовать?

— Ах, нет! — отвечала благородная дама. — Это совсем ни к чему. Вы ведь можете покалечить его, а мне никак бы этого не хотелось. Но, быть может, вы смогли бы взамен того взобраться на дерево и достать моего сокола?

Ланселот взглянул на благородную даму, потом на дерево. Потом вздохнул и, как сообщает Мэлори, произнес:

— Что ж, прекрасная дама, раз уж вы знаете мое имя и взываете к моему рыцарскому долгу, я сделаю, что могу, чтобы достать вам этого сокола. Но видит Бог, я не мастер лазать, да и дерево уж очень высокое и мало на нем суков, по которым можно было бы взбираться.

Детство свое он провел, готовясь к тому, чтобы стать бойцом, так что времени лазить по птичьим гнездам, в отличие от других мальчишек, у него не осталось. И просьба дамы, не затруднившая бы тех, кто рос подобно Артуру или Гавейну, его поставила в тяжелое положение.

Печально снимал Ланселот доспехи, косо погляды-

вая время от времени на дурацкое дерево, снимал, пока не остался в одних штанах и рубахе. Затем он мужественно устремился на штурм нижних ветвей, а благородная дама бегала внизу и все тараторила что-то о соколах, о мужьях и о том, какая хорошая нынче погода.

— Конечно, — повторял Ланселот; глаза его были полны мелкого древесного сора, а лицо кривила уродливая гримаса. — Конечно. Конечно.

На верхушке дерева сокол уже совершенно запутался в поводке, обмотавшем ему, как это обычно случается, горло и крылья, и поскольку соколу казалось, что поводок напал на него, пытаясь убить, Ланселоту пришлось для спокойствия птицы протянуть ей в качестве подставки голую руку. Сокол вцепился в руку с истерической яростью, но Ланселот терпеливо разматывал поводок, словно не замечая режущей боли. Соколятники редко жалуются, когда сокол причиняет им боль. Они для этого слишком увлечены.

Отпутав наконец-то сокола от ветвей, Ланселот сообразил, что слезть с помощью одной только руки ему не удастся. Он крикнул даме, казавшейся совсем маленькой у подножия дерева:

— Послушайте, я собираюсь привязать к опутенкам тяжелую ветку, если мне удастся ее отломать, и сбросить птицу на землю. Я выберу не слишком тяжелую, они будут падать плавно, и я отброшу их в сторону, чтобы сучья им не мешали.

— Ах, только поосторожней! — крикнула дама.

Поступив по сказанному, Ланселот принялся неуверенно спускаться. Путь оказался трудным, попадались места, где ему приходилось полагаться лишь на свое умение удерживать равновесие. До земли оставалось футов двадцать, когда прискакал галопом толстый рыцарь в полном вооружении.

— А, сэр Ланселот! Вот ты мне и попался! — заорал рыцарь.

Дама подобрала сокола и пошла было восвояси.

— Госпожа! — сказал Ланселот, дивясь, как это все здесь знают его по имени.

Толстяк аж завизжал:

— Оставь ее в покое, вероломный убийца! Это моя жена, понял? Она сделала лишь то, что я ей приказал. Мы тебя провели. Ха-ха! Теперь ты попался мне без твоих знаменитых доспехов, и убить тебя не труднее, чем утопить котенка!

— Не очень-то это по-рыцарски, — с гримасой сказал Ланселот. — Ты мог бы, по крайности, дать мне мой меч, и мы бы честно сразились.

— Дать тебе меч, щенок! За кого ты меня принимаешь? Мне вся эта новомодная чушь ни к чему. Когда я ловлю человека, питающегося жареными младенцами, я убиваю его, как гадину, потому как он гадина и есть.

— Но послушай...

— Слезай, слезай! Не целый же день мне тебя дожидаться. Слезай и получи свое, как подобает мужчине, ежели ты мужчина.

— Уверяю тебя, что я жареных младенцев не ем.

Лицо у толстяка стало совершенно лиловое, и он завопил:

— Лжец! Лжец! Слезай сию же минуту!

Ланселот сидел на ветке, болтая ногами и покусывая ноготь.

— Так ты хочешь сказать, — спросил он, — что намеренно выпустил сокола с поводком, чтобы заполучить возможность убить меня раздетого?

— Слезай!

— Если я слезу, я постараюсь тебя убить.

— Шут гороховый! — рявкнул толстый рыцарь.

— Ладно, — сказал Ланселот, — ты сам виноват. Не надо было тебе разыгрывать грязных трюков. В последний раз спрашиваю, ты позволишь мне вооружиться, как подобает джентльмену?

— Будь уверен, не позволю.

Ланселот обломил подгнивший сук и спрыгнул на землю так, что конь его оказался между ним и ры-

царем. Толстый рыцарь поскакал на него и попытался, перегнувшись через коня, снести Ланселоту голову, но Ланселот отбил удар суком, и меч рыцаря завяз в древесине. Затем Ланселот отнял меч у его владельца и перерубил владельцу шею.

— Уходи, — сказал Ланселот благородной даме. — И перестань завывать. Муж у тебя был дурак, а на тебя мне смотреть противно. Я ничуть не жалею о том, что прикончил его.

Впрочем, он об этом жалел.

Последнее приключение также было связано с предательством и с дамой. Молодой человек печально ехал через низинные земли, в те дни еще не осушенные и остававшиеся, возможно, самой дикой частью Англии. Тайные тропы, известные только жившим в болотах саксам, побежденным Утером Пендрагоном, во всех направлениях прорезали болота, и всю эту пахнущую морем, придавленную низким небом равнину заполняло утиное кряканье. Бухали выпи, плавно скользили над камышами болотные луни и миллионы свиязей, крякв и нырков пересекали небо разнообразными клиньями, походя на бутылки из-под шампанского, уравновешенные с помощью нимба из крыльев. По соленым болотам прогуливались, кормясь, прилетевшие со Шпицбергена гуси, изгибая причудливыми петлями шеи, и низинные люди ловили их в сети или в силки. Животы у низинных людей были в крапинку, ноги же лапчатые — так, во всяком случае, верили во всей остальной Англии. Чужаков они, как правило, убивали.

Ланселот скакал по прямой дороге, ведущей, казалось, в никуда, и вдруг увидел, что навстречу ему опрометью несутся два всадника. Приблизясь, они оказались рыцарем и дамой. Впереди мчалась сломя голову дама, а рыцарь гнался за ней. Меч его блестел на фоне тусклого неба.

— Эй! Эй! — закричал Ланселот, подлетая к ним.

— Помоги! — крикнула дама. — О, спаси меня! Он хочет отрубить мне голову!

— Оставь ее! Убирайся! — орал рыцарь. — Это моя жена, и она повинна в прелюбодействе.

— Я невиновна, — возопила дама. — О, сэр, спасите меня от него. Это жестокое, омерзительное животное. Я лишь ласково обошлась с моим кузеном-германцем, а он меня приревновал. Почему я не могу приласкать моего кузена-германца?

— Блудница! — гаркнул рыцарь и попытался достать ее мечом.

Ланселот направил коня между ними и сказал:

— Достойно ли так нападать на женщину? Мне все равно, кто из вас виноват, но женщин убивать не дозволено.

— С каких это пор?

— С тех пор, как в Англии правит Король Артур.

— Она мне жена, — сказал рыцарь. — А тебе до нее нет никакого дела. И она изменница, что бы она ни болтала.

— О, нет, я совсем не такая, — сказала дама. — А ты бандит. Да еще и пьяный.

— А почему я пью, а? И коли на то пошло, пьяница ничем не хуже прелюбодейки.

— Угомонитесь, — сказал Ланселот, — вы, оба. Вот еще не было печали! Я поскачу между вами, пока вы не поостынете. Насколько я понимаю, сэр, вы не станете сражаться со мной ради того, чтобы убивать эту даму?

— Да уж, конечно, не стану, — сказал рыцарь. — Я понял, что вы Ланселот, едва увидев серебро на щите и червленую перевязь; я не дурак, чтобы драться с вами, особенно из-за такой сучки, как эта. Какого дьявола вы лезете не в свое дело?

— Я вас оставлю, — сказал Ланселот, — как только вы дадите мне рыцарское слово никогда не убивать женщин.

— Ну, так я вам его не дам.

— Не дашь, — подтвердила дама. — А и дашь, так не сдержишь.

— Там вон какие-то болотные солдаты подбираются к нам сзади, — сказал рыцарь. — Оглянитесь. Вооружены до зубов.

Ланселот придержал коня и оглянулся. В тот же миг рыцарь, наклонясь, отсек даме голову. Когда Ланселот, не углядевший никаких болотных солдат, вновь перевел на них взгляд, он увидел, что дама скачет с ним рядом уже без головы. Красная струя толчками била из шеи, а дама медленно клонилась влево и наконец упала на дорогу. Весь конь Ланселота был залит кровью.

У Ланселота побелели крылья носа.

— Я убью тебя за это, — сказал он.

Рыцарь мгновенно спрыгнул с коня и улегся на землю.

— Не убивай! — крикнул он. — Пощади! Она повинна в прелюбодействе.

Ланселот тоже спешился и вытащил меч.

— Встань, — сказал он. — Встань и сражайся, ты, ты...

Рыцарь подполз к нему и обхватил его руками за бедра. Подобравшись так близко к мстителю, он не давал ему толком взмахнуть мечом.

— Пощады!

От его малодушия Ланселота мутило.

— Вставай, — повторил он. — Вставай и сражайся. Послушай, я сниму доспехи и буду биться одним лишь мечом.

Но рыцарь ответил ему только криком:

— Пощады! Пощады!

Ланселота затрясло, не от злости на рыцаря, но от жестокости, которую он в себе ощутил. С отвращением глядя на меч, он оттолкнул от себя рыцаря.

— Посмотри, сколько крови, — сказал он.

— Не убивай меня, — сказал рыцарь. — Я сда-

юсь. Сдаюсь. Ты не можешь убить человека, просящего о пощаде.

Ланселот вложил меч в ножны и пошел от рыцаря прочь, чувствуя себя так, будто он уходит от собственной души. Он ощущал в своем сердце жестокость и трусость — они-то и делали его отважным и добрым.

— Вставай, — сказал он. — Я не трону тебя. Вставай и уходи.

Рыцарь вгляделся в него, стоя на четвереньках, словно собака, и поднялся, опасливо пригибаясь к земле.

Ланселот отошел в сторону, и его стошнило.

У рыцарей Стола, отправлявшихся на поиски приключений, стало обычаем вновь съезжаться в Карлион на праздник Пятидесятницы, дабы поведать о том, что с ними случилось. Артур обнаружил, что рыцари куда охотнее сражаются за новое Право, если потом им выпадает возможность поведать об этом. В большинстве своем они предпочитали приводить с собой плененных ими противников в качестве свидетелей правдивости своих рассказов. Это походило на то, как если бы Главный инспектор полиции в некой весьма удаленной области Африки посылал в джунгли своих суперинтендантов, поручая им привести к следующему Рождеству всех вождей диких племен, каких они смогут наставить на истинный путь. Немаловажным было и то, что королевский двор производил на дикарских вождей сильное впечатление, и зачастую они возвращались домой совсем другими людьми.

Праздник, состоявшийся вслед за первым странствием Ланселота, едва не окончился полным провалом. Явились несколько плененных Оркнейцами убогих великанов, приверженцев Сильной Руки, явились и признали себя вассалами Короля, однако они почти потонули в потоке рыцарей, поверженных

Ланселотом. «Чей вы пленник?» — «Ланселота». «А вы, мой добрый друг?» — «Ланселота». Спустя недолгое время этот ответ уже выкрикивал весь Стол. Артур говорил: «Добро пожаловать в Карлион, сэр Беллеус, могу ли я спросить у вас, кому из моих рыцарей вы подчинились?» — «Ланселоту», — хором выкрикивал Стол. А сэр Беллеус, немного покраснев и гадая, не над ним ли все смеются, сдавленным голосом отвечал: «Да, я сдался сэру Ланселоту».

Пришел сэр Бедивер с рассказом о том, как он отсек голову своей прелюбодейке-жене. Голову он принес с собой, и ему было наказано в виде епитимьи отнести ее к Папе, — в дальнейшем он стал весьма богобоязненным человеком. Явился угрюмый Гавейн и рассказал на смеси шотландского с английским о том, как его спасли от сэра Карадоса. Пришел во главе шестидесяти четырех рыцарей с заржавленными щитами Гахерис, поведавший о спасении от сэра Тарквина. Появилась в крайне восторженном состоянии дочь Короля Багдемагуса, дабы сообщить о турнире с Королем Северного Уэльса. Помимо них явилось множество людей, участвовавших в приключениях, которые мы опустили, — преимущественно рыцари, сдавшиеся сэру Ланселоту, когда он странствовал в обличии сэра Кэя. Вы, может быть, помните по первой книге, что Кэй был отчасти невоздержан на язык, — это не снискало ему особой любви при дворе. Ланселоту довелось однажды спасти Кэя от трех рыцарей, гнавшихся за ним. После того, желая, чтобы Кэй добрался до двора невредимым, Ланселот, покуда Кэй спал, поменялся с ним доспехами — и в дальнейшем рыцари, нападавшие на Ланселота в уверенности, что перед ними сэр Кэй, нарывались на самый большой в своей жизни сюрприз, тогда как рыцари, встречавшие Кэя в Ланселотовых доспехах, обходили его стороной. Среди тех, кто сдался переодетому Ланселоту, оказались Гавейн, Ивейн, Саграмор, Эктор Окраинный и еще

трое. Явился также и рыцарь по имени сэр Мелиот Логрский, спасенный при сверхъестественных обстоятельствах.

Все они явились как пленники, но не Короля Артура, а Гвиневеры. Ланселот продержался вдали от нее целый год, но и у его выносливости имелись пределы. Непрестанно помышляя о ней и томясь страстным желанием вернуться, он позволил себе одну-единственную поблажку. Он посылал побежденных рыцарей преклонять пред нею колени. Это было роковое решение.

9

Трудно объяснить поведение Гвиневеры, если только не согласиться с тем, что можно любить двоих сразу. Вероятно, одинаково любить двух людей невозможно, но любовь ведь бывает разная. Женщина в одно и то же время любит и детей своих, и мужа, да и мужчиной, сердце которого без остатка принадлежит одной, нередко овладевают похотливые помыслы относительно другой. Что-то похожее случилось и с Гвиневерой, полюбившей Француза и не утратившей любовной привязанности к Артуру. Когда все это началось, и она, и Ланселот едва-едва вышли из детского возраста, а Король был старше их восемью годами. Двадцатидвухлетнему человек тридцати лет представляется стоящим на пороге дряхлости. Брак между Гвиневерой и Артуром был, что называется, «браком по сговору». Это означает, что заключили его в соответствии с договором между Артуром и Королем Леодегрансом, мнения же Гвиневеры никто не спросил. Их союз оказался успешным, что вообще присуще «бракам по сговору», и до того, как на сцене появился Ланселот, молодая женщина обожала мужа, несмотря даже на его преклонные лета. Она питала к нему уважение, смешанное с благодарностью и любовью, она желала ему блага и чувствовала себя под надежной защитой. Этим чувства ее не исчерпывались — мы можем сказать, что в них присутствовало все, кроме романтической страсти.

И вот стали появляться пленники. Королева, едва перешагнувшая двадцатилетний рубеж, зардевшись, сидит на троне, а перед ней — залитый светом зал, наполненный благородными рыцарями, и каждый стоит, опустившись на одно колено. «Чей вы плен-

ник?» — «Я пленник Королевы, присланный сэром Ланселотом, дабы Королева решила, жить мне или же умереть». — «А вы чей пленник?» — «Королевы, а сразил меня Ланселот.» Имя сэра Ланселота — у всех на устах, он — первый из рыцарей мира, наилучшее соотношение нанесенных и пропущенных ударов, — оно лучше даже, чем у Тристрама, — изысканный, милосердный, уродливый, неодолимый: и всех этих рыцарей он посылает к ней. Словно в день рождения — столько подарков. Такое только в книгах бывает.

Гвиневера сидела, приосанясь, и царственно наклоняла голову, приветствуя своих пленников. Глаза ее сияли ярче короны.

Ланселот явился последним. Заволновались факельщики у дверей, шелест пронесся по залу. Стихло лязганье ножей, тарелок и кружек, замолкли дружеские клики, за миг до того напоминавшие птичий базар на острове Св. Кильды, прервались зычные требования принести еще баранью ногу или пинту меда — и лица белыми пятнами повернулись к дверям. В дверях стоял Ланселот, уже не в доспехах, но в великолепном бархатном облачении, с фестонами и ромбовидными прорезями. Он немного замешкался в темном проеме, некрасивый и добродушный, не понимая, отчего все замолкли, и вышел на свет. Затем лица вновь поворотились к столу, птичий гомон возобновился, Ланселот подошел к Королю, чтобы поцеловать ему руку.

Эта минута все и решила. И может быть, лучше рассказать о ней, чем пускаться в какие-то объяснения.

— Ну, Ланс, — радостно сказал Артур, — повеселил же ты нас, можешь не сомневаться. Дженни едва усидела на троне, увидев всех твоих пленников.

— Это были ее пленники, — сказал Ланселот.

Королева и он старались не встречаться глазами. Их глаза уже встретились, пока он стоял на поро-

ге, — чуть ли не со щелчком, какой слышишь, когда смыкаются два магнита.

— Прости, но я поневоле считаю их и моими тоже, — сказал Король. — Они принесли мне в подарок примерно три графства.

Ланселот чувствовал, что нельзя допустить, чтобы наступило молчание. Он заговорил, пожалуй, слишком поспешно.

— Три графства, — сказал он, — не такое уж и приобретение для Императора всей Европы. Послушать тебя, так ты никогда и не побеждал Диктатора Рима. Как там дела в твоих доминионах?

— Дела там паршивые, Ланс. Что толку побеждать Диктатора, если ни тебе, ни другим не удается затем цивилизовать побежденных. И какой смысл становиться Императором всей Европы, если по всей Европе люди только и делают, что режутся, словно безумцы?

Гвиневера поддержала своего героя в попытках предотвратить молчание. Впервые они действовали как партнеры.

— Ну какой же ты странный, Артур, дорогой, — сказала она. — Ты год за годом воюешь, подчиняешь себе целые страны, выигрываешь сражения, и ты же теперь говоришь, что сражаться дурно.

— Так ведь и дурно. Дурнее ничего нет на свете. О Господи, ну не объяснять же мне все сначала.

— Не надо.

— А что Оркнейская партия? — торопливо спросил молодой человек. — Как поживает твоя знаменитая цивилизация, Сила на стороне Права? Не забывай, я ведь отсутствовал целый год.

Король подпер ладонями щеки и с несчастным видом уставился в стол между своими локтями. Он был добрым, совестливым, мирным человеком, на свое несчастье еще в юные годы попавшим в руки гениального учителя. Вдвоем они выработали теорию, согласно которой убивать и тиранить людей — дурно. В качестве противодействия такого рода деяниям

они выдвинули идею Круглого Стола — идею смутную, каковы и все идеи демократии, спортивного духа или морали, — и вот теперь, после стольких усилий по водворению мира на земле он обнаружил, что руки у него по локоть в крови. Он не особенно кручинился об этом, когда чувствовал себя здоровым и крепким, но в минуты слабости стыд и неуверенность томили его. Среди нордических мужей, додумавшихся до цивилизации или возжелавших иной славы, чем слава Аттилы-гунна, он был одним из первых, и битва с хаосом порой казалась ему бессмысленной. Он часто думал, что, может быть, для всех его павших воинов было бы лучше остаться живыми, даже если бы жить им пришлось под властью безумия и тирании.

— С Оркнейской партией худо, — сказал он. — Как и с цивилизацией, если не считать твоих последних достижений. Перед твоим приходом я считал себя императором пустого места — ныне я ощущаю себя императором трех графств.

— Так в чем там дело с Оркнейцами?

— О Господи, неужели вместо того, чтобы радоваться твоему возвращению, мы должны обсуждать все это? Похоже, должны.

— В Моргаузе, — сказала Королева.

— Отчасти. Теперь, после смерти Лота, Моргауза крутит любовь со всеми, кого ей только удается прибрать к рукам. Как я жалею, что Король Пеллинор по несчастной случайности прикончил его! Это дурно сказалось на детях Моргаузы.

— Что ты имеешь в виду?

Король поскреб стол и заявил:

— Лучше бы ты не побеждал Гавейна, когда переоделся Кэем. А еще бы лучше было тебе не одерживать столь блестящих побед, спасая его вместе с братьями от Карадоса и Тарквина.

— Но почему?

— Круглый Стол, — медленно произнес Король, — был замечательной выдумкой. Необходимо было изобрести нечто, позволяющее любителям сражений са-

мовыражаться, не причиняя большого вреда. Я не вижу иных способов достичь этого, кроме установления моды, которая увлекла бы их, словно детей. Чтобы привлечь этих людей на нашу сторону, пришлось создать подобие банды — как для школьников-подростков. Вступающий в банду обязан приносить непонятную ему клятву, что он-де будет сражаться лишь во имя наших идей. Если угодно, назови это насаждением цивилизации. Когда я все это выдумывал, мне казалось, будто цивилизация и сводится к тому, чтобы не извлекать выгод из чьей-то слабости — не насиловать девиц, не грабить вдов, не убивать лежачего. Человек обязан вести себя цивилизованно. А в итоге все свелось к спортивному соперничеству. Мерлин всегда говорил, что спортивный дух — это проклятие нашего мира, и так оно и есть. Выдуманная мной схема оказалась неверной. И теперь все эти рыцари обратили ее в фетиш. Они теперь соревнуются. Игровая мания — так называл это Мерлин. Все они сплетничают, подзуживают друг друга, препираются насчет того, кто кого последним сбросил с коня, кто спас больше девственниц и кто лучший рыцарь Стола. Я сделал стол круглым именно для того, чтобы этого избежать, — не помогло. А пуще всех помешались на этом Оркнейцы. Я думаю, что неуверенность в себе, привитая им матерью, заставляет их стремиться к надежному положению в самом верху общего списка. Им необходимо превзойти всех остальных, дабы как-то преодолеть то, что она с ними сотворила. Вот почему я предпочел бы, чтобы ты не побеждал Гавейна. Он малый достойный, но в глубине души он затаит злобу против тебя. Ты ухудшил его турнирные показатели, а это — часть их достояния, которая ныне для моих рыцарей стала важней, чем их души. Если ты не будешь осторожен, Оркнейская партия начнет на тебя охоту точно так же, как на бедного Пеллинора. Положение скверное. Ради своей так называемой чести люди готовы совершать самые низменные поступки. Я со-

жалею, что выдумал такие вещи, как честь, спортивный дух и цивилизация.

— Что за речь! — сказал Ланселот. — Не волнуйся. Ничего мне Оркнейцы не сделают, даже если затеют охоту. Что же до неправильности твоей схемы, так это полная ерунда. Круглый Стол — лучшее из того, что существовало когда бы то ни было.

Артур, чья голова так и покоилась на ладонях, поднял взгляд. Он увидел, что друг его и жена не отрывают один от другого глаз, и что зрачки их расширены, как у безумцев. И Артур поспешил уткнуться взглядом обратно в тарелку.

10

Дядюшка Скок повертел в руках шлем и сказал:

— У тебя весь намет иссечен и стерт. Нужно поставить новый. Разгуливать с порубленным наметом дело, конечно, почетное, но сохранять его, когда есть чем его заменить, это уже постыдно. Такая манера сродни похвальбе.

Они беседовали в маленькой кладовке с выходящим на север окном, холодным и серым. Голубоватый свет лежал на стали, словно застывшая нефть.

— Да.

— Как показал себя Весельчак? Он по-прежнему остр? Тебе нравится, как он сбалансирован?

Весельчак был изготовлен Галандом, величайшим оружейником Средних Веков.

— Да.

— Да! Да! — воскликнул дядюшка Скок. — Ты кроме «да» сказать что-нибудь можешь? Что на тебя, черт подери, нашло, в конце-то концов?

Ланселот поглаживал султанчик из перьев, который носил в виде отличительного знака на шлеме, сейчас бывшем в руках у дядюшки Скока. Султанчик был съемный. Ныне, под влиянием кинематографа и рекламных мультфильмов, люди вбили себе в головы, что рыцари обыкновенно украшали свои доспехи плюмажами из страусовых перьев, кивавшими, словно стебли пампасной травы. Ничего подобного не было. Султан Кэя, к примеру, имел форму жесткого, плоского веера, закрепленного вдоль шлема. Султан этот был с тщанием изготовлен из глазков павлиньих перьев и вид имел точь-в-точь такой, как если бы в голову Кэя стоймя воткнули негнущийся павлиний веер. На пук плюмажных перьев он вовсе не походил

и уж никак не кивал. Скорее, он напоминал жировой рыбий плавник, только цветастый. Ланселот, не любивший кричащих красок, обходился несколькими горловыми перьями цапли, перевязанными серебряной нитью, отвечавшей серебру его щита. Вот их-то он и поглаживал. Наконец он резко швырнул султанчик в угол и встал. И принялся порывисто расхаживать по узкой комнатушке.

— Дядя Скок, — сказал он, — ты помнишь, как я просил тебя не говорить со мной об одной вещи?

— Помню.

— Как ты считаешь, Гвиневера любит меня?

— Так ты у нее и спроси, — с французской логичностью отвечал ему дядя.

— Что же мне делать? — воскликнул рыцарь. — Что делать?

Если трудно объяснить поведение Гвиневеры, любившей двух мужчин одновременно, то объяснить поведение Ланселота почти невозможно. Во всяком случае, это было бы невозможно сделать в наше время, настолько свободное от суеверий и предрассудков, что всем нам только и остается вести себя так, как нам больше по нраву. Почему Ланселот не переспал с Гвиневерой или вообще не сбежал с женой своего героя, как поступил бы сегодня любой просвещенный человек?

Одна из причин его нерешительности состояла в том, что он был христианином. Современному миру как-то свойственно забывать, что в отдаленном прошлом имелось некоторое количество христиан, а во времена Ланселота даже и протестантов-то не существовало, — разве что Иоанн Скот Эригена. Церковь, под влиянием коей Ланселот произрос, — а избегнуть ее влияния было весьма затруднительно, — прямо запрещала ему совращать жену своего лучшего друга. Другой помехой, в значительной мере мешавшей ему делать то, что нравится, была сама идея рыцарства, или цивилизации, до которой первым додумался Артур, внедривший ее в сознание юного

Ланселота. Возможно, какой-нибудь скверный барон, ярый радетель Сильной Руки, и мог бы сбежать с Гвиневерой, даже несмотря на наставления Церкви, потому что отнимать жену у ближнего своего — это и есть одна из форм силового правления. Тут уж кто смел, тот и съел. Но детство Ланселота прошло в рыцарских упражнениях и в размышлениях над теорией Короля Артура. Он верил так же твердо, как и Артур, как и самый закоснелый христианин, что существует такая штука, как Правота. И наконец, имелось препятствие, коренившееся в самой его натуре. Где-то в потайных уголках его странного сознания, в этом злосчастном и путаном лабиринте, в самом его основании, у него еще в детстве разладилось нечто такое, чего мы объяснить не возьмемся. И сам он не смог бы этого объяснить, а уж мы и подавно. Он любил Артура, любил Гвиневеру и ненавидел себя. Лучший из рыцарей мира: всякий с завистью думал о том уважении к себе, которое он, конечно же, должен был питать. Но Ланселот никогда не верил ни в доброту свою, ни в добродетель. Под безобразной и величественной оболочкой, под этим лицом Квазимодо таились стыд и ненависть к себе, вживленные туда еще в раннем детстве чем-то, что теперь было уже слишком поздно выискивать. Ведь с такой роковою легкостью удается заставить ребенка уверовать в собственную никчемность!

— А вот это, насколько я понимаю, — сказал дядюшка Скок, — зависит главным образом от того, что намерена делать Королева.

11

В этот раз Ланселот задержался при дворе на несколько недель, и с каждой неделей ему становилось все труднее уехать. К тому мудреному положению, в котором он оказался и которое можно с некоторыми натяжками назвать «бытовой ситуацией», добавлялась еще некая его личная странность, — ибо он придавал целомудрию значение гораздо большее, чем это принято в нашем столетии. Подобно человеку, описанному лордом Теннисоном, он верил, что обладать силой, вдесятеро превосходящей обычную, может лишь тот, кто сохраняет душевную чистоту. Он-то как раз и обладал такой силой, так что это средневековое ее объяснение пришлось ему в самую пору. А из этого верования следовало, что, отдавшись телом и душой Королеве, он утратит свою десятикратную мощь. По этой причине, равно как и по всем остальным, он противостоял Гвиневере с отвагой отчаявшегося человека. Нельзя сказать, чтобы она получала от этого удовольствие.

В конце концов дядюшка Скок сказал ему:

— Лучше бы тебе уехать. Ты и так уже потерял в весе почти два стоуна. Если же ты уедешь, так хоть что-то изменится — либо в ту, либо в эту сторону. Чем быстрее все кончится, тем лучше.

Ланселот сказал:

— Я не могу.

Артур сказал:

— Прошу тебя, останься.

Гвиневера сказала:

— Уезжай.

Случилось так, что второе из предпринятых им странствий в поисках приключений перевернуло всю его жизнь. При дворе много толковали о некоем Ко-

роле Пеллесе, хромце, жившем в кишащем привидениями замке Корбин. Короля считали немного тронутым, поскольку он верил, что приходится родичем Иосифу Аримафейскому. В наши дни подобные люди становятся британскими Израэлитами и проводят остаток дней, пророчествуя о конце света, точную дату коего они тщатся определить по измерениям протяженности коридоров в пирамиде Хеопса. Однако Король Пеллес если и спятил, то лишь отчасти, замок же его действительно навещали призраки. Была в нем одна комната с бесчисленными дверьми, через которые ночами являлись разные существа и нападали на всякого, кому случалось там оказаться. Артур решил, что стоит послать туда Ланселота, дабы он расследовал все на месте.

На пути в Корбин с Ланселотом случилось одно странное приключение, о котором он многие годы вспоминал, терзаясь горестными сожалениями. Он почитал это приключение прощальным свершением своего целомудрия и во все последующие двадцать лет не расставался с убеждением, что до того, как это случилось, он был слугой Божиим, а после стал лжецом.

У подножия замка Корбин лежала деревня, с виду весьма благоденствующая, — мощеные улочки, каменные дома, старинный мост. Замок стоял на холме с одного края долины, а по другую ее сторону, также на холме, возвышалась дозорная башня. Все население деревни высыпало на улицу, будто поджидая его, и сам воздух словно бы задремал, казалось, что солнце проливается на землю золотистым дождем. Ланселот испытывал странное чувство. Должно быть, кровь его была перенасыщена кислородом, ибо каждый камень в каждой стене, и все краски долины, и радостная поступь коня — все воспринималось им с необычайной отчетливостью. Люди, жившие в зачарованной деревне, знали его по имени.

— Добро пожаловать, сэр Ланселот Дюлак, цвет

рыцарства! — кричали они. — Ибо с твоей помощью мы надеемся быть избавлены от беды.

Ланселот придержал коня и заговорил с ними.

— Почему вы взываете ко мне? — спросил он, думая о своем. — Откуда вам ведомо мое имя? И что тут у вас происходит?

Они отвечали все хором, выговаривая каждое слово торжественно и в лад.

— Ах, любезный рыцарь, — говорили они. — Видишь ли ты башню на том холме? В сей башне заключена злосчастнейшая дама, вот уже много лет как помещенная волшебством в кипящую воду, в которой и варится, и никто не может спасти ее, кроме лучшего рыцаря в мире. На прошлой неделе к нам заезжал сэр Гавейн, но и он ей помочь не смог.

— Если сэр Гавейн этого сделать не смог, — сказал Ланселот, — то уж, наверное, и я не смогу.

Не нравились ему соревнования подобного рода. Звание лучшего рыцаря в мире таило в себе ту опасность, что рыцарские качества его обладателя то и дело подвергались проверке, а значит, неминуемо должен был настать день, когда ему придется с этим званием расстаться.

— Пожалуй, я лучше поеду, — сказал он и тронул поводья.

— Ну, нет, — с серьезным видом ответили люди. — Вы ведь сэр Ланселот, мы знаем. Уж вы-то вызволите нашу госпожу из кипящей воды.

— Мне ехать надо.

— Но она терпит муки.

Ланселот склонился к холке коня, перенес через круп правую ногу и очутился на земле.

— Говорите, что я должен делать, — сказал он.

Люди обступили его, составив процессию, а мэр деревни взял его под руку. Все вместе они поднялись по холму к дозорной башне, — молча, один только мэр объяснял по пути, как тут все приключилось.

— Наша владетельная госпожа, — рассказывал мэр, — почиталась в этом краю первой красавицей.

И оттого Королева Моргана ле Фэй с Королевой Северного Уэльса исполнились ревности к ней и из мести околдовали. Пять лет она провела в кипящей воде и терпела ужасные муки. Выручить же ее может лишь лучший из рыцарей мира.

Когда они подошли к дверям башни, случилась еще одна странность. Дверь, как водилось в то давнее время, была снабжена решеткой и засовы имела тяжелые. В каменной кладке проема виднелись глубокие прорези, в них входили массивные брусья решетки — достаточно крепкие, чтобы устоять против боевого тарана. Теперь же эти брусья сами собой утонули в стене, а железные запоры, поворотясь с мучительным скрежетом, отомкнулись. Дверь тихо отворилась.

— Входите, — сказал мэр, а люди застыли снаружи, ожидая, что случится.

На первом этаже башни располагалась печь, гревшая заколдованную воду. Сюда Ланселот заходить не стал. На втором этаже перед ним открылась комната, до того заполненная паром, что он не мог ничего разглядеть. Он вошел в эту комнату и, словно слепец, двинулся вперед, держа перед собой сцепленные руки, и шел, пока не услышал, как кто-то взвизгнул. Сквозняк, которым потянуло от столь долгое время закрытой двери, немного рассеял пар, и Ланселот увидел взвизгнувшую даму. Она смущенно сидела в ванне и смотрела на него, — очаровательная миниатюрная дама, голая, по выражению Мэлори, как игла.

— Вот так так! — сказал Ланселот.

Девица покраснела, — насколько возможно покраснеть, сидя в кипящей воде, — и тонким голосом произнесла:

— Прошу вас, подайте мне руку.

Ей было ведомо, как снимается заклятие.

Ланеселот подал ей руку, она поднялась и вышла из ванны, и все, кто остался снаружи, закричали «ура», точно знали, что происходит внутри, и принесли ей одежду, и положенное нижнее платье, и

деревенские дамы кружком обступили дверь и стояли, покамест розовая дева одевалась.

— До чего же приятно снова одеться! — сказала она.

— Куколка моя! — воскликнула толстая старуха, как видно, нянчившая ее малолеткой, и зарыдала от радости.

— Это все сэр Ланселот! — закричали жители деревни. — Трижды ура сэру Ланселоту!

Когда смолкли приветственные клики, прокипяченная дева подошла к Ланселоту и вложила свою ладонь в его.

— Благодарю вас, — сказала она. — Не пойти ли нам теперь в часовню и не воздать ли хвалу не только вам, но и Господу?

— Мы просто обязаны, — сказал Ланселот.

И они пришли в маленькую чистенькую часовню и возблагодарили Бога за милости Его. Они преклонили колена между украшенных росписью стен, на которых какие-то важного вида святые в голубоватых нимбах стояли, приподнявшись на цыпочки, дабы избегнуть искажения перспективы, и радостные краски витражей изливались на склоненные головы молящихся. Краски были: кобальтово-синяя, лиловая, получаемая с помощью марганца, желтая, получаемая при посредстве меди, красная и зеленая, что опять-таки достигается добавлением меди. Вся часовня была до краев наполнена красками. Служба подходила уже к середине, когда Ланселот вдруг понял, что ему было даровано именно то, о чем он всегда мечтал, — возможность содеять чудо.

На другой стороне долины Король Пеллес, прихрамывая, вышел из замка — выяснить, что там за волнения происходят в деревне. Король взглянул на щит Ланселота, рассеянно поцеловал свое едва не сварившееся дитя, наклонясь над ним, словно аист, клюющий непочтительного птенца, и сказал:

— Бог мой, да ведь вы — сэр Ланселот! И вы, как я вижу, вытащили мою дочь из этой дурацкой посудины. Как вы добры! Все это было предсказано еще в стародавнее время. Я Король Пеллес, близкий сородич Иосифа Аримафейского, вы же в восьмом колене происходите от Господа нашего Иисуса Христа.

— Силы благие!

— Правда-правда, — сказал Король Пеллес. — Все это записано арифметически в камнях Стоунхенджа, у меня же, в моем замке в Кербонеке, имеется некий священный сосуд, а при нем голубица, порхающая то туда, то сюда с золотой курильницей в клюве. И тем не менее вы сделали чрезвычайно доброе дело, выручив мою дочку из котла с кипятком.

— Папа, — сказала дочка, — ты бы нас представил друг другу.

Король Пеллес плавно взмахнул рукой, словно комаров отгоняя.

— Элейна, — сказал он. Вот и еще одна женщина с тем же именем. — Моя дочь, Элейна. Как поживаете? А это сэр Ланселот Дюлак. Как поживаете? В камнях все записано.

Ланселоту, быть может, из-за того, что впервые он увидел ее безо всяких одежд, Элейна показалась прекраснейшей, не считая Гвиневеры, девицей, каких когда-либо доводилось ему лицезреть. Он тоже смущался.

— Вам должно остаться у меня, пожить немного, — сказал Король. — Это все тоже есть в камнях. Я вам как-нибудь покажу священный сосуд и все остальное. Арифметике вас научу. Хорошая погода сегодня. Не каждый день дочерей вытаскивают из кипятка. Я полагаю, обед вот-вот будет готов.

12

Ланселот надолго задержался в замке Корбин. Комнаты с призраками вполне оправдали возлагаемые на них надежды, но иных занятий тут не было. Грудь его теснили чувства, внушенные Гвиневерой, — нещадные муки безнадежной любви, — и он, казалось, напрочь лишился сил. Он не мог собраться с духом, чтобы ехать куда-то. В начальную пору любви к Гвиневере им владело беспокойство, ему мнилось, что непрестанная перемена мест дает надежду на спасение. Ныне властная потребность действовать оставила его. Он чувствовал, что для человека, которому осталось лишь ждать, когда наконец разорвется его сердце, все места одинаковы. И не понимал в своей простоте, что если лучший рыцарь мира спасает тебя, неодетую, из котла с кипящей водой, то ты, скорее всего, влюбишься в него, особенно когда тебе отроду всего восемнадцать лет.

В один из вечеров, когда Пеллес с его разговорами о религиозных родословных казался особенно несносным, а сердечные терзания не позволяли молодому человеку даже толком поесть или спокойно досидеть до конца обеда, за дело взялся дворецкий. Он служил семье Пеллесов вот уже сорок лет, был женат на нянюшке — той, что встретила спасенную Элейну радостными слезами, и, кроме того, с одобрением относился ко всякой любви. Он понимал толк и в молодых мужчинах вроде Ланселота, мужчинах, которые в нынешней Англии еще учились бы на последнем курсе университета или осваивали реактивные самолеты. Из него мог получиться превосходный буфетчик университетского клуба.

— Еще вина, сэр? — спросил дворецкий.

— Нет, спасибо.

Дворецкий вежливо поклонился и заново наполнил рог, который Ланселот осушил, даже не заглянув в него.

— Хорошее вино, сэр, — сказал дворецкий. — Его Величество проявляет большую заботу о своих погребах.

Король Пеллес отправился к этому времени в библиотеку, дабы поработать над некоторыми прорицаниями, и его гость остался угрюмо сидеть в большом зале.

— Да.

Что-то зашуршало за дверью буфетной и дворецкий удалился туда, пока Ланселот допивал новую порцию.

— И вот недурное вино, сэр, — сказал дворецкий. — Его Величество держит это вино в изрядных количествах, жена как раз принесла из погреба новую бутылку. Обратите внимание на осадок, сэр. Я уверен, что это вино вам придется по вкусу.

— Для меня все вина одинаковы.

— Вы очень скромный молодой джентльмен, — сказал дворецкий, заменяя рог Ланселота другим, гораздо бóльшим. — Вы, разумеется, пошутили, сэр, осмелюсь сказать. Когда встречаешь истинного знатока, узнать его — дело несложное.

Он раздражал Ланселота, желавшего остаться со своими горестями наедине, и Ланселот осознавал свое раздражение. По этой причине он машинально встревожился, не нагрубил ли он дворецкому ненароком. Возможно, дворецкий действительно был тонким ценителем вин и, может быть, у него хватало своих невзгод.

И Ланселот вежливо выпил предложенное.

— Очень хорошее вино, — сказал он, желая утешить дворецкого. — Великолепный букет.

— Я рад, что вы его хвалите, сэр.

Ланселот вдруг задал вопрос, рано или поздно задаваемый всяким молодым человеком, даже не заметив, что никакого отношения к вину этот вопрос не имеет:

— А вы любили когда-нибудь?

Дворецкий уважительно улыбнулся и снова наполнил рог.

К полуночи Ланселот с дворецким сидели за столом друг против друга, физиономии у обоих были красные. На столе между ними стоял кувшин с горячим глинтвейном — смесью красного вина, меда, пряностей и иных добавлений, сделанной женою дворецкого.

— Потому я тебе и рассказываю, — говорил Ланселот, таращась, как обезьяна. — Никому бы не рассказал, но ты малый хороший, с понятием. А рассказать — уже радость. Давай еще выпьем.

— Ваше здоровье, — сказал дворецкий.

— Что же мне делать? — вскричал Ланселот. — Что делать?

Он уронил страховидную голову на сложенные руки и заплакал.

— Побольше отваги, сэр! — сказал дворецкий. — Победа или смерть!

Глядя на дверь буфетной, он дробно постучал рукой по столу и снова наполнил кружку Ланселота.

— Выпейте, — сказал он. — Выпейте от души. И будьте мужчиною, сэр, если вы простите мне подобную вольность. Не пройдет и минуты, как вы услышите добрые вести, уж можете мне поверить, и вам захочется, как сказано у барда, замедлить часов и дней неумолимый бег.

— Хороший ты малый, — сказал Ланселот. — Да будь я проклят, коли не замедлю, если сумею.

— И чем слуга хуже хозяина?

— А ничем, — ответил молодой человек, подмигивая, как он и сам ощущал, довольно гнусным

образом. — Еще и получше, не так ли, дворецкий?

И он осклабился, обретя разительное сходство с ослом.

— Ага, — сказал дворецкий, — а вон и женушка моя, Бризена, видишь, в дверях буфетной, у нее там записка какая-то. Небось, для тебя.

— Ну, и что там написано? — спросил дворецкий, глядя на молодого человека, уставившегося на листок бумаги.

— Ничего, — сказал молодой человек, бросив листок на стол и нетвердыми ногами направляясь к дверям.

Дворецкий прочитал записку.

— Тут написано, что Королева Гвиневера ждет тебя в замке Каз в пяти милях отсюда. Что Короля с ней нет. И еще про какие-то поцелуи.

— Ну и что с того?

— Да ничего, ты ведь все равно пойти не осмелишься.

— Не осмелюсь? — выкрикнул сэр Ланселот и, покачиваясь и карикатурно хохоча, вышел в ночную тьму и потребовал коня.

Поутру он проснулся, будто от толчка, в незнакомом покое. В покое стояла кромешная тьма, окна были завешены гобеленами, голова у Ланселота совсем не болела, что делало честь его организму. Он выпрыгнул из кровати и подошел к окну, отдернуть завесу. В одно мгновение он осознал все, случившееся прошлой ночью, — дворецкого, пьянство, любовное зелье, видимо, подмешанное в вино, послание от Гвиневеры и темное, горящее прохладным огнем тело в постели, которую он только что покинул. Он отдернул завесу и приник лбом к холодному камню оконницы. Чувствовал он себя прескверно.

— Дженни, — сказал он по истеченьи минуты, ему показавшейся часом.

Ответа не последовало.

Он обернулся и увидел прокипяченную деву, Элейну. Она лежала в постели, прижимая голыми ручками одеяло и уставя на него фиалковые глаза.

Ланселот всегда был рабом и мучеником своих чувств, так и не научившимся их скрывать. Когда он увидел Элейну, голова его отдернулась назад. Затем на уродливом лице появилось выражение бездонного и гневного горя, столь неподдельное и явное, что оно исполнило благородства даже его наготу, ясно зримую в падавшем из окна свете. Он задрожал.

Элейна не шелохнулась, лишь глядела на него быстрыми, словно у мышки, глазами.

Ланселот двинулся к сундуку, на котором лежал его меч.

— Я убью тебя.

Она все смотрела на него, восемнадцатилетняя, трогательно маленькая в огромной кровати, испуганная.

— Зачем ты так поступила? — выкрикнул он. — Что же ты натворила! Зачем ты обманула меня?

— Я должна была так поступить.

— Но ведь это предательство.

Он не мог поверить, что она оказалось способной на это.

— Это же вероломство! Ты предала меня.

— О чем ты?

— Ты превратила меня... ты отняла... похитила...

Он швырнул меч в угол и опустился на сундук. Он заплакал, и уродливые линии его лица фантастически искривились. Его мощь, вот что похитила Элейна. Она украла его десятикратную силу. Дети и теперь верят в подобные вещи, думая, что хороший бросок в завтрашнем крикетном матче удастся им

только в том случае, если сегодня они будут вести себя хорошо.

Ланселот утер слезы и заговорил, не подымая глаз от пола.

— Когда я был маленьким, — сказал он, — я молил Бога, чтобы он дозволил мне совершить чудо. Только девственник может творить чудеса. Я хотел быть самым лучшим рыцарем в мире. Я был уродлив, одинок. Люди в вашей деревне назвали меня лучшим рыцарем мира, и я сотворил мое чудо, когда вывел тебя из воды. Я не знал, что это чудо станет для меня не только первым, но и последним.

— О, Ланселот, ты сотворишь еще много чудес, — сказала Элейна.

— Никогда. Ты украла мои чудеса. Ты украла мое превосходство над всеми прочими рыцарями. Зачем ты сделала это, Элейна?

Она заплакала.

Ланселот поднялся, завернулся в полотенце и подошел к кровати.

— Не убивайся, — сказал он. — Я сам виноват, не нужно было напиваться. Я чувствовал себя несчастным, вот и пил. Думаю, еще и дворецкий меня подпоил. Если так, это не очень-то честно. Не плачь, Элейна. Твоей вины тут нет.

— Есть. Есть.

— Ну, значит, отец заставил тебя, чтобы получить в родню потомка Господа нашего в восьмом колене. Или эта ворожея Бризена, жена дворецкого. Не жалей ни о чем, Элейна. Все уже позади. Видишь, я целую тебя.

— Ланселот! — зарыдала Элейна. — Это все произошло потому, что я полюбила тебя. А я разве ничего тебе не отдала? Я была девственницей, Ланселот. Я не грабила тебя. Почему ты меня не убил? Почему не ударил мечом? Но все это оттого, что я тебя полюбила и ничего не могла с собой поделать.

— Ну, успокойся, ну что ты.

— Ланселот, а если у меня будет ребенок?

Он бросил ее утешать и опять поплелся к окну, словно лишаясь разума.

— Я хочу ребенка от тебя, — сказала Элейна. — Я назову его твоим первым именем — Галахад.

Она по-прежнему прижимала одеяло к бокам маленькими, голыми ручками. Ланселот в гневе повернулся к ней.

— Элейна, — сказал он, — если у тебя будет ребенок, он будет только твоим. Связывать меня состраданием бесчестно. Теперь же я ухожу и надеюсь, что больше никогда тебя не увижу.

13

Гвиневера сидела в полутемном покое, занимаясь шитьем, которое было ей ненавистно. Она вышивала чехол на Артуров щит — с драконом стоящим, червленым. Чувства такого ребенка, как восемнадцатилетняя Элейна, легко объяснимы, Гвиневере же исполнилось двадцать два года. И на чувства королевы-ребенка, получившей когда-то в подарок пленников, лег уже отпечаток созревающей личности.

Существует нечто, именуемое знанием жизни, — нечто, недоступное человеку, не достигшему зрелых лет. Его невозможно передать человеку помоложе, поскольку оно лишено логики и не подчиняется установившимся законам. В нем отсутствуют правила. И только за долгие годы, приводящие женщину к середине ее жизни, развивается это ощущение равновесия. Ведь нельзя обучить младенца ходить, объяснив ему все логически, — ему приходится на собственном опыте овладевать странной наукой устойчивого хождения. Что-то похожее присуще и знанию жизни — передать его юной женщине не удается. Остается лишь предоставить ей долгие годы накапливать опыт. И в конце концов, как раз в ту пору, когда она начинает ненавидеть свое израсходованное тело, она обнаруживает, что, оказывается, может жить дальше. Теперь она может длить существование, опираясь не на принципы, не на логические построения, не на понимание хорошего и дурного, но лишь на особое и изменчивое ощущение равновесия, зачастую отрицающее все перечисленное выше. Надежд на то, чтобы жить поисками истины — если женщины

вообще питают такие надежды, — у нее уже не остается, но с этой поры она продолжает жить, руководствуясь седьмым чувством. Чувство устойчивости, приобретенное, когда она училась ходить, было шестым, отныне же она обладает седьмым чувством — знанием жизни.

Медленное обретение седьмого чувства, с помощью которого и мужчины и женщины умудряются проплывать бурными водами этого мира, полного войн, прелюбодеяний, страхов, компромиссов, злоречия и ханжества, — обретение это не сопровождается ощущением торжества. Ребенок еще может, торжествуя, воскликнуть: я научился ходить и не падать! Седьмое же чувство осознается нами без восклицаний. Мы просто продолжаем плыть по сомнительным водам, вооружившись нашим прославленным знанием жизни, потому что попали в тупик и ничего иного придумать не можем.

И достигнув этой ступени, мы начинаем забывать, что было некогда время, когда мы седьмым чувством не обладали. Мы начинаем забывать, продолжая уравновешенное движение, что было, вроде бы, время, когда наши молодые тела пылали жаждою жизни. Вспоминать о подобных чувствах — невеликое утешение, а потому память о них отмирает в нашей душе.

Но ведь и правда, было же время, когда каждый из нас нагим стоял перед миром, почитая жизнь серьезной проблемой, к которой он относился вдохновенно и страстно. Было время, когда нам казалось жизненно важным выяснить, существует Бог или нет. Ясно же, что Его бытие или, иными словами, возможность будущей жизни имеет первостепенную важность для тех, кому предстоит прожить жизнь земную, ибо от этого зависит, как ее жить. Было время, когда спор между Свободной Любовью и Католической Моралью имел для наших жарких тел не

меньшее значение, чем приставленный к виску пистолет.

А если заглянуть еще дальше, то были и времена, когда мы, напрягая души, пытались понять, что такое мир, любовь, что такое мы сами.

С обретеньем седьмого чувства все эти проблемы и порывы сходят на нет. Зрелые люди без особых трудов умудряются балансировать между верой в Бога и нарушением всех десяти Его заповедей. В сущности говоря, седьмое чувство медленно убивает все остальные, так что в конце концов и о заповедях беспокоиться не приходится. Мы их больше не видим, не слышим, не осязаем. Тела, которые мы любили, истины, которые мы искали, Бог, в котором мы сомневались — отныне мы к ним глухи и слепы; уверенно и уравновешенно мы шагаем вперед, к неотвратимой могиле, надежно защищенные последним из наших чувств. «Восхвалим Господа за старость», поет поэт:

Восхвалим Господа за старость,
За возраст, немощь, тишь погоста.
Когда ты стар, разбит и видишь край могилы,
Быть добродетельным так просто.

Гвиневере, сидевшей за вышиванием и думавшей о Ланселоте, было двадцать два года. Она не прошла и половины пути к могиле, не была даже немощна и чувств имела всего только шесть. Вообразить ее трудновато.

Хаос души и тела; возраст, в котором плачут при виде заката или блеска полной луны; обилие путаных надежд и верований — в Бога, в Истину, в Любовь, в Вечность; умение увлекаться красотою вещей; сердце, способное страдать и переполняться; радость, столь радостная, и печаль, столь печальная, что между ними могли бы разместиться целые океаны; и чтобы уравновесить эти прекрасные качества — непристойно выставляемое напоказ себялюбие; неугомонность, неспособность утихомириться и пере-

стать, наконец, докучать зрелым людям; дерзкие препирательства по поводу отвлеченных понятий, скажем, по поводу Красоты, как будто они представляют для зрелых людей какой-нибудь интерес; совершенное отсутствие опыта по части замалчивания правды, человеку зрелому неприятной; общая возбудимость, надоедливость и несоответствие принятым формам проявления седьмого чувства — такими могли быть некоторые характерные черты, присущие Гвиневере в двадцать два года, ибо черты эти присущи всем. Но венчалось все это расплывчатыми, еще не определившимися чертами, присущими ей одной и отличавшими ее от невинной Элейны, чертами, быть может, менее трогательными, но более связанными с реальным миром, властными чертами, превращавшими ее в ту особую Дженни, которую любил Ланселот.

— О, Ланселот, — напевала она, вышивая навершье щита. — О, Ланс, воротись поскорей. Воротись ко мне, с твоей искривленной улыбкой, с твоей особой походкой, которая выдает, сердит ты или озадачен, — воротись и скажи мне, что вовсе не важно, греховна любовь или нет. Воротись и скажи: довольно того, что ты — Дженни, я — Ланс, что бы там с кем ни случилось.

И самое поразительное, что Ланселот воротился. Он прилетел прямиком от Элейны, прямиком от содеянного ею воровства, прилетел, словно стрела, пронзающая влюбленное сердце. Обманутый, он уже спал с Гвиневерой, уже лишился обманом своей десятикратной мощи. В глазах Господа, как Его представлял себе Ланселот, он уже стал лжецом и потому полагал, что новая ложь ничего не изменит. Утративший звание лучшего рыцаря мира, не способный больше творить чудеса без помощи магии, лишенный возможности чем-нибудь возместить уродство и пустоту своей души, молодой человек устре-

мился за утешением к любимой. Железные подковы коня пролязгали по булыжнику мостовой, заставив Королеву бросить шитье и пойти посмотреть, не Артур ли вернулся с охоты; ноги в кольчужных чулках прозвенели по лестнице, клацая, словно шпоры о камень; и еще не успев понять, что происходит, Гвиневера уже то ли плакала, то ли смеялась, уже неверная мужу, а впрочем, знавшая всегда, что когда-нибудь это с ней обязательно случится.

14

— От твоего отца пришло письмо, Ланс, — сказал Артур. — Он пишет, что на него напал Король Клаудас. Я обещал, если возникнет нужда, помочь ему справиться с Клаудасом в благодарность за помощь при Бедегрейне. Придется отправляться во Францию.

— Понятно.

— А ты что собираешься делать?

— То есть как — «что я собираюсь делать»?

— Ну, хочешь ли ты ехать со мной или останешься здесь?

Ланселот прочистил горло и ответил:

— Я сделаю то, что ты сочтешь за лучшее.

— Конечно, тебе будет тяжело, — сказал Артур, — и мне очень неприятно тебя об этом просить, но как ты посмотришь на то, чтобы остаться?

Ланселот не сумел найти безопасных слов, и Король счел его молчание признаком обиды.

— Разумеется, ты имеешь право проведать отца и мать, — сказал Артур. — Я не хочу, чтобы ты оставался, если это причинит тебе боль. Возможно, мы что-нибудь придумаем.

— Но почему ты не хочешь, чтобы я покинул Англию?

— Мне нужно, чтобы кто-то присматривал за партиями. Я буду чувствовать себя во Франции спокойней, зная, что у меня в тылу остался надежный человек. В Корнуолле вот-вот начнется свара между Тристрамом и Марком, а тут еще Оркнейская вражда. Ну, тебе же известны все наши трудности. И потом, приятно будет думать, что есть кому позаботиться о Гвиневере.

— Возможно, — сказал Ланселот, мучительно подбирая слова, — тебе было бы лучше довериться кому-то другому.

— Не говори ерунды. Кому другому могу я довериться? Тебе достаточно лишь высунуться из конуры, как все ворье разбежится.

— Да, образина у меня не из самых смазливых.

— Кровь леденит! — с нежностью воскликнул Король и хлопнул друга по спине. А потом он ушел, чтобы распорядиться о подготовке к походу.

Двенадцать месяцев провели они в странном раю — год, исполненный радости, какую переживает лосось на гладкой гальке речного дна, в прозрачной, как джин, воде. Следующие двадцать четыре года они прожили под гнетом вины, и этот первый год остался единственным, в который они испытали подобие счастья. Под старость, оглядываясь на него, они не могли припомнить за все эти двенадцать месяцев ни одного дождливого или студеного дня. Все четыре времени года сохранили в их памяти краски, в какие расцвечены закраины розового лепестка.

— Не понимаю, — говорил Ланселот, — как ты можешь меня любить? Ты уверена в том, что любишь? Ты не ошиблась?

— Мой Ланс.

— Но мое лицо, — говорил он, — это же ужас. Теперь я готов поверить, что Бог способен любить наш мир, каков бы он ни был, — я это знаю на собственном опыте.

Временами их окутывал страх, который исходил от него. Сама Гвиневера раскаяния не ощущала, но заражалась им от любовника.

— Я не смею задумываться. Не смею. Поцелуй меня, Дженни.

— И не задумывайся.

— Не могу.

— Ланс, милый!

Случалось им и ссориться безо всякой причины, но даже ссоры их были ссорами влюбленных и казались в воспоминаниях сладкими.

— Пальцы стопы твоей — как поросята, которых гонят на рынок.

— Не смей говорить подобных вещей. Это непочтительно.

— Непочтительно!

— Да, непочтительно. А почему бы тебе и не быть почтительным? Я, как-никак, Королева.

— Ты что, всерьез хочешь уверить меня, что я обязан выказывать тебе почтение? Мне, видимо, надлежит по целым дням стоять пред тобой на одном колене и целовать твою руку?

— Почему бы и нет?

— Послушай, не будь столь себялюбива. Если я чего и не выношу, так это когда со мной обходятся, как со своей собственностью.

— И я же, по-твоему, себялюбива.

И Королева топала ножкой или целый день потом дулась. Впрочем, после того как он подобающим образом являл раскаяние, она прощала его.

Как-то раз, когда они рассказывали друг дружке о самых своих сокровенных чувствах, невинно умиляясь, когда они совпадали, Ланселот поведал Королеве о своей тайне.

— Ты знаешь, Дженни, в детстве я себя ненавидел. Не знаю, отчего. Я чего-то стыдился. Я был чрезвычайно благочестивым и праведным мальчиком.

— Теперь-то ты праведностью не отличаешься, — сказала она со смехом. Она не понимала, о чем он ей рассказывает.

— Как-то брат попросил у меня на время стрелу. У меня было две или три особенно прямых, я ими очень дорожил, а у него все стрелы были немного гнутые. И я притворился, будто потерял стрелы, сказал, что не могу их ему одолжить.

— Врунишка!

— Это-то я понял мгновенно. После меня мучали нещадные угрызения совести, я считал, что солгал перед Богом. И потому я отправился в ров, у нас там были крапивные заросли, и засунул стрелы в крапиву, в виде наказания. Закатал рукав и сунул их в самую гущу.

— Бедный Ланс! Каким невинным крошкой ты был!

— Но, Дженни, крапива не жглась! Я совершенно отчетливо помню, что крапива меня не ужалила.

— Ты хочешь сказать, что случилось чудо?

— Не знаю. Наверняка утверждать трудно. Я был таким мечтателем, жил в выдуманном мире — я был в нем величайшим из Артуровых рыцарей. Может быть, я и придумал все это, насчет крапивы. Но мне кажется, я помню, как меня потрясло то, что крапива не жжется.

— А я уверена, что случилось чудо, — решительно заявила Королева.

— Дженни, всю жизнь я мечтал о том, чтобы творить чудеса. Я стремился к святости. Видимо, мной владело тщеславие или гордыня, или еще что-нибудь недостойное. Завоевать мир казалось мне недостаточным — я хотел еще завоевать небеса. Меня томила такая алчность, что звания сильнейшего рыцаря мне было мало, я желал еще стать наилучшим. Вот чем плохи мечтания. Я потому и сторонился тебя. Я знал, что если я не сохраню чистоту, то никогда не смогу творить чудеса. И ведь я уже сотворил одно, замечательное. Я освободил девицу, помещенную чарами в кипящую воду. Ее звали Элейной. А потом я утратил мою мощь. Теперь, когда мы вместе, на чудеса я уже не способен.

Он не хотел говорить об Элейне всю правду, боясь ранить чувства Гвиневеры признанием, что она не была его первой женщиной.

— Почему же?

— Потому что мы согрешили.

— Лично я никогда никаких чудес не творила, — с некоторой холодностью произнесла Королева, — так что мне и жалеть особенно не о чем.

— Но Дженни, я ведь и не жалею ни о чем. Ты — мое чудо, ради тебя я снова отказался бы от всех остальных. Я лишь попытался описать тебе мои детские чувства.

— Что ж, не могу сказать, что я их как следует поняла.

— Разве тебе не понятно желание в чем-то преуспеть? Впрочем, конечно нет. Я знаю, тебе его понимать и не нужно. Это лишь те, кто чего-то лишен, или дурен, или унижен, — только они и нуждаются

в успехе. Ты же всегда была цельной и совершенной, тебе и выдумывать было нечего. А я вечно что-то выдумывал. И временами — даже сейчас, с тобой, — меня охватывает ужас при мысли, что я больше не смогу быть лучшим рыцарем мира.

— Ну, так давай все это прекратим, ты как следует исповедуешься и сотворишь еще много чудес.

— Ты ведь знаешь, что ничего прекратить мы не можем.

— По-моему, все это какие-то капризы, — сказала Королева. — Ничего не могу понять. Какие-то самовлюбленные фантазии.

— Я сознаю свое себялюбие. И ничего не могу поделать, хоть и стараюсь избавиться от него. Но разве себя изменишь? Ох, ну разве ты не понимаешь, о чем я тебе говорю? Мальчишкой я был одинок, я изнурял себя упражнениями. Я повторял себе, что стану великим путешественником и пройду пустыни Хорезма, или великим королем вроде Александра или Святого Людовика, или великим целителем — найду бальзам, исцеляющий раны, и буду раздавать его даром; а может быть, стану святым и буду залечивать раны одним лишь прикосновением; или отыщу что-нибудь невиданно важное — Истинный Крест или Святой Грааль, что-нибудь такое. Вот о чем я грезил, Дженни. Я только рассказываю тебе о моих привычных мечтах. Это и есть те чудеса, которые я утратил. Я отдал мои надежды тебе, Дженни, это был дар любви.

15

Счастье, продлившееся целый год, кончилось с возвращением Артура — и почти сразу же обратилось в руины, хоть и не по вине Короля. На следующий вечер после его возвращения, пока он еще рассказывал им подробности поражения Клаудаса в том порядке, в котором эти подробности извлекались из памяти, у ворот послышался шум и в большой обеденный зал влетел сэр Борс. Он приходился Ланселоту двоюродным братом и как раз воротился из замка Корбин, где проводил отпуск, изучая повадки привидений. У него имелась для Ланселота новость, которую он и поведал ему шепотом после обеда, — к несчастью, сэр Борс принадлежал к числу женоненавистников и, подобно большинству оных, был по-женски болтлив. Он рассказал новость также и нескольким близким друзьям. Вскоре при дворе о ней знал всякий. Новость же состояла в том, что Элейна Корбинская родила красавца-сына, нареченного при крещении Галахадом, — что было, если помните, и первым именем Ланселота.

— Так вот, значит, — сказала Гвиневера, когда впервые после того, как услышала эту новость, встретилась с любовником наедине. — Вот, значит, как ты утратил свои чудеса? Ты просто наврал, говоря, что пожертвовал ими ради меня.

— О чем ты?

Гвиневера задышала через нос. Ей казалось, будто пара раскаленных пальцев давит ей изнутри на глаза, пытаясь вытолкнуть их наружу. Смотреть на любовника она не хотела. Она прилагала все усилия, чтобы не устроить скандала, и боялась, что усилия эти будут напрасны — она свой характер знала. Она стыдилась слов, которые может сказать, слова эти

были ей омерзительны, но совладать с собой не могла. Она походила на человека, которого несет по бурному морю.

— Ты знаешь, о чем я.

— Дженни, я хотел тебе рассказать, но объяснить все было так трудно.

— Я понимаю твои затруднения.

— Это не то, что ты думаешь.

— Что я думаю! — закричала она. — Откуда тебе знать, что я думаю? Я думаю то же, что все, — что ты презренный совратитель, попросту лжец, со всеми твоими чудесами. А я оказалась такой дурой, что тебе поверила.

При каждом ее выпаде Ланселот дергал головой, словно надеясь, что слова соскользнут по ней, не причинив вреда. Он уставился в пол, пряча глаза. Глаза у него были велики, отчего всегда казались испуганными или удивленными.

— Элейна ничего для меня не значит, — сказал он.

— А могла бы значить! Как смеешь ты говорить, что она ничего для тебя не значит, когда она мать твоего ребенка? Когда ты пытался скрыть ее от меня? Нет, не прикасайся ко мне, уйди.

— Я не могу так уйти.

— Если ты коснешься меня, я пожалуюсь Королю.

— Гвиневера, меня напоили в Корбине. Потом сказали, что ты ожидаешь меня в замке Каз, привели в темную комнату, там ждала Элейна. Наутро я сразу уехал.

— Неуклюжая ложь.

— Это правда.

— Даже младенец в нее не поверит.

— Я не могу заставить тебя верить против твоей воли. Когда я понял, что произошло, я обнажил меч, чтобы убить Элейну.

— Я бы ее и убила.

— Она была не виновата.

Королева принялась дергать ворот платья, словно ворот ее душил.

— Так ты защищаешь ее, — сказала она. — Ты влюблен в нее, а меня ты обманывал. Так я и знала.

— Клянусь, я говорю тебе правду.

Она вдруг сдалась и заплакала.

— Почему ты мне раньше не рассказал? — спросила она. — Почему ты не сказал, что у тебя есть ребенок? Зачем ты лгал мне все это время? Наверное, она и была твоим знаменитым чудом, которым ты так гордился.

Ланселот, раздираемый невыносимыми чувствами, заплакал и сам. Он обнял ее.

— Я не знал о ребенке, — сказал он. — Я не желал его. И я о нем не просил.

— Если б ты сразу сказал мне правду, я бы еще могла в это поверить.

— Я хотел тебе рассказать, но не мог. Я боялся причинить тебе боль.

— Так ты причинил еще бóльшую.

— Я знаю.

Королева вытерла слезы и взглянула на него, улыбаясь подобно весеннему дождику. Через минуту они уже целовались, испытывая чувства, какие, верно, испытывает зеленая трава, освеженная ливнем. Они полагали, что теперь яснее понимают друг друга, но в них уже поселилось сомнение. В тот день в их любовь, ставшую лишь сильнее, проникли семена отвращения, страха, смятения, разраставшиеся вместе с любовью: ибо любовь уживается с отвращением, эти чувства питают друг друга, что и наделяет порою любовь великим неистовством.

16

В замке Корбин малышка Элейна собиралась в дорогу. Она вознамерилась отвоевать Ланселота у Гвиневеры — предприятие, исход которого все, кроме нее, предугадывали с жалостным чувством. Она не обладала оружием, пригодным для такого рода войны, да и воевать не умела. Ей недоставало характера. Ланселот ее не любил. И безнадежность ее положения еще усугублялась тем, что сама-то она Ланселота любила. Нечего было ей противопоставить зрелости Королевы, кроме собственной незрелости и смиренной любви, да еще пухлого младенца, которого она везла показать отцу, — младенца, бывшего для отца лишь символом жестокого обмана. Все это предприятие напоминало штурм неприступной крепости безоружной армией, солдатам которой к тому же связали за спиною руки. С простодушием, объяснить которое можно единственно тем, что большую часть своей жизни Элейна провела в уединении колдовского котла, она решила сразиться с Гвиневерой на ее собственной территории. Она заказала наряды неслыханной роскоши и затейливости и в этих нарядах, только преувеличивавших ее простоватость и провинциальность, отправилась в Камелот, на битву с Королевой Английской.

Не будь Элейна Элейной, она взяла бы с собой Галахада в качестве оружия. Жалость и чувства собственника, если ими с умом воспользоваться, пожалуй, могли бы связать по рукам и ногам человека, подобного Ланселоту. Но Элейна не отличалась умом и не понимала, зачем ей связывать своего героя. Она брала с собой Галахада лишь потому, что обожала его. Она не хотела с ним расставаться, и потом ей не терпелось показать младенца отцу и, может быть,

сравнить их лица. Прошел уже год, как она не видела человека, которым дышала ее детская душа.

Ланселот, покамест Элейна собиралась его полонить, оставался с Королевою при дворе. Однако теперь он лишился и временного душевного мира, который кое-как создал для себя, пока Король был в отъезде. В отсутствие Короля ему еще удавалось полностью погружаться в сиюминутное, теперь же Король был рядом — живым напоминанием о его вероломстве. Страсть к Гвиневере не испепелила любви к Артуру, Ланселот, как и прежде, любил его. Для средневековой натуры, какою и был Ланселот, с ее фатальной склонностью влюбляться в высшее существо, едва оно явится взору, такое положение было мучительным. Заставить себя смириться с мыслью, что его чувство к Гвиневере постыдно, он не мог, ибо оно оставалось глубочайшим переживанием его жизни, однако обстоятельства словно вступили в келейный сговор, норовя придать этому чувству низменное обличье. Торопливые минуты вдвоем, запертые двери, жалкая изобретательность, виноватые уловки, к коим вынуждало любовников присутствие мужа, все это пятнало происходившее между ними — то, что не могло иметь оправданий, не будучи прекрасным. И к этому невыносимому напряжению добавлялось сознание того, что Артур добр, прост и прям, и что он, Ланселот, в любую минуту может нанести Артуру страшную рану, как бы он его ни любил. Терзала его и иная боль, связанная с самой Гвиневерой, с крохотным ростком горечи, которую они во время их первой ссоры ревности посеяли друг в друге — во всяком случае, так им казалось. Не поверив сразу его объяснениям об Элейне, она нанесла ему смертельный удар. И все же не любить ее он не мог. И наконец, Ланселота терзали взбунтовавшиеся свойства его собственной натуры — странное желание чистоты, честности, духовного совершенства. Все это вместе с бессознательной боязнью появления Элейны и сына разрушило его счастье, в то же время не

позволяя ему искать спасения в бегстве. Он теперь редко присаживался, все больше блуждая по замку, движения его стали нервными; не глядя он хватался за первое, что подворачивалось под руку, и не глядя бросал; часто подходил к окнам и смотрел в них, ничего не видя.

Для Гвиневеры страх перед появлением Элейны не был бессознательным страхом. С первой минуты она понимала, что Элейна появится непременно. Но в своих опасениях она, как и всякая женщина, видела много дальше горизонта, доступного мужским взорам. Мужчины нередко обвиняют женщин в том, что те доводят их до неверности, принимаясь мучить беспочвенной ревностью еще до того, как даже помыслы об измене посещают их разум. И тем не менее эти помыслы, вероятно, уже поселились в них, бессознательные и неуследимые ни для кого, кроме женщин. Такая великая женщина, как Анна Каренина, скажем, своей беспричинной, маниакальной ревностью подтолкнула Вронского к определенным поступкам, но эти-то поступки и оказались единственным возможным выходом из их положения, и избегнуть этого выхода было нельзя. Заглядывая в будущее гораздо дальше, чем он, Анна со всей страстью подталкивала его туда, губя настоящее, потому что в будущем их и ожидала одна лишь погибель.

Подобным же образом вела себя и Гвиневера. Возможно, непосредственная проблема, возникшая в связи с Элейной, не так уж и угнетала ее. Она знала натуру Ланселота, и его собственные намерения не вызывали у нее опасений. И тем не менее способность к предвидению позволяла ей предощутить горести и погибель, различить которые ее любовник не мог. Утверждение, что она ощущала их на рассудочном уровне, было бы неточным, однако в глубинах ее сознания они присутствовали. Как это ни печально, но язык — орудие столь неловкое, что мы не имеем права сказать о матери, будто она

«не осознает», что дитя ее плачет в соседней комнате, — в том смысле, что мать неведомо как, неосознанно знает: ребенок плачет. Знание, которым неосознанно — в этом смысле слова — владела Гвиневера, включало в себя и всю ситуацию вокруг Артура и Ланселота, и будущую дворцовую трагедию, и горестный факт собственной бездетности, так никогда и неизлеченной.

Она говорила себе, что Ланселот предал ее, что она жертва Элейниных козней, что ее любовник наверняка предаст ее снова. Она терзала себя тысячами слов подобного рода. Но в глубине души, в ненанесенных на карты областях ее сердца она ощущала иное. Быть может, она все-таки ревновала его, но не к Элейне, а к ребенку. Быть может, она на самом-то деле страшилась любви Ланселота к Артуру. А может быть, страх возбуждало в ней положение в целом, его неустойчивость и неизбежность возмездия, которым оно было чревато. Женщины знают, и много лучше мужчин, что с законами, данными Богом, не шутят. У них для такого знания куда как больше оснований.

Как ни толкуй поведение Гвиневеры, плодами его были муки ее любовника. Она стала столь же беспокойной, как он, но гораздо более безрассудной и гораздо более жестокой.

Несчастия королевского двора усугублялись чувствами, что томили Артура. Себе на беду Артур получил прекрасное воспитание. Его наставник дал ему образование, подобное тому, какое получает младенец в материнской утробе, проживая всю историю человека от рыбы до млекопитающего, — и подобно младенцу в материнской утробе, Артур, пока продолжалась учеба, пребывал под защитой любви. В результате подобного обучения он вырос почти лишенным столь нужных для жизни навыков — злобы, тщеславия, подозрительности, жестокости и наиболее распространенных форм эгоизма. Ревность представлялась ему самым низменным из пороков. Он был

прискорбнейшим образом не приспособлен для того, чтобы ненавидеть своего лучшего друга или мучить жену. Слишком много любви и доверчивости вложили в него, чтобы он мог толково справляться с такими простыми делами.

Артур не принадлежал к числу тех интересных натур, чьи тончайшие побуждения допускают дотошный разбор. Он был всего лишь простым и способным на преданность человеком, а все потому, что Мерлин верил, будто простота и уменье любить суть качества, достойные обладания.

Ныне, когда перед глазами его разворачивалась печально известная ситуация, настолько трудная для разрешения, что она получила даже особое название — «вечный треугольник», как если бы она представляла собой геометрическую проблему наподобие Евклидова «Pons Asinorum»[1], — он оказался способен лишь отступить. Вообще способными к отступлению оказываются обыкновенно люди правдивые и склонные к оптимизму. Людей, лишенных любви и доверчивости, присущий им пессимизм вынуждает бросаться в атаку. Артур же был достаточно силен и мягок, чтобы сохранить надежду на то, что если он будет доверять Ланселоту и Гвиневере, все еще может пойти на лад. Ему казалось, что такое поведение лучше попыток разом наставить их на истинный путь средствами вроде отсечения любовникам голов за измену.

Артур не знал, что Ланселот с Гвиневерой уже стали любовниками. По сути дела, ему ни разу не довелось застать их наедине друг с дружкой или обнаружить какие-либо доказательства их вины. В таких обстоятельствах отважной душе его свойственно было скорее надеяться, что ему и не доведется их застать, чем расставлять ловушки, намереваясь сразу разрубить завязавшийся узел. Мы не хотим сказать,

---

[1] Ослиный мост (*лат.*).

что Артур являл собою супруга, на все смотрящего сквозь пальцы, просто он надеялся переждать непогоду, отказываясь обращать на нее внимание. Бессознательно Артур, разумеется, со всей определенностью знал, что любовники уже возлежали друг с другом, точно так же, как знал — бессознательно — что если он спросит об этом жену, она отпираться не станет. Тремя величайшими ее достоинствами были отвага, благородство и честность. А потому спросить ее он не мог.

При таком отношении к сложившейся ситуации, Королю затруднительно было чувствовать себя счастливым. Он не стал возбудимым подобно Гвиневере, или беспокойным — подобно Ланселоту, но осторожным. По собственному дворцу он перемещался опасливо, словно мышь. И все же одну попытку сунуть руку в осиное гнездо он сделал.

— Ланселот, — сказал Король, как-то под вечер обнаружив его в розовом саду, — что-то у тебя вид в последнее время несчастный. Тебя что-нибудь угнетает?

Ланселот сорвал розу и начал обрывать лепестки. Те древние розы, как установили недавно, действительно имели такое строение, что пятерка нижних, образующих чашечку, лепестков срасталась, как мы это видим у геральдических роз.

— Это не из-за той девицы, — спросил Король, надеясь неизвестно на что, — которая, как говорят, родила тебе ребенка?

Если бы Артур остановился на первом вопросе и замолчал, ожидая ответа, быть может, они и смогли бы все обговорить. Но Артур боялся того, чем могло разрешиться молчание, а после второго вопроса возможность оказалась упущенной.

— Да, — сказал Ланселот.

— Я так понимаю, что ты не можешь заставить себя жениться на ней?

— Я ее не люблю.

— Ну, смотри, дело твое.

Ланселот, охваченный неуправляемым желанием излить душу в рассказе о своих несчастьях и все же лишенный возможности открыть всю правду именно этому слушателю, пустился в невразумительные объяснения касательно Элейны. Он начал рассказывать Артуру полуправду: как он был опозорен и как лишился своих чудес. Но главным действующим лицом исповеди ему поневоле пришлось сделать Элейну, и через полчаса Артур получил историю, в которую можно было поверить, которой Артур мог удовлетвориться, если ему не хотелось знать полную правду. Эта полуправда оказалась для бедного Ланселота весьма полезной, и в последующие годы он научился подменять ею историю своих подлинных бед. Мы, люди цивилизованные, в подобных обстоятельствах опрометью бегущие в суд за разводом, требуя алиментов и прочих кар, можем позволить себе с должным презрением взирать на бесхарактерного рогоносца. Но Артур был всего лишь средневековым дикарем. Наша цивилизованность показалась бы ему непонятной, он не знал ничего лучше, чем попытаться превозмочь унижение ревности благородством.

Следующим, кто нашел Ланселота в розовом саду, была Гвиневера. Она явилась туда воплощением благодушия и рассудительности.

— Ланс, ты слышал новость? Только что прискакал вестовой и сообщил, что девица, которая преследует тебя, на пути ко двору, а с ней и младенец. Она прибудет сюда нынче вечером.

— Я знал, что она объявится.

— Нам, разумеется, следует сделать для нее все, что мы сможем. Бедная малышка, она, я думаю, в отчаянии.

— Если она и в отчаянии, моей вины в том нет.

— Нет, конечно же, нет. Просто жизнь порой приносит людям несчастья, и надо им помогать, когда это нам под силу.

— Дженни, как хорошо, что ты с такой добротой говоришь об этом.

Он повернулся к ней и сделал движение, желая поймать ее руку. Ее слова пробудили в нем надежду, что все образуется. Но Дженни руку отдернула.

— Нет, дорогой, — сказала она. — Я не хочу, чтобы мы любили друг друга, пока она не уедет. Я хочу, чтобы ты был совершенно свободен.

— Свободен?

— Она мать твоего ребенка, она не замужем. Мы ведь все равно пожениться не сможем. Я хочу, чтобы у тебя была возможность взять ее в жены, если ты пожелаешь, потому что это единственное, что для нее можно сделать.

— Но Дженни...

— Нет, Ланс. Нужно быть разумными. Я хочу, чтобы ты избегал меня, пока она здесь, и чтобы ты выяснил, не можешь ли ты все-таки ее полюбить. Это то немногое, что я могу для вас сделать.

17

Элейна появилась из ворот барбакана, и Гвиневера холодно поцеловала ее.

— Добро пожаловать в Камелот, — сказала она. — Пять тысяч раз добро пожаловать.

— Благодарю вас, — сказала Элейна.

Они оглядели одна другую с улыбками на враждебных лицах.

— Ланселот будет счастлив увидеть вас.

— О!

— Про ребенка все уже знают, дорогая. Вам нечего смущаться. Королю и мне не терпится узнать, похож ли он на отца.

— Как вы добры, — неуверенно сказала Элейна.

— Вы должны позволить мне первой увидеть его. Вы назвали его Галахадом, не правда ли? Он сильный? Он уже обращает внимание на окружающих?

— Он весит пятнадцать фунтов, — с гордостью сообщила Элейна. — Вы можете увидеть его прямо сейчас, если хотите.

Гвиневера с едва заметным усилием сдержалась и принялась заботливо разворачивать пледы, укутывавшие Элейну.

— Нет, милочка, — сказала она. — Я могу и потерпеть. Вам нужно отдохнуть после долгой дороги, да, видимо, и ребенка следует устроить. Я могу заглянуть к вам под вечер, когда дитя уснет. Времени у нас предостаточно.

Но в конце концов ей все же пришлось его повидать.

Когда Ланселот в следующий раз увидел Королеву, и благодушия ее, и рассудительности как не бывало. Она казалась холодной, высокомерной и го-

ворила так, словно выступала перед большим скоплением народа.

— Ланселот, — сказала она, — я думаю, тебе следует отправиться к сыну. Элейна места себе не находит из-за того, что ты не пришел его повидать.

— А ты его видела?

— Да.

— Он некрасив?

— Он удался в Элейну.

— Слава Богу. Я пойду прямо сейчас.

Королева окликнула его, заставив вернуться.

— Ланселот, — сказала она, начиная дышать через нос. — Я полагаюсь на тебя и надеюсь, что ты не станешь любиться с Элейной под моей крышей. Раз уж мы с тобой решили не прикасаться друг к другу, пока все не устроится, будет только честно, если и к ней ты не прикоснешься.

— Я не собираюсь любиться с Элейной.

— Разумеется, ничего иного ты сказать и не можешь. И я готова поверить тебе. Но если ты не сдержишь слова и на этот раз, между нами все будет кончено. Навсегда.

— Я сказал все, что мог сказать.

— Ланселот, ты уже обманул меня однажды, как же я могу быть уверенной в тебе? Я поместила Элейну в покоях рядом с моими, и если ты войдешь к ней, я об этом узнаю. Тебя же я попрошу не покидать своей комнаты.

— Как тебе будет угодно.

— Сегодня ночью я пришлю за тобой, если смогу отделаться от Артура. Когда именно, я пока не скажу. Если твои покои окажутся пустыми, я буду знать, что ты у Элейны.

Пока дама Бризена готовила для малыша колыбельку, Элейна рыдала в спальне.

— Я же видела его на стрельбище, и он меня тоже видел. Но он отвернулся. Придумал какой-то

предлог и ушел. Он не захотел даже взглянуть на наше дитя.

— Ну, успокойся, успокойся, — утешала ее дама Бризена. — Бог милостив.

— Не надо мне было приезжать. И мне от этого одни только лишние несчастья, и ему тоже.

— Это все Королева.

— А какая она красивая, правда?

Дама высказалась несколько туманно:

— Всяк человек делами красен.

Элейна вновь беспомощно зарыдала. Вид у нее, у красноносой, был преотвратный. Так вот и выглядят люди, когда решаются махнуть рукой на собственное достоинство.

— Я так хотела его обрадовать.

В дверь постучали, вошел Ланселот, и Элейна торопливо вытерла глаза. Они скованно поздоровались.

— Я рад, что вы приехали в Камелот, — сказал он. — Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?

— Да, благодарю вас.

— А как... ребенок?

— Сын вашей милости, — подчеркнуто произнесла дама Бризена.

Она развернула колыбель и отступила, чтобы ему все было видно.

— Мой сын.

Они стояли, глядя сверху вниз на новоявленное существо, беспомощное и по сути дела лишь наполовину живое. Они, говоря словами поэта, были сильны, он слаб, — настанет день, они ослабеют, он станет силен.

— Галахад, — сказала Элейна и склонилась над свивальниками, глупо жестикулируя и издавая бессмысленные звуки, к которым охотно прибегают матери, когда их малютки начинают выказывать к ним интерес. Галахад сжал кулачок и шлепнул себя в глаз, — достижение, судя по всему, изрядно утешившее обеих женщин. Ланселот наблюдал за ним с изумлением. «Мой сын, — думал он. — Он часть ме-

ня, а все же красивый. На урода вроде бы не похож. Хотя по такому младенцу разве скажешь?» Он протянул палец, вложил его в младенческую ладошку, и младенец вцепился в него. С виду казалось, что пухлый кулачок приделан к руке неким хитроумным кукольным мастером. Вокруг запястья шла глубокая складочка.

— О, Ланселот! — вскричала Элейна.

Она попыталась упасть в его объятия, но он ее оттолкнул. Через плечо он с отчаянием и страхом взглянул на Бризену и, издав какой-то дикий, невразумительный звук, выбежал вон. Лишенная опоры Элейна опустилась на пол у колыбельки и разрыдалась пуще прежнего. Бризена, распрямившаяся, чтобы встретить враждебный взгляд сэра Ланселота, стояла, с непроницаемым выражением глядя на дверь.

18

Наутро его и Элейну призвали в спальный покой Королевы. Что до Ланселота, то он направлялся туда, испытывая даже какое-то подобие счастья. Он помнил, как Гвиневера прошлой ночью притворилась больной, чтобы покинуть покой Короля. В темноте она послала за любовником. Привычная потворствующая ладонь, обхватив его палец, провела его, шествующего на цыпочках, к желанному ложу. В молчании, к которому вынуждала их близость Артуровой спальни, но и в пылкой нежности тоже, они сделали все, чтобы помириться. И сегодня Ланселот был счастливее, чем когда бы то ни было с начала всей этой истории с Элейной. Он поверил, что если ему удастся уговорить Гвиневеру по-доброму расстаться с Королем, так, чтобы они смогли жить открыто, то для него еще сохранится возможность спасти свою честь.

Он увидел Гвиневеру, напряженную, будто окоченевшую, — в лице ее не было ни кровинки, лишь два красных пятна выделялись вблизи ноздрей. Вид она имела такой, словно ее укачало. Она была одна.

— Итак, — сказала Королева.

Элейна взглянула прямо в ее синие глаза, Ланселот же покачнулся, словно подстреленный.

— Итак.

Они стояли, ожидая дальнейших слов Королевы.

— Куда ты отправился прошлой ночью?

— Я...

— Можешь мне не рассказывать, — закричала Королева, взмахнув рукой, так что они увидели в ладони скомканный, изодранный в клочья носовой платок. — Предатель! Предатель! Убирайся вон из моего замка вместе с твоей потаскушкой!

— Прошлой ночью... — сказал Ланселот. Голова его кружилась от отчаяния, но ни одна из женщин этого не замечала.

— Не говори мне ничего. Не лги. Уходи.

Элейна спокойно сказала:

— Прошлой ночью сэр Ланселот был у меня в покоях. Моя служанка Бризена привела его в темноте.

Королева замахала рукой в сторону двери. Она тыкала в нее пальцем и тряслась так, что волосы выбились из прически и упали ей на лицо. Выглядела она ужасно.

— Вон! Вон! И ты тоже, животное! Как смеете вы произносить подобное в моем замке? Как вы смеете признаваться в этом передо мной? Забирай своего полюбовника и уходи!

Ланселот тяжело дышал, не сводя с Королевы глаз. Возможно, он уже не сознавал окружающего.

— Он считал, что идет к вам, — сказала Элейна. Она стояла, сложив руки, и бесстрастно смотрела Королеве прямо в лицо.

— Старая ложь!

— Это не ложь, — сказала Элейна. — Я не могла больше жить без него. Бризена помогла мне сыграть вашу роль.

Неверной походкой Гвиневера засеменила к Элейне. Она хотела ударить ее по губам, но та не отпрянула. Похоже, Элейна даже надеялась, что Королева ударит ее.

— Лгунья! — взвизгнула Королева.

Подбежав к Ланселоту, опустившемуся на сундук и сидевшему, тупо глядя в пол и сжимая руками голову, она вцепилась в край его одеяния и начала тянуть и подталкивать его в сторону двери, но он и не двинулся.

— Так ты и ее выучил этой басне! Что же ты новую не придумал? Мог бы рассказать мне что-нибудь поинтересней. Ты, видно, решил, что сойдет и это затасканное вранье?

— Дженни... — сказал он, не поднимая глаз.

Королева попыталась плюнуть в него, но не попала из-за отсутствия практики.

— Как смеешь ты называть меня Дженни? От тебя еще воняет этой распутницей! Я Королева, Королева Англии, а не твоя девка!

— Дженни...

— Вон из моего замка! — изо всей своей мочи завизжала Королева. — И чтобы я твоей образины здесь больше не видела. Твоей порочной, уродливой, мерзкой образины!

Ланселот вдруг громким голосом произнес прямо в пол:

— Галахад!

Затем он отнял руки от головы и поднял взгляд, и обе они увидели лицо, о котором она только что говорила. На лице застыло удивленное выражение, один глаз начал косить.

Он произнес чуть тише:

— Дженни.

Но вид у него был, как у слепого.

Королева открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла издать ни единого звука.

— Артур, — сказал Ланселот.

И сразу за этим он пронзительно завопил и выскочил прямо в окно, бывшее на втором этаже. Женщины услышали, как он вломился в какие-то заросли, затрещали и хряснули сучья, и Ланселот, ломая кусты, побежал между деревьями с громким заливистым криком, словно гончая, взявшая след. Скоро крики смолкли вдали, и в спальном покое повисла тишина.

Элейна, теперь такая же белая, как и Королева, но стоявшая по-прежнему гордо и прямо, сказала:

— Вы довели его до безумия. Должно быть, рассудок его ослаб.

Гвиневера ничего не сказала.

— Зачем вы довели его до безумия? — спросила Элейна. — У вас есть супруг, замечательный, самый

великий среди людей этой земли. Вы Королева, у вас есть все — честь, счастье, дом. А у меня — ни супруга, ни дома, да и чести я тоже лишилась. Почему вы не отдали его мне?

Королева молчала.

— Я любила его, — продолжала Элейна. — Я родила от него чудесного сына, который еще будет первым среди рыцарей мира.

— Элейна, — сказала Гвиневера, — покиньте мой двор.

— Разумеется.

Гвиневера внезапно схватила ее за подол.

— Не говорите никому, — торопливо сказала она. — Ни слова о том, что случилось. Если вы скажете, он погибнет.

Элейна высвободила юбку.

— А вы полагали, что я скажу?

— Но как же нам быть? — воскликнула Королева. — Неужели он обезумел? Может быть, он еще отойдет? Что теперь будет? Может быть, нужно что-то сделать? И что сказать людям?

Элейна не стала задерживаться для дальнейших объяснений. Однако у двери она обернулась, губы ее дрожали.

— Конечно, он обезумел, — сказала она. — Вы завладели им, и вы его погубили. Что еще вы с ним сделаете?

Когда дверь затворилась, Гвиневера опустилась на пол. Она уронила истерзанный платок и заплакала — медленно, просто и искренне. Спрятав лицо в ладони, она содрогалась от горя. (Сэр Борс сказал ей однажды: «Тьфу на ваш плач, ибо плачете вы лишь тогда, когда ничего уже не поправишь».)

19

Два года спустя Король Пеллес сидел в башенном покое вместе с сэром Блиантом. Утро было морозное, ясное, безветренное, и на замерзших полях лежала дымка, столь легкая, что в ней и голубь бы не заблудился. Сэр Блиант, ночевавший в замке, щеголял в алом плаще с белой меховой опушкой. Во дворе сэра Блианта ожидали оруженосец и конь, готовые дсставить его обратно в Замок Блиант, но хозяин и гость решили позавтракать перед тем, как ему отправиться. Сидя у камина, в котором щедро горело цельное бревно, и согревая перед огнем руки, они потягивали глинтвейн, заедали его печеньем и беседовали о Диком Человеке.

— Я совершенно уверен, что прежде он был джентльменом, — говорил сэр Блиант. — Я видел, как он совершал такие дела, на какие никто, кроме джентльмена, не способен. Да и владение оружием было у него прирожденное.

— А где он теперь? — спросил Король Пеллес.

— Бог его знает. Как-то утром, когда в Замке Блиант собралась охота, он сгинул. Но в том, что он был джентльменом, я уверен.

Глядя на пламя, они еще отхлебнули вина.

— Если желаете знать мое мнение, — понизив голос, прибавил сэр Блиант, — то, по-моему, это был сэр Ланселот.

— Невозможно, — сказал Король.

— Он был высок и могуч.

— Сэр Ланселот погиб, — сказал Король, — Бог да смилуется над ним. Это ведомо всякому.

— Но это ведь не доказано.

— Если бы он был сэром Ланселотом, вы бы его

ни с кем не спутали. Более некрасивого человека я в жизни не видел.

— Я с ним никогда не встречался, — сказал сэр Блиант.

— Доказано, что сэр Ланселот, лишившись разума, бегал в одних штанах и рубашке, пока его не изодрал дикий вепрь, а затем он скончался в отшельнической обители.

— И когда это случилось?

— Под прошлое Рождество.

— Примерно в это же время и мой Дикий Человек убежал вслед за охотой. И охотились мы тоже на вепря.

— Ну что же, — сказал Король Пеллес, — вполне возможно, что мы говорим об одном и том же человеке. Если так, это интересно. А откуда он взялся, этот ваш малый?

— Дело было в прошлом году во время летних поисков приключений. Я, как обычно, отыскал луг покрасивей, разбил шатер и сижу себе внутри, ожидаю, пока что-нибудь подвернется. Как сейчас помню — сижу, играю в шахматы. Вдруг слышу, снаружи кто-то вопит, выхожу, а там какой-то голый человек лупит по моему щиту. А карлик мой сидит на земле и потирает шею — этот маньяк ее едва не сломал, карлик-то, оказывается, и звал на помощь. Я подхожу к этому парню и говорю: «Послушай, добрый человек, ты же не хочешь драться со мной? Давай-ка, брось этот меч и будь умницей». Он, понимаете ли, схватил один из моих мечей, сразу видно было, что он не в себе. Я и говорю: «Не надо тебе драться со мной, старина. Ибо я вижу, что ты нуждаешься в добром сне и хорошей еде». И правда, вид у него был жуткий. Как у человека, отстоявшего три всенощные подряд. Глаза были совершенно красные.

— А он что?

Он просто сказал: «Что до этого, то лучше ты ко мне не приближайся, ибо знай, что иначе я тебя зарублю».

— Странно.

— То-то и дело, что странно. Я имею в виду — странно, что он знал высокий язык.

— И что он сделал потом?

— Ну, на мне только и было одежды, что плащ, а человек этот выглядел опасным. Я вернулся в шатер и надел доспехи.

Король Пеллес подал гостю еще печенья, которое сэр Блиант принял, благодарно кивнув.

— Как только я облачился в доспехи, — продолжал он с набитым ртом, — я взял запасной меч и вышел наружу, чтобы разоружить этого малого. Не то чтобы мне хотелось его ударить или еще что-нибудь подобное сделать, но, поскольку он явно был опасным маньяком, других способов отнять у него меч я не видел. Я стал подходить к нему вроде как к собаке, протянув руку и повторяя: «Ах ты, бедняга. Ну, иди сюда, вот умница». Я полагал, что легко с ним справлюсь.

— И как, справились?

— Стоило ему увидеть меня при мече и доспехах, как он бросился на меня, будто тигр. Я отродясь такой атаки не видел. Я попытался парировать удар и должен сказать, что убил бы его из одной только самозащиты, если бы он предоставил мне такую возможность. Однако следующее, что я могу припомнить, это как я сижу на земле, а из носа и из ушей у меня льется кровь. Он нанес мне такой удар, что у меня в мозгу помутилось.

— Господи, — сказал Король Пеллес.

— Он же отшвырнул меч и помчался в шатер. Там была моя бедняжка-жена, лежала в постели безо всякой одежды. Так он запрыгнул на ложе, содрал с нее покрывало, завернулся в него и заснул мертвым сном.

— Должно быть, женатый был человек, — заметил Король Пеллес.

— Жена с перепугу завизжала, выскочила из постели, накинула сорочку и побежала ко мне. А я как

упал на землю, оглушенный, так и лежу, — она и решила, что я убит. Ну, сами понимаете, шум вышел немалый.

— А он, значит, так все время и спал.

— Спал, как бревно. В конце концов мы кое-как пришли в себя, жена приложила мне к затылку одну из моих латных рукавиц, чтобы унять кровь, которая так и текла из носа, и мы с ней обсудили, что делать дальше. Мой карлик — отличный, кстати сказать, малый — присоветовал нам не причинять ему зла, потому что на него пала десница Божия. Собственно говоря, карлик-то и предположил, что это может быть сэр Ланселот. В тот год много ходило разговоров о загадке сэра Ланселота.

Сэр Блиант прервал свой рассказ, чтобы откусить еще печенья.

— Кончилось тем, что мы свезли его прямо вместе с ложем в конной повозке в Замок Блиант. Он даже не пошевелился. Ну а как привезли, связали по рукам и ногам, пока он еще не проснулся. Теперь-то я сожалею об этом, но тогда нам рисковать не хотелось, а риск, по всему, что мы знали, был, и немалый. Мы его держали в удобном покое, одевали во все чистое, жена кормила его добрыми яствами, дабы подкрепить его силы, но все же нам казалось, что пока он в цепях, оно как-то надежнее. Полтора года он у нас прожил.

— А как же он убежал-то?

— Я как раз к этому и подбираюсь. Это самая соль истории. Как-то раз я после обеда отправился в лес, думал с полчасика поохотиться, а там на меня вдруг напали сзади двое рыцарей.

— Двое рыцарей? — спросил Король. — Сзади?

— Да. Именно двое и именно сзади. Это были сэр Брюс Безжалостный и какой-то его дружок.

Король Пеллес с размаху хлопнул себя по колену.

— Этот человек, — воскликнул он, — сущая угроза для общества. Не могу понять, почему его до сих пор никто не прикончил.

— Все горе в том, что его изловить невозможно. Однако я вам рассказывал про Дикого Человека. Сэр Брюс и этот, второй, как вы понимаете, застали меня совершенно врасплох, и должен с сожаленьем признать, что мне пришлось обратиться в бегство.

Сэр Блиант примолк и уставился в огонь. Впрочем, он вскоре взбодрился.

— Ну, ладно, — сказал он, — не всем же быть героями, верно?

— Не всем, — согласился Король Пеллес.

— Я был жестоко изранен, — сказал сэр Блиант, найдя удачную формулу, — и чувствовал, что силы мне изменяют.

— Разумеется.

— Эти двое до самого замка скакали по бокам от меня и наносили мне удар за ударом. Я и по сей день не понимаю, как я жив-то остался.

— Это все записано в Камнях, — сказал Король.

— Мы сломя голову проскакали мимо бойниц барбакана, и, видимо, сквозь них Дикий Человек нас и заметил. Он у нас, понимаете ли, сидел в барбакане, наверху. Так или иначе, он нас увидел и, как потом оказалось, голыми руками разорвал оковы. Оковы, между прочим, были железные, на руках и ногах. Он при этом жестоко поранился. Затем он выбежал через задние ворота, — руки в крови, цепи так и летают вокруг, — стянул с седла напарника сэра Брюса, отнял у него меч и так саданул сэра Брюса по голове, что тот ничком повалился с коня. Второй рыцарь попытался заколоть Дикого Человека сзади, он же был совсем без доспехов, да только я в последний миг рубанул этого малого по запястью. Ну, тут они оба поймали своих коней и поскакали, что было мочи. Это был уже даже и не карьер, можете мне поверить.

— В этом весь сэр Брюс.

— В тот год у меня жил мой брат. Я и говорю ему: «Зачем же мы держали такого славного парня в цепях?» Мне стало стыдно, когда я увидел его

израненные руки. «Он учтив, — говорю, — и благороден, а теперь вот и жизнь мою спас. Нам никогда больше не следует надевать на него цепи, но до́лжно предоставить ему свободу и сделать для него все, что мы сможем.» И знаете, Пеллес, мне этот Дикий Человек полюбился. Он был ласков, полон благодарности и все называл меня Господином. Страшно подумать, что это мог быть великий Дюлак, а мы держали его закованным и позволяли ему с таким смирением величать меня Господином.

— Так что же с ним в конце концов стало?

— Он тихо прожил с нами несколько месяцев. Ну а потом в замке объявились охотники на вепря, и один из загонщиков оставил коня и пику у дерева. Дикий Человек схватил их и ускака́л. Понимаете, получалось вроде бы, что разного рода джентльменские принадлежности возбуждали его — словно при виде доспехов, сражения или охоты что-то такое начинало ворочаться в его бедной голове и его обуревало желание присоединиться к нам.

— Бедный мальчик, — сказал Король. — Бедный, бедный мальчик! Очень возможно, что это и был сэр Ланселот. Известно, что под прошлое Рождество его растерзал дикий вепрь.

— Мне бы хотелось узнать, как это случилось.

— Если этот ваш человек действительно был Ланселотом, то он поскакал прямиком за вепрем, на которого вы охотились. Вепрь был знаменитый, погубивший за много лет немало собак, потому и охота была не пешая. Они с Ланселотом сошлись один на один, вепрь распорол лошади брюхо, и прежде чем Ланселот отсек ему голову, разодрал тому бедро до самой кости. Ланселот убил его поблизости от обители отшельника, одним ударом. Отшельник вышел наружу, но Ланселот столь разъярился от раны и от всего остального, что швырнул в отшельника мечом. Я это слышал от рыцаря, который при всем присутствовал. По его словам, сомневаться, что это был сэр Ланселот, не приходилось — он был уродлив лицом

и вообще очень похож; этот рыцарь сам, вместе с отшельником, перенес раненого в обитель, после того как он впал в беспамятство. Рыцарь сказал, что от такой раны никому еще не удавалось оправиться, да, собственно, он и видел, как тот человек умер. А пуще всего рыцаря уверило, что Дикий Человек был когда-то великим рыцарем, слово, с каким тот обратился к отшельнику, пока еще стоял в смертельной муке над вепрем: он назвал отшельника «приятель». Так что, как видите, под конец разум его хоть отчасти да прояснился.

— Несчастный Ланселот.

— Упокой Господи его душу.

— Аминь.

— Аминь, — повторил сэр Блиант, глядя в огонь. Затем он встал и повел плечами.

— Надо бы ехать, — сказал он. — А как ваша дочь? Все забываю спросить.

Король Пеллес вздохнул и тоже поднялся.

— Проводит время в монастыре, — сказал он. — По-моему, она намеревается через год принять постриг. Впрочем, нам удастся повидать ее в следующее воскресенье, она ненадолго приедет домой.

20

После отъезда сэра Блианта Король Пеллес поднялся наверх, намереваясь заняться кое-какой библейской генеалогией. История с Ланселотом интересовала его и ставила в тупик еще и потому, что имела прямое отношение к его внуку Галахаду. Всех нас порой доводят до грани безумия наши возлюбленные и жены, но Король Пеллес уверенно полагал, что в человеческой природе присутствует некий основательный стержень, который, как правило, не позволяет переступить эту грань. Он считал, что Ланселот совершил эксцентричный — и это еще мягко сказано — поступок, расставшись с разумом из-за размолвки с возлюбленной, и намеревался выяснить, покопавшись в генеалогии Бана, не было ли в семье иных проявлений безумия, на счет которых можно отнести такое поведение Ланселота. Если они там были, безумие могло передаться и Галахаду. Чего доброго, придется еще отправлять мальчишку в Вифлеемскую больницу (ту, что позже стала называться Бедламом). Как будто ему, Пеллесу, и без того забот не хватает.

— Отцом Бана, — говорил сам себе Король Пеллес, протирая очки и сдувая пыль с многочисленных трудов по геральдике, генеалогии, некромантии и мистической математике, — был Король Ланселот из Бенвика, повенчанный с дочерью Короля Ирландии. В свою очередь, отцом Короля Ланселота был Иона, взявший в жены дочь Мануеллия Галльского. Так, а отец Ионы, он кто такой?

Если как следует вдуматься, в разуме Ланселота вполне могло иметься слабое звено. Весьма вероятно, что в самых глубинах его сознания некая темная тайна и крылась — мы отмечали это еще лет десять

назад, наблюдая за мальчиком, который, стоя посреди Оружейной Бенвикского Замка, вертел в руках шлем.

— Насьен, — сказал Король Пеллес. — Черт бы его подрал этого Насьена. Похоже, их было двое.

Он добрался уже, миновав Лисайю, Хеллиаса Дородного, Насьена Отшельника — от которого Ланселот, вероятно, унаследовал склонность к визионерству — и Наппуса, до второго Насьена, каковой, если он вообще существовал, совершенно уничтожал теорию Короля касательно происхождения Ланселота в восьмом колене от Господа Нашего. Вообще-то говоря, очень похоже на то, что в те давние времена едва ли не каждого отшельника звали Насьеном.

— Черт бы его подрал, — повторил Король и выглянул в окно, желая узнать, что там за шум на улице, ведущей к замку.

По улице деревушки Корбин, преследуемый теми же жителями, что вышли когда-то приветствовать Ланселота, бежал Дикий Человек — не многовато ли их для одного утра? Человек был наг, тощ, словно призрак, и на бегу прикрывал голову руками, пытаясь ее оберечь. Рядом с ним бежали мальчишки и швыряли в него комьями земли. Время от времени он останавливался, ловил одного из них и перекидывал через изгородь. Но это лишь заставляло мальчишек заменять комья каменьями. Король Пеллес ясно видел кровь, стекавшую по его высоким скулам, его ввалившиеся щеки, впалые глаза и синеватые тени меж ребер. Он видел и то, что человек этот направляется к замку.

В замковом дворе, куда, торопливо прихрамывая, спустился Король Пеллес, вокруг Дикого Человека собралась уже целая толпа замковой челяди, с восторгом его созерцавшей. Чтобы отвязаться от деревенских мальчишек, пришлось опустить на воротах решетку, обитатели же замка были расположены отнестись к беглецу по-доброму.

— Видите, как он весь изранен, — говорил один из оруженосцев. — Вон хоть на тот здоровенный

шрам посмотрите. Не иначе, как был он странствующим рыцарем, покуда не помешался, так что вы с ним повежливее.

Дикий Человек стоял в окружении челяди, дамы хихикали, пажи тыкали пальцами. Он стоял неподвижно, свесив голову, не говоря ни слова, ожидая, что с ним еще сделают.

— А может, это сэр Ланселот?

В ответ послышался общий хохот.

— Нет, серьезно. Никто же не доказал, что Ланселот помер.

Король Пеллес приблизился к Дикому Человеку вплотную и заглянул ему в лицо. Для этого ему пришлось зайти сбоку.

— Вы сэр Ланселот? — спросил он.

Изможденное, грязное, бородатое лицо: глаза, похоже, вообще не мигают.

— Вы Ланселот? — повторил Король.

Но манекен не дал ответа.

— Он глухонемой, — сказал Король. — Пусть живет у нас в шутах. Вид у него, должен сказать, достаточно смешной. Кто-нибудь, принесите ему одежды, — ну, те, знаете, комические, — и отправьте его на голубятню, пусть отоспится. Да постелите там чистой соломы.

Манекен внезапно поднял обе руки и испустил рев, заставивший всех отшатнуться. Король даже очки уронил. Затем руки опали, манекен вновь застыл, окружающие нервно захихикали.

— Все же вы его лучше заприте, — мудро распорядился Король. — Безопасность прежде всего. Да не давайте ему еду в руки, а кидайте издали. Осторожность никогда не повредит.

И сэра Ланселота, ставшего королевским дурнем, свели на голубятню — и заперли, и кормили, швыряя издали пищу, и спал он на чистой соломе.

Когда в следующее воскресенье племянник Короля, юноша по имени Кастор, приехал, чтобы принять посвящение в рыцари, — это и была та церемония,

ради которой собирал:.сь приехать домой Элейна, — в замке воцарилось веселье. Король, страстный любитель всякого рода церемоний, отпраздновал событие с королевским размахом, подарив всякому обитателю владения по мантии. С прискорбием следует отметить, что он отпраздновал его и чрезмерно усердным опустошением тех самых винных погребов, коими правил супруг дамы Бризены.

— Вселиться всем! — восклицал Король.

— Пьем здоровье! — отвечал сэр Кастор, ведший себя отменнейшим образом.

— Мантии все плучили? — орал Король.

— Да, спасибо, Ваше Величество, — отзывалась свита.

— Точно?

— Совершенно точно, Ваше Величество.

— Тада лада. Мантии добрые, даром что старье!

И Король любовно завернулся в собственную мантию. В подобных случаях он изменялся до неузнаваемости.

— Всем хочется от души поблагодарить Ваше Величество за столь щедрые подарки.

— И говорить не о чем.

— Трижды ура Королю Пеллесу.

— Ура, ура, ура!

— А нащёт драка? — вдруг осведомился Король. — Дураку мантию выдоили? Где бедный дурак?

Ответом ему было молчание, ибо никому не пришло в голову отложить мантию и для сэра Ланселота.

— Не плучил? Мантию-шмантию? — вскричал Король. — Ападать его сюда сей же минут!

По королевскому приказу сэра Ланселота привели с голубятни. Он стоял, освещенный факелами, жалостная фигура с соломой в бороде и в шутовском наряде.

— Бедный дурень, — печально сказал Король. — Бедный. На, бери мою.

И невзирая ни на какие увещевания и советы, Король с трудом выпутался из своего драгоценного одеяния и набросил его Ланселоту на голову.

— Пусть гуляет, — кричал Король. — Отдых-поддых ему. Нмогудержатьчловекаденьночьподзабором.

Сэр Ланселот, в роскошном одеянии стоявший навытяжку посреди Главного Зала, выглядел на редкость величественно. Если бы ему еще подстричь бороду (наше чисто выбритое поколение призабыло, как изменяла внешность человека подстриженная борода), да если бы он не оголодал до скелетообразия в келье отшельника после охоты на вепря, да если бы не слухи о его кончине, — но и при всем при том подобие благоговейного молчания опустилось на зал. Впрочем, Король ничего не заметил. Мерно шагая, сэр Ланселот отправился назад в голубятню, и королевские карлы выстроились в два ряда вдоль его пути.

21

Элейна, по своему обыкновению, никакой утонченности не выказала. В схожих обстоятельствах Гвиневера наверняка обзавелась бы интересной бледностью — Элейна же обзавелась только лишним весом. В белом одеяньи послушницы она прогуливалась с компаньонками по замковому саду, и походка ее была тяжеловата. Галахад, уже трехлетний, прогуливался рядом, держась за ее руку.

Элейна собиралась принять постриг не потому, что отчаялась. Она не имела намерений провести остаток жизни, изображая кинематографическую монашку. За два года женщина способна забыть сколь угодно большую любовь или, во всяком случае, аккуратно уложить ее в самую глубь сознания, свыкнуться с ней и вспоминать о ней ничуть не чаще, чем вспоминает деловой человек об упущенной по невезенью возможности вложить деньги в предприятие, которое принесло бы ему миллионные барыши.

Элейна намеревалась оставить сына и стать невестой Христовой потому, что не видела, чем еще она могла бы заняться. Шаг этот был вовсе не драматическим, да, возможно, и не вполне благочестивым, но Элейна знала, что ей никогда уже не полюбить человека так, как любила она своего ныне мертвого рыцаря. Плыть против течения она более не могла.

Она не оплакивала Ланселота, не орошала слезами подушку. Она почти и не вспоминала о нем. Ланселот обосновался в некоем закоулке ее души, подобно морскому моллюску, постепенно вгрызающемуся в скалу. Пока он отвоевывал себе место, Элейну терза-

ла боль. Теперь же моллюск надежно прилепился к скале, пообжился и больше скалу не крошил. Прогуливаясь с девицами по саду, Элейна размышляла лишь о церемонии посвящения сэра Кастора, о том, довольно ли напекли пирогов для пира, да еще о чулках Галахада, нуждавшихся в штопке.

Одна из девиц, игравшая, чтобы согреться, с мячом, — это была все та же игра, которой тешилась Навсикая перед самым появлением Улисса, — вдруг выскочила из кустов, что росли у источника, и подбежала к Элейне. К источнику ее увлек мяч.

— Там мужчина, — зашептала она с таким выражением, словно там был не мужчина, а гремучая змея. — Мужчина спит у источника.

Элейна заинтересовалась — не мужчиной и не девичьим испугом, просто человек, спящий в январе под открытым небом, это как-никак редкость.

— А ну-ка потише, — сказала она. — Пойдемте, посмотрим.

Полная послушница в белых одеждах, на цыпочках приближавшаяся к Ланселоту, простоватая женщина с круглым лицом, упрямо не желавшим являть благородные признаки горя, молодая матрона, думавшая о чулках Галахада, — она не осознавала ни своей уязвимости, ни желаний. Она склонилась над Ланселотом невинно и мирно, погруженная в совершенно иные заботы, подобно бездумному кролику, скачущему, пощипывая траву, по проторенной дорожке. И внезапно капкан захлопнулся.

Двух ударов сердца хватило Элейне, чтобы узнать Ланселота. С первым оно поднялось, как на волне, и замерло в высшей точке подъема. Второй сорвал его с гребня волны, переняв у нее накопленную стремительность, и сердце ринулось вниз, словно конь, вздыбившийся и падающий навзничь.

В рыцарской мантии, раскинувшись, лежал у источника Ланселот. Замечание сэра Блианта о том,

что джентльменские принадлежности что-то такое страгивали в его голове, оказалось справедливым. Растревоженный полученной мантией и какими-то смутными воспоминаниями о подобном же цвете и белом мехе опушки, Дикий Человек прямо от королевского стола отправился к источнику. Здесь, в темноте, в одиночестве, без зеркала, он умылся. Костлявыми кулаками прочистил глазные впадины. Ножницами и скребницей, взятыми на конюшне, попытался привести в порядок волосы.

Элейна отослала женщин. Она вложила ладошку Галахада в ладонь одной из них, и Галахад ушел с ними, не протестуя. Ребенком он был загадочным.

Элейна же присела близ Ланселота и всмотрелась в него. Она не прикасалась к нему, не плакала. Она потянулась было погладить его по отощавшей руке, но так и не решилась на это. Долгое время она просто сидела на корточках и наконец все же расплакалась. Но плакала она от жалости к Ланселоту, к его усталым глазам, таким спокойным во сне, к белым шрамам у него на руках.

— Отец, — сказала Элейна, — если теперь вы мне не поможете, то уже не поможет никто и никогда.

— Что такое, дорогая моя? — спросил Король. — У меня голова трещит.

Но Элейну это не тронуло.

— Отец, я нашла сэра Ланселота.

— Кого?

— Сэра Ланселота.

— Быть того не может, — сказал Король. — Ланселота убил вепрь.

— Он спит в саду.

Король одним прыжком соскочил с трона.

— И ведь я об этом знал с самого начала, —

сказал он, — да только ума не хватило, чтобы задуматься. Дикий Человек. Это же очевидно.

Он слегка пошатнулся и приложил ладонь ко лбу.

— Предоставь это мне, — сказал Король. — Я сам распоряжусь. Я точно знаю, что делать. Дворецкий! Бризена! Куда они, к дьяволу, запропастились? Гей! Гей! А, вот ты где. Так, дворецкий. Приведи-ка сюда жену свою, даму Бризену, и еще двух мужчин, на которых можно положиться. Постой. Возьмешь Гумберта и Гурта. Где он, ты говоришь?

— Спит у источника, — быстро сказала Элейна.

— Вот именно. Стало быть, прикажи всем обходить розовый сад стороной. Слышишь, дворецкий? Всех долой, и чтобы, когда выйдет Король, никто там не вертелся. И прихвати с собой простыню. Крепкую простыню. Нам придется перенести его на ней, взявшись за четыре конца. Да, и приготовь комнату в башне. Скажешь Бризене, чтобы простыни просушила как следует. Перину лучше всего пуховую. Разожги огонь и приведи туда доктора. Передай ему, пусть прочтет главу о безумии у Варфоломея Английского. Да, и распорядись, чтобы белье приготовили. Пока сон его столь крепок, нам следует его переодеть.

Когда Ланселот проснулся, все увидели, что глаза его прояснились. Но состояние разума явно оставалось прежалостным. Впрочем, по всем признакам он ожидал от них спасения.

Проснувшись в следующий раз, он сказал:

— А, Господи Иисусе! Как очутился я здесь?

В ответ он услышал обычные речи о том, что ему следует отдохнуть и не разговаривать, пока он не наберется сил, и подобные этим. Доктор махнул рукой Королевскому Оркестру, который немедля грянул «Мать благая Иисуса», ибо книга доктора Варфоломея рекомендовала ублажать умалишенных инструментальной музыкой. Все с надеждой глядели на

Ланселота, желая убедиться в благотворном влиянии музыки, но он схватил Короля за руку и в муке воскликнул: «Во имя Бога, мой любезный господин, откройте мне, как я сюда попал?»

Элейна положила руку ему на лоб, заставив лечь.

— Вы забрели сюда в безумии, — сказала она, — и ни одна живая душа не знала, кто вы.

Ланселот повернул к ней недоумевающий взор и потерянно улыбнулся.

— Я себя выставил на посмешище, — сказал он.

Позже он спросил:

— А многие видели меня, пока я оставался безумным?

22

Тело Ланселота сквиталось с его разумом. Две недели он пролежал в верхнем покое башни, и каждая его косточка болела, между тем как Элейна старалась ему не досаждать. Теперь он был в ее власти, она могла день и ночь ухаживать за ним. Но что-то, присущее ее душе, — достоинство ли, гордость, щедрость, застенчивость, или нежелание быть людоедшей, — спасало его. Она навещала Ланселота не чаще одного раза в день и ничего от него не требовала.

Настал день, когда он задержал ее, уже уходившую. Одетый по-домашнему, он сидел, мирно сложив на коленях руки.

— Элейна, — сказал он, — я думаю, нам следует обдумать, как быть дальше.

Она молча ждала приговора.

— Я не могу вечно здесь оставаться, — сказал он.

— Вы знаете, что вам здесь рады, и что вы можете пробыть здесь так долго, как захотите.

— Ко двору мне вернуться нельзя.

Элейна, явно колеблясь, произнесла:

— Если бы вы захотели, отец дал бы вам замок, и мы... мы смогли бы жить вместе.

Он взглянул на нее, и она отвела глаза.

— Или вы могли бы жить в этом замке один.

Ланселот взял ее за руку и сказал:

— Элейна, я не знаю, что вам ответить. Пожалуй, мне нечего вам сказать.

— Я знаю, что вы не любите меня.

— И вы думаете, что мы можем при этом быть счастливы?

— Я знаю только, в каком случае я буду несчастна.

— Я не хочу, чтобы вы были несчастны. Однако быть несчастным можно по-разному. Не думаете ли вы, что если бы мы стали жить вместе, вы оказались бы еще более несчастной?

— Я была бы счастливейшей женщиной в мире.

— Послушайте, Элейна, единственная наша надежда в том, чтобы говорить правду, какой бы отвратительной она ни казалась. Вам известно, что я не люблю вас, что я люблю Королеву. Такая уж мне выпала участь, тут ничего не изменишь. Бывают вещи, которые переменить невозможно. Что до вас, то вы дважды заманивали меня в западню. Если б не вы, я и ныне оставался бы при дворе. Как по-вашему, сможем ли мы быть когда-нибудь счастливы, живя вместе?

— Вы были моим мужчиной еще до того, как Королева вас получила, — с гордостью сказала Элейна.

Он провел по глазам ладонью.

— Вы хотите иметь мужа на этих условиях?

— Есть еще Галахад, — сказала Элейна.

Они сидели бок о бок, глядя в огонь. Она не плакала, не молила о жалости, — и Ланселот знал, что это ему не грозит.

Он произнес, с трудом выговаривая слова:

— Я останусь с вами, Элейна, если вам этого хочется. Я не могу понять, как вам этого может хотеться. Я питаю к вам нежность, поверьте, хоть и не знаю сам — почему, после всего, что с нами случилось. Я не хочу причинять вам боль. Но, Элейна, жениться на вас я не могу.

— Мне все равно.

— Причина тут в том... в том, что супружество это договор. Я... я всегда гордился моим Словом. И если я не... если я не испытываю к вам этого чувства, то... черт подери, Элейна, да не обязан я жениться на вас, ведь именно вы обманули меня.

— Не обязаны.

— Обязан, не обязан! — с перекошенным лицом вскричал Ланселот. Он выплевывал слова в огонь, словно вкус их был ему мерзок. — Я должен быть уверен, что вы все понимаете и что я сам не пытаюсь вас обмануть. Я не женюсь на вас, потому что я вас не люблю. Не я все это начал, и я не могу отдать вам мою свободу: я не могу обещать, что останусь с вами навек. И я не хочу, чтобы вы принимали эти условия, Элейна, ибо они унизительны. Они продиктованы обстоятельствами. Если бы я сказал вам что-либо иное, я бы солгал, и было бы только хуже...

Он умолк и спрятал лицо в ладонях.

— Не понимаю, — сказал он. — Как ни стараюсь.

— При любых условиях, — сказала Элейна, — вы мой добрый и милостивый господин.

Король Пеллес отдал им замок, Ланселоту уже знакомый. Сэру Блианту, державшему этот замок от Короля, пришлось выехать, уступая им место, — и он это сделал даже с готовностью, когда узнал, что оказывает услугу Дикому Человеку, некогда спасшему ему жизнь.

— Так это сэр Ланселот? — спросил Блиант.

— Нет, — ответил Король Пеллес. — Это французский рыцарь, именующий себя Кавалером Мальфет. Я же говорил вам, что я прав, — сэр Ланселот умер.

Было условлено, что Ланселот станет жить инкогнито, ибо стоит лишь позволить распространиться известию, что он жив и поселился в Замке Блиант, как его тут же потянут ко двору, словно беглого каторжника.

Замок Блиант окружал замечательный ров, пре-

вращавший его практически в остров. Попасть в замок можно было лишь лодкой с барбакана, стоявшего по другую сторону рва, сам же замок, помимо стен, окружала волшебная ограда из железа, вероятно, представлявшая собою род cheval de frise[1]. Десять рыцарей были назначены в услужение Ланселоту и двадцать дам — Элейне.

Элейна была вне себя от счастья.

— Мы назовем его Островом Радости, — сказала она. — И будем здесь счастливы. И знаешь, Ланс, — он морщился, когда она прибегала к этому имени, — мне хочется, чтобы ты предавался своим любимым занятиям. Мы непременно должны устраивать турниры, охотиться с соколом, да мало ли что еще. Ты должен приглашать людей погостить, чтобы у нас было общество. Обещаю, что я не буду тебя ревновать, Ланс, или мешаться в твои дела. Ты не думаешь, что счастье может нам улыбнуться, если мы будем осмотрительны? Как по-твоему, Остров Радости — хорошее название?

Ланселот откашлялся и сказал:

— Да, название чудесное.

— Нужно будет сделать тебе новый щит, чтобы ты мог выходить на турниры неузнанным. Какое изображение ты бы хотел на него поместить?

— Какое угодно, — сказал Ланселот. — Мы устроим это попозже.

— Кавалер Мальфет. Какое романтическое имя! А что оно означает?

— Оно может значить многое. Одно из значений — Уродливый Рыцарь, другое — Рыцарь, Совершивший Проступок.

Он не стал объяснять ей, что оно может означать и Рыцаря С Дурною Звездой — Рыцаря, Над Коим Тяготеет Проклятие.

---

[1] Рогатка *(фр.)* — оборонительные сооружения наподобие противотанковых ежей *(прим. ред.)*.

— Я не считаю, что ты уродлив — или совершил какое-то зло.

Ланселот сделал над собой усилие и промолчал. По его понятиям, оставаться с Элейной ради того, чтобы иметь в дальнейшем возможность поплакаться на свою несчастную долю, равно как и разыгрывать Великое Самоотречение, было бы в высшей степени бесчестно, но с другой стороны, и притворство представлялось ему пустым занятием.

— Это оттого, что ты душка, — сказал он и поцеловал ее торопливо и неловко, чтобы скрыть фальшь, прозвучавшую в этом слове. Но Элейна уловила ее.

— Ты сможешь сам заниматься воспитанием Галахада, — сказала она. — Ты сможешь научить его всем твоим приемам, чтобы он, когда вырастет, стал величайшим из рыцарей мира.

Он поцеловал ее снова. «Если мы будем осторожны», — сказала она, и она старалась быть осторожной. Он испытывал жалость к ней за эти старания и благодарность — за благородство ее души. Он походил на рассеянного человека, делающего два дела зараз — одно очень важное, другое совсем пустяковое. Важное он почитал своим долгом. Но быть любимым всегда стеснительно. А из-за того, что он о себе думал, принимать смирение Элейны ему было и вовсе неловко.

Утром того дня, когда им предстояло отправиться в Замок Блиант, Ланселота остановил в Главной Зале новопосвященный рыцарь, сэр Кастор. Ему было всего лишь семнадцать лет.

— Я знаю, что вы называете себя Рыцарем, Совершившим Проступок, — сказал сэр Кастор, — но мне все же сдается, что вы сэр Ланселот. Я прав?

Ланселот взял мальчика за руку.

— Сэр Кастор, — сказал он, — вы полагаете, что это рыцарский вопрос? Пусть даже имя мое и сэр Ланселот, и я лишь называю себя Кавалером Мальфет, — не думаете ли вы, что у меня на то могут быть некие причины, к коим джентльмену высокого рода должно относиться с почтением?

Сэр Кастор залился краской и встал на одно колено.

— Я никому не обмолвлюсь, — сказал он.

И не обмолвился.

23

Весна наступала медленно, новые обитатели обжились в замке, и Элейна устроила для своего кавалера турнир. Победителя ожидала награда — красавица девица и ловчий сокол.

Пять сотен рыцарей собрались со всех концов королевства для участия в турнире, — но Кавалер Мальфет со своего рода равнодушной безжалостностью сражал всякого, кто вставал против него, и турнир провалился. Рыцари разъехались, недоумевающие и напуганные. Ни единый человек не лишился жизни — Кавалер с полным безразличием отпускал противника, едва повергнув его наземь, не было также произнесено ни единого слова, во всяком случае, самим Кавалером. Побежденные и ободранные рыцари, не дожидаясь веселого пиршества, обыкновенно происходившего вечером после турнира, разъехались по домам, гадая дорогою, кто таков этот неразговорчивый победитель, и обмениваясь суеверными домыслами. Элейна, продолжавшая отважно улыбаться, пока не уехал последний из рыцарей, ушла к себе в покои и там выплакалась. Потом она вытерла глаза и отправилась на поиски своего господина. Он исчез, едва закончились поединки, ибо у него появилась привычка на закате куда-то уходить в одиночестве, а куда, она не знала.

Она нашла его на укреплениях, залитых золотистым огнем. Их тени и тени зубчатой башни, на которой они стояли, и призрачные тени пылающих древес тянулись по парковым землям широкими фиолетовыми полосами. Отчаянные глаза Ланселота смотрели туда, где, скрытый за далью, лежал Камелот. Перед Ланселотом стоял, прислоненный к стене, его новый щит с анонимной эмблемой. Эмблема изо-

бражала серебряную даму на черненом поле и рыцаря, преклонившего пред ней колени.

Простодушная Элейна чувствовала себя польщенной этим изображением. Сообразительности ей никогда не хватало. Теперь же она впервые уяснила, что голову серебряной женщины венчает корона. Элейна беспомощно стояла рядом, пытаясь понять, что же ей делать, но, по правде сказать, делать ей было нечего. Ее оружие было притупленным и изготовленным из мягкого материала. В ее распоряжении имелись только терпение и самоотречение, а одолеть столь скромными средствами глубоко проникшее в душу безумие любви, терзавшее некогда стародавнюю расу, было вряд ли возможно.

Как-то поутру они сидели на зеленом валу, у берега озера. Элейна вышивала, Ланселот наблюдал за сыном. Галахад — обстоятельный, немногословный мальчик — играл в некую собственного изобретения игру с куклами, привязанность к коим он сохранял еще долгое время и в летах, когда прочим мальчикам свойственно обращаться к солдатикам. Ланселот вы́резал для него из дерева двух рыцарей в полном вооружении. Рыцари водружались с наставленными копьями на снабженных колесиками коней, помещенных на особую платформу. Подтягивая коней за бечевки, можно было заставить рыцарей биться на копьях. Они могли даже выбивать один другого из седла. Галахад не уделял им никакого внимания, а играл все больше с тряпичной куклой, которую он называл «Свят-свят».

— Погубит Гвинета перепелятника, — заметил Ланселот.

К ним торопливо приближалась одна из благородных дам замка с перепелятником на ладони. Спешка ее возбуждала птицу, и та била крыльями, но Гвинета не обращала на нее внимания и только по временам сердито встряхивала ее.

— В чем дело, Гвинета?

— О, госпожа моя, там за водой два рыцаря, они говорят, что прибыли сразиться с Кавалером.

— Скажите им, пусть уезжают, — произнес Ланселот. — Скажите, что меня нет дома.

— Но сэр, привратник указал им дорогу к лодке, и они решили переправляться по одному. Они говорят, что оба сюда не пойдут, но второй переправится, если вы сразите первого. И первый уже в лодке.

Ланселот поднялся и отряхнул колени.

— Передайте ему, чтобы ждал на ристалище, — сказал он. — Я буду через двадцать минут.

Ристалище представляло собой неширокий коридор между двух стен с башнями на каждом конце. На обеих стенах, повыше, были устроены галереи, так что ристалище походило на закрытый теннисный корт, только вместо крыши над головою виднелось небо. Элейна со своею прислугой расположилась на галереях, а двое рыцарей долгое время бились внизу. В копейном бою они оказались ровней — оба были повергнуты наземь — и теперь вот уже два часа рубились на мечах. К исходу этого времени приезжий рыцарь крикнул: «Остановись!»

Ланселот остановился сразу, будто деревенский батрак, которому разрешили прервать работу и пообедать. Он воткнул меч, словно вилы, в землю и терпеливо застыл. Собственно, он и не бился, а работал со спокойным терпением батрака. Причинить противнику вред он не пытался.

— Кто вы? — спросил приезжий. — Прошу вас, откройте мне ваше имя, ибо я не встречал человека равного вам.

Внезапно Ланселот поднял к шлему обе латных рукавицы, как бы стараясь скрыть в них уже скрытое лицо, и несчастным голосом произнес: «Я сэр Ланселот Дюлак».

— Что?!

— Я — Ланселот, валлиец.

Сэр Персиваль Уэльский отшвырнул меч к стене, меч, ударившись, зазвенел, а Персиваль уже несся к башне, выходившей на ров. Удары его железных ног отзывались эхом от стен. На бегу он развязал и отбросил шлем. Достигнув решетки ворот, он приложил ко рту ладони и закричал, что было мочи:

— Эктор! Эктор! Это Ланселот! Давай сюда!

И не помедлив, бегом устремился обратно к другу.

— Ланселот! Друг вы мой милый! Я знал, что это вы, знал!

Он принялся возиться с ремешками шлема, стараясь побыстрей развязать их неуклюжими пальцами. Содрав латные рукавицы, он и их запустил со звоном в стену. Ему не терпелось увидеть лицо сэра Ланселота. Ланселот же стоял спокойно, словно уставший ребенок, раздеваемый взрослым.

— Но где же вы были? Почему вы здесь? Мы боялись, что вы погибли.

Шлем сошел с головы и полетел вслед за всем остальным.

— Ланселот!

— Вы сказали, что с вами Эктор?

— Да, Эктор, ваш брат! Мы вас разыскиваем вот уж два года. Ах, Ланселот, как же я рад вас видеть!

— Войдите в замок, — сказал Ланселот, — и отдохните.

— Но что вы делали все это время? Где вы скрывались? Королева с самого начала отправила на поиски трех рыцарей. А под конец нас было уже двадцать три. Это обошлось ей не меньше чем в двадцать тысяч фунтов.

— Я проводил время в разных местах.

— Даже Оркнейцы и те помогали. Сэр Гавейн тоже старался вас отыскать.

Тут подплыл в лодке сэр Эктор — сэр Эктор Окраинный, не опекун Короля Артура, — и для него подняли на воротах решетку. Он понесся к Кавалеру так, словно хотел отбить у него футбольный мяч.

— Брат!

В конце ристалища стояла, глядя на них, спустившаяся с галереи Элейна. Она сознавала, что с минуты на минуту ей предстоит явить радушие людям, которые разобьют ее сердце. Она не мешала им приветствовать друг друга, но следила за ними, словно ребенок, не принятый в игру. Она стояла неподвижно, собираясь с духом, скликая и сосредотачивая в крепости сердца все свои силы, всю пограничную стражу души.

— Это Элейна.

Они повернулись к ней и поклонились.

— Добро пожаловать в Замок Блиант.

24

— Я не могу оставить Элейну, — сказал он.

— Да почему? — сказал Эктор Окраинный. — Ты же не любишь ее. У тебя нет перед ней никаких обязательств. Ты только мучаешь себя, оставаясь с ней.

— У меня есть перед ней обязательства. Я не могу вдаваться в объяснения, но это так.

— Королева в отчаянии, — сказал Персиваль. — Чтобы найти вас, она потратила целое состояние.

— Тут я ничем помочь не могу.

— Ну какой смысл дуться? — сказал Эктор. — По-моему, ты просто дуешься. Если Королева раскаивается в том, что она натворила, чем бы оно там ни было, тебе следует явить благородство и простить ее.

— Мне нечего прощать Королеве.

— Так я об этом и говорю. Ты просто обязан вернуться ко двору и продолжить свою карьеру. Прежде всего это твой долг перед Артуром: как-никак ты принес ему рыцарскую присягу. Он очень в тебе нуждается.

— Нуждается?

— У него, как всегда, неприятности с Оркнейцами.

— А что поделывают Оркнейцы? Ах, Персиваль, вы и не представляете, как согревается мое сердце, когда я слышу старые имена. Расскажите мне, о чем судачат при дворе? Как там Кэй, — он часто садился в лужу в последнее время? А Динадан все еще шутит? И какие новости о Тристраме и Короле Марке?

— Если ты так интересуешься новостями, возвращайся ко двору.

— Я же сказал тебе, что не могу.

— Ланселот, взгляните на свое положение трезво. Неужели вы всерьез полагаете, что, живя здесь инкогнито с этой девчонкой, вы сумеете по-прежнему быть самим собой? По-вашему, можно победить на турнире пять сотен рыцарей и остаться неузнанным?

— Да едва мы услышали о турнире, — добавил Эктор, — как сразу помчались сюда. Персиваль сказал: «Либо это Ланселот, либо я — датчанин».

— Если вы твердо решили остаться здесь, — продолжал Персиваль, — это будет означать, что вам придется сложить оружие. Еще один поединок, и о вас примутся толковать по всей стране. Я, впрочем, думаю, что и этого поединка уже не понадобится.

— Засесть здесь с Элейной, значит от всего отказаться. Ты окажешься в полной отставке — ни гостей, ни турниров, ни чести, ни любви: тебе даже под открытое небо выйти будет нельзя. Ты ведь знаешь, у тебя не такое лицо, чтобы его легко было забыть.

— Что бы это ни значило, Элейна достойная и добрая женщина. Когда человек доверяется тебе, Эктор, когда он целиком от тебя зависит, нельзя причинять ему горе. Так и с собаками не поступают.

— Однако ж на собаках никто и не женится.

— Черт возьми, она любит меня.

— Как и Королева.

Ланселот перевернул вверх дном чашу, которую держал в руках.

— Когда я в последний раз видел Королеву, — сказал он, — она велела мне больше не попадаться ей на глаза.

— Тем не менее она извела двадцать тысяч фунтов, чтобы тебя отыскать.

Ланселот немного помолчал и спросил голосом, прозвучавшим грубо:

— Как она?

— Она ужасно удручена.

Эктор сказал:

— Она понимает, что сама виновата. Она все плакала, плакала, а когда Борс обозвал ее дурой, она

даже спорить не стала. Да и Артур удручен, потому что из-за этой истории весь Стол перевернулся вверх дном.

Ланселот швырнул чашу на пол и встал.

— Я сказал Элейне, — произнес он, — что не могу дать обещание остаться с ней, а потому я обязан остаться.

— Вы ее любите? — спросил Персиваль, решившись задать главный вопрос.

— Да, люблю. Она была добра ко мне, и я к ней привязан.

Увидев выражение их лиц, он заменил слово.

— Я люблю ее, — произнес он с вызовом.

Рыцари задержались на неделю, и Ланселот, с жадностью выслушивавший новости о Круглом Столе, ослабевал с каждым днем. За обедом Элейна сидела во главе стола, рядом со своим господином, и тонула в потоке речей о людях, чьих имен она никогда не слышала, и о событиях, сути которых она не понимала. Ей только и оставалось, что предлагать гостям все новые яства, которые Эктор поглощал, не прерывая очередного рассказа. Они перегибались через нее, разговаривали и смеялись, и Элейна тоже прилежно смеялась. Каждый день на закате Ланселот отправлялся на башню, — впервые застав его там, Элейна на цыпочках удалилась, и он не знал, что тайна его свиданий раскрыта.

— Ланселот, — сказала она как-то утром, — там за рвом ждет какой-то мужчина с конем и доспехами.

— Рыцарь?

— Нет. Он похож на оруженосца.

— Интересно, кто на этот раз. Вели привратнику перевезти его.

— Привратник сказал, что он не хочет переезжать. Он говорит, что будет ждать там, пока не выйдет сэр Ланселот.

— Пойду, посмотрю.

Он направился к лодке, но Элейна задержала его.

— Ланселот, — сказала она, — как мне поступить с Галахадом, если ты вдруг уедешь?

— Уеду? А кто сказал, что я собираюсь уехать?

— Никто не сказал, просто я хочу знать.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь.

— Я хочу знать, как мне растить Галахада.

— Ну, я думаю, как обычно. Надеюсь, из него получится добрый рыцарь. Но ведь это вопрос воображаемый.

— Вот это я и хотела узнать.

Однако она опять задержала его.

— Ланселот, можно я задам тебе еще один вопрос? Если тебе придется уехать, если тебе придется оставить меня, — ты возвратишься назад?

— Я же сказал, что уезжать не собираюсь.

Она осторожно подбирала правильные слова, словно человек, идущий через болото и ощупывающий перед собою почву.

— Это помогло бы мне и дальше растить Галахада, — помогло бы мне жить дальше, — если б я знала, что когда-нибудь... что наступит день... если бы я знала, что ты вернешься.

— Элейна, я не понимаю, к чему эти речи.

— Я не пытаюсь остановить тебя, Ланс. Возможно, для тебя и лучше уйти. Наверное, так и должно было случиться. Я только хочу знать, увижу ли я тебя снова, потому что для меня это важно.

Он взял ее за руки.

— Если я уйду, — сказал он, — я возвращусь назад.

Человек, ожидавший по другую сторону рва, был дядюшкой Скоком. Он стоял рядом со старым, и постаревшим еще на два года, скакуном Ланселота, на седле которого были уложены привычные Ланселоту доспехи, стоял словно бы в ожидании смотра. Все было прилажено, как полагается, и занимало следуемое по разумению воина место. Кольчуга без рукавов, свернутая в тугую скатку. Шлем, оплечья и поручни, отполированные, на что ушли без преувели-

чения недели усердных трудов, до лоска, до патины света, какую можно увидеть лишь на только что купленных, еще не потускневших от носки или домашней чистки вещах. Запах седельного мыла исходил от них, смешанный с безошибочно узнаваемым собственным запахом доспехов, — столь же специфическим, как тот, который встречает нас в раздевалке профессиональных игроков в гольф, и для рыцаря столь же волнующим.

Каждый мускул Ланселота норовисто напрягся в нетерпеливом стремлении вновь ощутить на себе привычное вооружение, которого он не видел с тех пор, как покинул Камелот. На указательном пальце заныло место, служившее опорой для рукояти меча. Большой в точности знал усилие в унциях, которое ему надлежит прилагать к внутренней стороне рукояти. Буграм ладони не терпелось приникнуть к ней. Вся рука вспомнила вдруг увесистость Весельчака и прониклась желанием взмахнуть им в воздухе.

Постаревший дядюшка Скок стоял, не говоря ни слова. Он лишь держал узду, не заслоняя упряжи, и ждал, когда рыцарь сядет на коня и поскачет. Твердые глаза его, пронзительные, как у ястреба, покоились на скакуне. Он молча держал огромный турнирный шлем со знакомым султаном из цапельных перьев, перевязанных серебряной нитью.

Обеими руками Ланселот принял у дядюшки Скока шлем и повернул его. Руки знали, какого им ждать веса — ровно двадцати двух с половиною фунтов. Он увидел великолепную полировку, свежую стежку подкладки и приделанный сзади новый намет. Намет был из ажурной шелковой ткани, его покрывало золотое шитье — множество геральдических лилий старой Франции. Ланселот сразу же понял, чьи пальцы расшивали намет. Он поднял шлем к носу и понюхал его.

И мгновенно она оказалась рядом — не та Гвиневера, которую он вспоминал, стоя на зубчатой башне, но подлинная Дженни, с иною осанкой, с каждой

ее ресницей, с каждой порою кожи, с каждой нотою голоса и каждой черточкой улыбки.

Он не оглядывался назад, уезжая от Замка Блиант, и Элейна, стоявшая на башне барбакана, не махала рукою вослед. В оцепенелой сосредоточенности она смотрела, как он удаляется, подобная человеку, который, потерпев кораблекрушение, набирает в маленькую лодчонку столько пресной воды, сколько та в состоянии вместить. У нее оставались секунды, чтобы сделать запас Ланселота, которого должно хватить на долгие годы. Больше у нее ничего не будет — только этот запас, их сын и целая куча золота. Он оставил ей все свои деньги, достаточные, чтобы расходовать в год по тысяче фунтов — в ту пору сумма огромная.

25

Пятнадцать лет прошло после расставания с Элейной, а Ланселот так и жил при дворе. Отношения Короля с Гвиневерой и ее любовником оставались в значительной мере теми же, что и прежде. Разница, и немалая, состояла в том, что все они постарели. Волосы Ланселота, уже тронутые, будто мех барсука, сединой, когда он, двадцатишестилетний, вернулся, излечившись от безумия, стали теперь совершенно белыми. Преждевременно поседел и Артур — и губы обоих мужчин алели в обрамлении шелковистых бород. Одна Гвиневера ухитрилась сохранить в неизменности свои волосы, по-прежнему отливавшие вороновой чернотой. В свои сорок лет выглядела она великолепно.

Еще одно различие состояло в том, что ко двору явилось новое поколение рыцарей. Пылкость чувств, присущая первым рыцарям Круглого Стола, оставалась такой же, как и в прежние дни, но сами они превратились из людей едва ли не в аллегорические фигуры. Их окружали юные подданные, для которых Артур был не завоевателем будущего, но признанным победителем прошлого, для которых Ланселот был героем, одержавшим сотни побед, а Гвиневера — романтической возлюбленной нации. Они видели не Артура, охотящегося в зеленом лесу, но идею Королевской Власти, — не человека, но Англию. Когда Ланселот проезжал мимо, смеясь вместе с Королевой над какой-то лишь им двоим понятной шуткой, эти молодые люди испытывали простодушное изумление оттого, что он вообще способен смеяться. «Ну ты подумай, — говорили они друг другу, — смеется, как будто он такой же простак, как мы с тобой. До чего же он снисходителен, наш сэр Лансе-

лот, до чего демократичен, — смеется, совсем как обыкновенный человек! Так он, может, еще и ест и пьет в придачу, и даже спит по ночам». Но в глубине души представители нового поколения сохраняли уверенность, что ничего подобного великий Дюлак, конечно, не делает.

И вправду, немало воды утекло под мостами Камелота за двадцать один год. То были годы строительства. В начале своем они еще оставались годами баллист и камнеметов, тяжело катящихся по выбитым трактам от одного осажденного замка к другому, дабы сломить своей разрушительной мощью замковые стены, — деревянных башен на колесах, которые, громыхая, подвигались в сторону укреплений изменников, чтобы лучники, стреляя с их верхушек, могли обрушить смерть на предательские цитадели, — или саперных рот, с кайлами и лопатами на плечах марширующих по тем же дорогам в облаках летней пыли подрывать мятежные стрельницы, расшатывать огромные валуны их оснований, отчего с грохотом повалятся сверху камни поменьше. Когда Артуру не удавалось взять приступом крепость очередного приверженца принципа Сильной Руки, он распоряжался, чтобы под определенными участками стены прорыли туннели. Своды этих туннелей подпирали деревянными брусьями, которые в должное время поджигали, и они, рушась, увлекали за собой выложенные из камня стены.

Ранние годы были годами сражений, в которых тем, кто упрямо держался за право добывать себе средства к существованию мечом, предстояло от меча и погибнуть. То были годы, залитые светом от пылающих башен, в которых заживо зажаривались, словно бы образованные сплошь из одних Гаев Фоксов, целые отряды бойцов, ибо серьезное возражение против использования дозорной башни в качестве укрепления состояло в том, что из нее получалась первоклассная печная труба; годы, оглушенные лязгом боевых топоров, лупящих в двери, именно так и

устроенные, чтобы боевым топорам нелегко было справиться с ними, — первый слой досок нашивался на них горизонтально, а второй вертикально, дабы дерево не щепилось вдоль волокон; годы, в которые привычными картинами стали неуклюже валящиеся норманнские великаны, с коими всего удобнее было справляться, отрубая им для начала ноги, чтобы затем с большей легкостью дотягиваться до голов, — и мечи, мерцающие вкруг щитов и шлемов, каковое мерцание в особо выдающихся случаях сопровождалось таким дождем искр, что бьющиеся рыцари казались раскаленными добела.

Куда бы вы ни направились в те первые годы, любая открывшаяся вашему взору даль пресекалась пешей колонной наемников, волокущих из-за Порубежья груды награбленного добра; или рыцарем нового ордена, обменивающимся ударами с консервативным бароном, которого он пытался отучить от привычки резать сервов; или златовласой девой, спасаемой при помощи ременной лестницы из заточения в какой-нибудь укрепленной башне; или улепетывающим во всю прыть сэром Брюсом Безжалостным и стрелой летящим за ним сэром Ланселотом; или несколькими лекарями, старательно копающимися в ранах неудачливого бойца и кормящими его луком и чесноком, дабы можно было по запаху из раны определить, целы ль его кишки. Осмотрев как следует раны, врачи набивали в них жирную шерсть с овечьего вымени — естественную ланолиновую повязку. Там сидел на груди противника сэр Гавейн и пытался прикончить его, тыча в отверстия забрала длинным и острым стилетом, называемым «Милосердием Божиим». Здесь валялись двое рыцарей, до смерти задохнувшихся во время поединка: несчастье, нередкое в те дни неистовых усилий и слишком маленьких вентиляционных отверстий. По одну сторону от вас могла возвышаться поместительная виселица, возведенная каким-нибудь старого закала князьком, чтобы вешать на ней рыцарей

Короля Артура вместе с доверившимися им простолюдинами-саксами, — виселица, возможно, столь же великолепная, как та, что была некогда сооружена в Монфоконе и выдерживала до шестидесяти тел, свисавших, подобно засохшим соцветиям фуксии, между шестнадцати ее каменных колонн. На виселицах поскромнее имелись подобия ступенек, вроде ножных подпорок на телеграфных столбах, по которым палачи могли карабкаться вверх и вниз. По другую же сторону, взор отдыхал на чьем-то земельном владении, столь изрядно огражденном западнями, нарытыми в зарослях ежевики, что не находилось желающего и на милю приближаться к нему. Перед собою вы могли обнаружить рыцаря-недотепу, попавшегося в силок, который взметнул его в воздух на конце крепкой ветки, освобожденной при срабатывании ловушки, да так и оставил беспомощно болтаться между небом и землей. А позади вас мог разворачиваться какой-нибудь кровавый турнир или сражение враждующих партий, и все герольды как один выкрикивали, обратясь к рядам готовых наброситься друг на друга рыцарей: «Laissez les aller», — клич, в точности соответствующий воплю: «Пошли!», который и ныне можно слышать в день Больших национальных скачек.

В однатысячном году ожидался конец света, и реакцией на отсрочку оного стала такая вспышка беззакония и жестокости, что Европу потом мутило еще несколько столетий. Эта-то вспышка и породила доктрину Силы, ставшую главным противником рыцарей Круглого Стола. В девственных лесах охотились жестокие лорды, исповедовавшие эту доктрину, хотя, разумеется, исключения, подобные доброму сэру Эктору из Дикого Леса, имелись всегда, так что Иоанну Солсберийскому пришлось посоветовать своим читателям: «Коли одному из этих грозных и безжалостных ловцов случится проезжать мимо вашего жилища, принесите ему с поспешностью всякую пищу и питье, какие только сыщутся в вашем

доме или какие вы сможете купить или же позаимствовать у соседей: сие может спасти вас от разорения или даже от обвинений в измене». Можно было видеть, утверждает Дюрюи, детей, свисавших на собственных сухожилиях с деревьев. Не таким уж редким зрелищем был и тяжеловооруженный конник, свистящий, как рак, и с лицом, похожим на овсяную кашу, потому что на него во время осады вылили ушат кипящих отрубей. Об иных, еще более впечатляющих картинах упоминает Чосер: там с ножом под епанчою льстец проворный, там искаженный труп лежит в кустах, там настежь хладной смерти зев раскрыт. Куда ни глянь, всюду кровь и сталь, и дым в небесах, и разгул необузданной силы, и — среди общей смуты тех времен — Гавейн исхитрился-таки прикончить нашего старого, милого друга Короля Пеллинора, сквитавшись за смерть своего отца, Короля Лота.

Такова была Англия, унаследованная Артуром, в таких корчах рождалась на свет цивилизация, которую он пытался создать. Ныне, после двадцати одного года терпеливых свершений, картина стала иной.

Там, где некогда воздымались едва ли не у каждого брода черные рыцари, пышущие яростью и норовящие содрать дань со всякого, кто по опрометчивости выбрал эту дорогу, ныне любая девственница могла, даже имея на себе золото и украшения, разъезжать где и как ей заблагорассудится, не страшась никакого ущерба. Там, где некогда жуткие прокаженные — в ту пору их называли шелудью — в белых балахонах привычно брели по лесам, позванивая, если они хотели вас остеречь, в свои скорбные колокольца или попросту набрасываясь на вас безо всякого звона, если остерегать они вас не хотели, — теперь там стояли обустроенные больницы, которыми правил какой-нибудь религиозный рыцарский орден, дающий надлежащий уход тому, кто вернулся, заразившись проказой, из Крестовых походов. Тираних великанов перебили, всех до единого, а всех

опасных драконов, из которых иные имели обыкновение камнем падать на вас с неба, клекоча, словно ловчий сокол, вывели из строя. Там, где когда-то потоками текли по трактам банды налетчиков, плеща на ветру флажками, теперь брели в Кентербери компании веселых паломников, развлекающих друг дружку срамными историями. Смиренные клирики, совершающие однодневную экскурсию к Богородице Уолсингэмской, распевали «Alleluia Dulce Carmen», в то время как менее смиренные выводили трелями великолепную средневековую застольную, ими же и сочиненную: «Meum est propositum in taberna mori». Были здесь и учтивые аббаты в отороченных мехом капюшонах, что было противно уставам их орденов, гарцующие на иноходцах и подтянутые йомены с ястребами на кулаках, и крепыши-крестьяне, переругивающиеся с женами насчет покупки нового плаща, и подвыпившие компании, отправившиеся поохотиться без какого бы то ни было вооружения. Одни ехали на ярмарки, не уступавшие размахом ярмарке в Труа, другие направлялись в университеты, спорившие с Парижским, из двадцати тысяч школяров которого со временем вышло семь пап. По монастырям монахи все как один с такой буйной изобретательностью расцвечивали начальные литеры своих манускриптов, что первые страницы прочесть было вообще невозможно. Те же, что круглым письмом не владели, со тщанием копировали «Historia Francorum» Григория Турского или «Legenda Aurea», или «Jeu d'Echecs Moralisé», или «Трактат о Соколиной Ловитве» — то есть если они, конечно, не углублялись в «Ars Magna» волшебника Луллия или в принадлежащее перу величайшего из магов «Speculum Majus». По кухням прославленные повара составляли меню, включавшие в одной только первой перемене блюд: бульон из бычачьих ядер, горячий гоголь-моголь с вином и пряностями, заливных миног, устриц под винным и угрей под кислым соусом, запеченную форель, свиную голову с грибами, оленьи потроха, сви-

ной фарш, петушьи гребни, гусей с тушеными овощами, оленину с полбой, кур в говяжьем бульоне, жареных белок, хаггис, пудинг с каплуньей шеей, требуху, рубец, бычков-подкаменщиков, чернику с маслом, яблочный мусс, имбирную коврижку, фруктовое пирожное, бланманже, засахаренную айву и стилтонский сыр. В обеденных залах престарелые джентльмены, притупившие вкусовые ощущения неумеренными возлияниями, смаковали странные деликатесы Средних Веков — крепкие супы из китового и дельфиньего мяса. Их утонченные дамы украшали тарелки розами и фиалками — печеные бархотки и поныне составляют отменную приправу для хлебного пудинга — а оруженосцы отдавали должное овечьему сыру. В детских мальчики лезли вон из кожи, стараясь уговорить матерей, чтобы к обеду подали зеленые груши, каковые тушились в медовой патоке с уксусом, после чего поедались со взбитыми сливками. Застольные манеры также достигли высот цивилизованности, до которых и нам далеко. Теперь вместо сделанных из хлеба плошек стол украшали накрытые крышками блюда, чаши для омовения пальцев, полные ароматной воды, роскошные скатерти и салфетки в избытке. Сами же обедающие восседали за столом в венках из цветов и элегантных мантиях. Пажи подавали блюда, двигаясь со строгим изяществом балетных танцоров. Бутылки с вином ставились на дощечки с изречениями, эль же, напиток менее почтенный, дощечками накрывали. Пока длилось застолье, играли удивительные оркестры, включавшие колокола, большие рога, арфы, виолы, цитры и органы. Там, где некогда, еще до того, как Король Артур создал свой орден, Рыцарь Лесной Башни вынужден был предостеречь свою дочь, дабы она по вечерам не выходила без сопровождающих в собственную столовую залу — из страха перед тем, что может случиться в любом темном углу, — ныне играла музыка и горели светильники. Под закопченными сводами, где некогда чумазые бароны вгрызались

в кости, вертя их в окровавленных пальцах, теперь сидели и ели люди с чистыми руками, вымытыми в деревянных чашах пахнущим травами туалетным мылом. В монастырских подвалах виночерпии разливали старый и молодой эль, мед, портвейн, кларет, сухой шерри, рейнвейн, пиво, метиглин, грушевый сидр, пряное вино и наилучшей очистки виски. В судейских залах правосудие отправлялось теперь на основании новых Королевских законов взамен свирепых законов Сильной Руки. В деревенских домах добропорядочные жены выпекали такой хлеб, что у всякого только слюнки текли, и подбрасывали в огонь, не обинуясь расходами, очищенный торф, и пасли стада жирных гусей на общественных пастбищах, достаточных, чтобы прокормить двадцать семей в течение двадцати лет. Норманны и саксы, жившие под рукою Артура, понемногу начинали осознавать себя англичанами.

Не диво, что со всей Европы слетались ко двору молодые, честолюбивые рыцари. Не диво, что, глядя на Артура, они видели лишь короля, а глядя на Ланселота — лишь победоносного воина.

Одним из пришедших в те дни ко двору молодых людей был Гарет. Другим — Мордред.

26

— Нечасто случается нам увидеть в последнее время, как трепещет стрела в человеческом сердце, — сказал Ланселот. Дело было под вечер, они находились на стрельбище.

— Трепещет! — воскликнул Артур. — Как славно передает это слово дрожь едва вонзившейся стрелы!

— Я его подцепил в какой-то балладе, — сказал Ланселот.

Они покинули поле и уселись в беседке, из которой видны были юноши, упражнявшиеся в стрельбе.

— Впрочем, ты прав, — печально сказал Артур. — Мы переживаем время упадка, прежних сражений теперь уже не увидишь.

— Упадка! — протестующе вскричал королевский главнокомандующий. — О чем, собственно, ты печалишься? Ведь ты, по-моему, именно этого и хотел?

Король переменил тему.

— А Гарет в хорошей форме, — сказал он, наблюдая за молодым человеком. — Занятно. Он вряд ли на много лет моложе тебя, а все кажется мальчиком.

— Гарет миляга.

Король положил ладонь на колено Ланселота и любовно стиснул его.

— В том, что касается Гарета, — сказал он, — кое-кто и тебя мог бы назвать милягой. Уже целое предание составилось о том, как он, не назвав себя, явился ко двору, так что даже собственные братья его не признали, как работал на кухне, как Кэй в приступе язвительности дал ему прозвище «Прекрасные Руки», и как только ты один и относился к нему со всем вежеством, пока он не испытал великих приключений и не стал рыцарем.

— Да будет тебе, — заступился за Оркнейцев Ланселот. — Братья не видели его пятнадцать лет. Гавейна тут винить не в чем.

— А я и не виню никого. Я говорю лишь, что с твоей стороны было очень мило принять участие в кухонном паже, постоянно его поддерживать и в конце концов посвятить в рыцари. Впрочем, ты всегда был добр к людям.

— Странно, как их всех тянет сюда, — сказал Ланселот. — Как будто они просто удержаться не могут. Любой мальчишка, в котором есть хоть немного доблести, словно нутром чувствует, что его место при дворе Артура, даже если придется там работать на кухне, потому что двор Артура — это центр нового мира. Потому-то и Гарет сбежал от матери. Она бы не отпустила его, вот и пришлось удрать и явиться сюда, утаив свое имя. Глупо вообще-то. Моргауза — просто дрянная старуха, ничего другого о ней не скажешь. Она не отпускала его ко двору, потому что ненавидит тебя, а он все равно оказался здесь.

— Моргауза моя сводная сестра, и я причинил ей немало горя. Женщине трудно сохранить хорошие качества, когда все ее сыновья уходят служить человеку, которого она ненавидит. Даже Мордред, последний из ее сыновей.

Ланселот поежился. Он питал к Мордреду инстинктивную неприязнь, и сама эта неприязнь была ему неприятна. Он не знал о том, что Артур приходится Мордреду отцом, ибо историю эту удалось замять — совсем как историю рождения самого Артура — давным-давно, когда ни Ланселота, ни Гвиневеры еще не было при дворе. Но он чуял какую-то странность в отношениях юноши и Артура. Мордреда он не любил безотчетно, как собака кошку, и стыдился своей нелюбви, потому что она противоречила его принципам, в согласии с коими ему надлежало помогать молодым рыцарям.

— Наверное, наихудшую боль причинил ей уход

Мордреда, — продолжал Король. — Ведь любая женщина сильнее всего привязывается к последнему своему ребенку.

— Насколько я осведомлен, она не питала особой привязанности ни к одному из них. И если их уход к твоему двору причинял ей боль, так лишь потому, что она ненавидит тебя. Почему она тебя ненавидит?

— Это дурная история. Я предпочел бы не говорить о ней.

— Моргауза — женщина, — добавил Король, — и женщина с характером.

Ланселот усмехнулся, скорее мрачно, чем весело.

— Да уж надо полагать, — сказал он, — судя по тому, что она вытворяет. Я слышал, она мертвой хваткой вцепилась в Пеллинорова сына, в Ламорака, даром что он ей во внуки годится.

— Кто тебе сказал?

— Об этом весь двор говорит.

Артур вскочил и в волнении сделал три шага.

— Господи-Боже! — воскликнул он. — А ведь отец Ламорака убил ее мужа! А ее сын убил отца Ламорака! Да Ламораку и лет-то всего ничего!

Он снова присел и уставился на Ланселота, словно бы опасаясь того, что может сейчас услышать.

— Как бы там ни было, но именно это она и сделала.

Артур спросил, внезапно и яростно:

— Где Гавейн? Где Агравейн? Где Мордред?

— Предполагается, что они отправились искать приключений.

— Не... не на север?

— Не знаю.

— А где Ламорак?

— По-моему, застрял в Оркнее.

— Если бы ты только знал мою сестру, Ланселот, — если б ты знал, каков Оркнейский клан у себя дома. Они помешаны на своей семье. Если Гавейн... если Ламорак — о, Боже мой, смилуйся над

моими грехами, и над грехами прочих людей, и над сумбуром этого мира!

Ланселот с испугом взирал на него.

— Чего ты боишься?

— Я боюсь за мой Стол. Я боюсь того, что вот-вот случится. Я боюсь, что все оказалось ошибкой.

— Глупости.

— Когда я учреждал Круглый Стол, я хотел прекратить анархию. Стол был каналом для грубой силы, он позволял людям, неспособным без нее обойтись, обратить ее на общую пользу. Но все это оказалось ошибкой. Нет, не прерывай меня. Все оказалось ошибкой, потому что и сам Стол был основан на силе. Право может основываться только на праве, его нельзя устанавливать с помощью Сильной Руки. А я именно это и попытался проделать. И ныне грехи мои обернулись против меня. Я боюсь, что посеял ветер, Ланселот, и теперь мне придется пожать бурю.

— Я не понимаю, о чем ты толкуешь.

— Вон идет Гарет, — сказал вдруг Король с таким спокойствием, словно все было уже позади. — Думаю, через минуту ты все поймешь.

Пока они разговаривали, на стрельбище появился гонец в кожаных поножах. Краем глаза Король заметил, как он торопливо отыскал сэра Гарета и вручил тому письмо. Он смотрел, как юноша читает письмо, как перечитывает — раз, другой — и как он потом потерянно разговаривает с гонцом. Теперь Гарет, сунув лук посланнику в руки и, не заметив этого, медленно приближался к ним.

— Гарет, — произнес Король.

Молодой человек опустился на одно колено и ухватился за руку Короля. Он держался за нее, как за лестничные перила или за спасательный трос. Тусклыми глазами он смотрел на Артура, но не плакал.

— Моя мать мертва, — сказал Гарет.

— Кто убил ее? — спросил Король, словно вопрос этот был совершенно естественным.

— Мой брат Агравейн.

— Что?!

Восклицание исходило от Ланселота.

— Мой брат убил нашу мать, потому что застал ее в постели с мужчиной.

— Сохраняй спокойствие, Ланселот, прошу тебя, — сказал Король. И снова к Гарету: — Что они сделали с сэром Ламораком?

Но Гарет еще не закончил первой части своего рассказа.

— Агравейн отсек ей голову, — сказал он. — Как единорогу.

— Единорогу?

— Прошу тебя, Ланселот.

— Он убил мать в приступе ярости.

— Я сожалею об этом.

— Я всегда знал, что он это сделает, — сказал Гарет.

— Ты уверен, что эти новости истинны?

— Новости истинны. Истинны. Ведь это Агравейн убил единорога.

— Разве Ламорак был единорогом? — мягко спросил Король. Он не понимал, о чем говорит его племянник, но очень хотел помочь ему. — Значит, Ламорак погиб?

— Ах, дядя! В письме говорится, что Агравейн застал ее нагой в постели с Ламораком и отсек ей голову. А затем они затравили и Ламорака.

Ланселот был не так терпелив, как Король, потому что не пережил горестей, случившихся при начале правления.

— Кто „они“? — спросил он.

— Мордред, Агравейн, Гавейн.

— Стало быть, — сказал сэр Ланселот, — троица твоих братьев сначала погубила Короля Пеллинора, который и мухи бы не обидел намеренно, погубила его лишь потому, что он, по несчастной случайности, убил на турнире их отца, затем они прямо в постели прикончили собственную мать, и, наконец, зарезали

молодого Пеллинорова сына, Ламорака, только за то, что его совратила их матушка, превосходившая его возрастом втрое. Я так понимаю, что они все втроем набросились на него одного?

Гарет стиснул королевскую руку, и голова его начала опускаться.

— Они окружили его, — сказал он оцепенело, — и Мордред заколол его, ударив в спину.

27

После бесчинств, учиненных ими в землях Древнего Люда, Гавейн и Мордред отправились прямиком в Камелот, Агравейн же с ними не поехал. Они поссорились, едва убив Ламорака, а вернее, едва лишь у них появилось свободное время, чтобы задуматься о случившемся. Убийство Королевы Моргаузы было непреднамеренным. Агравейн совершил его, не успев даже подумать, — от возмущения, как он сказал, но все они инстинктивно сознавали, что им двигала ревность. И потому они обрушили на него старые обвинения, обозвав его жирным головорезом, способным убивать разве что беззащитных и женщин, и оставили, плачущим после бурной сцены. Гавейн, вспомнивший теперь о страстной привязанности, которую он всегда питал к их удивительной матери, — привязанности, внушенной королевой-ведьмой каждому из сыновей, — ехал к королевскому двору, терзаясь мрачным раскаяньем. Он сознавал, что Артур разгневается, узнав о том, как был убит молодой Ламорак, ибо юноша этот числился третьим из лучших рыцарей Круглого Стола, и все же не испытывал стыда за это убийство. По его разумению, Ламорак заслуживал смерти как лиходей, ибо и он, и его отец причинили вред Оркнейскому клану. Он понимал, что весь двор станет коситься на него из-за убийства матери, что опять начнутся старые пересуды о женщине, которую он еще в молодости зарубил в приступе гнева. Впрочем, и это не очень его угнетало. Он раскаивался и горевал оттого, что погибла его любимая оркнейская матушка, — он лишь теперь начинал понимать, как это случилось, — а равно и оттого, что он нанес

ущерб идеалам, насаждаемым Артуром, ибо сам по себе Гавейн был человеком достойным. Он надеялся, что Король повесит его или отправит в изгнание, или придумает для него иное, столь же жестокое наказание. И в королевские палаты он вступил угрюмым от стыда.

Мордред же вошел в зал по пятам Гавейна с таким видом, словно ничего и не случилось. Мордред, был тощ, белобрыс до того, что казался почти альбиносом, и синеглаз — в блеклых глубинах его ярких очей переливалась лазурь, столь светлая, что смотреть в них было почти невозможно. Он был чисто выбрит. Взгляду не за что было в нем зацепиться, — ни за волосы, ни за глаза, ни за усы. Даже краски, казалось, смыты с него, чтобы не оставалось зацепки. Разве что морщинки, расходившиеся от глаз, сиявших на розоватом, туго обтянутом кожей лице, привлекали внимание, — чуть заметный прищур, который вы могли, по желанию, принять за проявление чувства юмора либо за ироничность, либо просто за потуги этих небесно-синих зрачков заглянуть подальше и поглубже. Вышагивал он, сохраняя прямизну осанки, одновременно чарующую и дерзкую, — но одно плечо поднималось выше другого. Слишко грубо извлеченный на свет повитухой, он, подобно Ричарду III, уродился немного горбатым.

Их ожидал Артур, по сторонам от которого стояли Гвиневера и Ланселот.

Грузный, рыжий Гавейн неуклюже преклонил колено. Он не смотрел на Короля и говорил в пол.

— Прощения.

— Прощения, — произнес и Мордред, но он, опустившийся на колено за спиною брата, на Короля смотрел — прямо ему между глаз. В прекрасных переливах его голоса, казалось, звучало двуличие, смысл произносимых слов вполне мог оказаться противоположным их обычному значению.

— Вы прощены, — произнес Артур. — Уходите.

— Уходить? — спросил Гавейн. Он не был уверен, что его не удаляют в изгнание.

— Да, ступайте. Мы встретимся за обедом. А сейчас идите. Оставьте меня, прошу вас.

Гавейн грубовато промолвил:

— В половине всех этих дел повинно одно только злое везение.

На этот раз голос Артура не был ни усталым, ни горестным:

— Ступайте!

Он топнул об пол ногой, как боевой конь, и указал на дверь, словно намереваясь вышвырнуть их. Глаза его вспыхнули на лице с такой же внезапностью, с какой вспыхивает под солнцем зеленый ясень, так что даже Мордред поспешил подняться. Испуганный Гавейн в смятении выкатился из дверей, но горбун оправился еще до того, как покинул зал. Олицетворение покорности, он театрально согнулся в низком поклоне, затем, распрямившись, взглянул Королю прямо в глаза, улыбнулся и вышел.

Артур, дрожа, сел. Над его головой Ланселот с Гвиневерой обменялись взглядами. Им хотелось спросить, по какой причине намеревается он простить своих племянников, или даже объявить ему, что без ущерба для Круглого Стола даровать матереубийцам прощение невозможно. Однако они ни разу еще не видали Артура, охваченного царственным гневом. Они чувствовали, что в поступке его присутствует нечто неведомое им, и оттого молчали.

Наконец, Король произнес:

— Я пытался кое-что объяснить тебе, Ланс, перед тем, как это случилось.

— Да.

— Вы оба всегда выслушивали мои речи о Круглом Столе. Я хочу, чтобы вы меня поняли.

— Мы постараемся.

— Давно, когда мой Мерлин был еще рядом и

помогал мне, он старался научить меня думать. Он знал, что в конце концов ему придется покинуть меня, и потому заставлял думать самостоятельно. Никому не дозволяй учить тебя думать, Ланс, ибо это — бич нашего мира.

Король сидел, глядя на пальцы, а Ланселот и Гвиневера ждали, когда старые мысли бочком, словно крабы, сбегут по его рукам.

— Мерлин, — произнес он, — одобрил Круглый Стол. Видимо, для того времени он годился. Надо думать, он был правильным шагом. Теперь настало время подумать о следующем.

— Не понимаю, — сказала Гвиневера, — почему это Круглый Стол стал нехорош лишь оттого, что Оркнейцам нравится убивать.

— Я уже объяснял Лансу. Идея нашего Стола в том, что Право выше Силы. К несчастью, мы попытались обосновать Право на Силе, а этого делать нельзя.

— Да почему же нельзя, я не понимаю?

— Я пытался прорыть для Силы отводной канал, чтобы она утекала с пользой. Мысль состояла в том, что людям, которым любо сражаться, следует предоставить такую возможность, — пожалуйста, сражайтесь за справедливость. Я надеялся этим решить проблему. Но не решил.

— Но почему же?

— Просто потому, что у нас теперь есть правосудие. Мы достигли того, за что сражались, но любители-то сражений, они ведь по-прежнему здесь, с нами. Неужели ты не понимаешь, что происходит? Нам больше не за что воевать, и воины Круглого Стола начинают попросту гнить на корню. Взгляни на Гавейна с его братьями. Пока у нас имелись великаны, драконы и злобные рыцари старой школы, нам удавалось найти Оркнейцам занятие, удавалось держать их в рамках приличия. Теперь же,

когда цель достигнута, им не к чему приложить свою силу. Вот они и обратили ее против Пеллинора, Ламорака и моей сестры — да смилуется Господь над ними над всеми. Поначалу гниль проявлялась в том, что нашим рыцарством овладела вдруг пресловутая игровая мания — вся эта чушь насчет того, у кого больше очков и так далее. Теперь же вновь начались убийства и это уже второе знамение. Потому я и говорю, что Мерлин, будь он с нами, пожелал бы, чтобы я придумал что-нибудь новое, и прямо сейчас.

— Похоже на то, что досуг и довольство лишают нас мужества — струны провисли и музыка уже не та.

— Нет, беда вовсе не в этом. Беда в том, что я все это время на всякий случай хранил за пазухой камень. Мне следовало с корнем вырвать Силу, а не пытаться приспособить ее к делу. Хотя, по правде сказать, я не знаю, как ее выкорчевать. Теперь же Сила осталась, а дела для нее не находится, вот она и начинает сама рыть для себя каналы, от которых никому не поздоровится.

— Тебе нужно было их наказать, — сказал Ланселот. — Когда сэр Бедивер прикончил свою жену, ты заставил его снести ее голову к Папе. Теперь тебе следует отправить к Папе Гавейна.

Король разжал ладони и впервые за все время поднял глаза.

— Я собираюсь всех вас отправить к Папе.

— Что?!

— Нет, не в буквальном смысле. Ты понимаешь, все горе, как я его понимаю, в том, что мы исчерпали для нашей Силы мирские задачи, — стало быть, остались только духовные. Я всю ночь думал об этом. Если я не могу удержать моих воинов от зла, противопоставляя их миру, значит мне следует противопоставить их духу.

Глаза Ланселота вспыхнули и с неотрывным вниманием уставились на Артура. И в этот же миг Гвиневерой овладело какое-то безразличие. Украдкой она бросила на своего любовника быстрый взгляд и с новой, опасливой сосредоточенностью принялась слушать рассуждения мужа.

— Если мы не примем каких-то мер, — продолжал Король, — Стол просто развалится. Беда ведь не только в том, что начались убийства и открытая вражда, перед нами еще и гордое собой непотребство. Вспомни хотя бы об отношениях Тристрама с женой Короля Марка. Похоже, все принимают сторону Тристрама. Рассуждать о нравственности — занятие неблагодарное, но в сущности, все сводится к тому, что мы создали нравственные принципы, и их тоже охватывает порча, потому что приложить их нам не к чему. А лучше уж и вовсе не обладать нравственными принципами, чем обладать подпорченными. Мне кажется, любые усилия, направленные на достижение чисто мирской цели, каковой и была моя пресловутая Цивилизация, в самих себе несут зародыши разложения.

— Так что это ты говорил насчет Папы?

— Я выразился фигурально. Подразумевал же я следующее: идеалы Круглого Стола были мирскими идеалами. Если мы хотим, чтобы Стол уцелел, следует преобразовать их в духовные. Я как-то забыл о Боге.

— Ланселот никогда о Нем не забывал, — странным тоном произнесла Гвиневера.

Но любовник ее слишком увлекся, чтобы заметить этот тон.

— Так что же ты намереваешься делать? — спросил он.

— Я думаю, нам нужно попытаться достигнуть чего-то такого, что пошло бы на пользу нашим душам, понимаешь? Мирские задачи мы выполнили —

мир, процветание — и теперь нам нечем заняться. Если мы придумаем для себя еще одну мирскую задачу, решение которой потребует от нас лишь телесных усилий, — какое-нибудь строительство империи или еще что-то подобное — мы вновь столкнемся с той же проблемой, если не с худшей, едва нам удастся эту задачу решить. Но разве не можем мы сплотить рыцарей Стола, обратив их энергию в область духа? Ты ведь понимаешь, что я имею в виду, говоря о душе и о духе? Если проложить для Силы такой канал, в котором она, вместо того чтобы отстаивать людские права, станет работать на Бога, разве это не предотвратит загнивание и не будет достойным деянием?

— Крестовый поход! — воскликнул Ланселот. — Ты собираешься отправить нас спасать Гроб Господень!

— Можно попробовать, — сказал Король. — Я не совсем то имел в виду, но, возможно, и это вполне подойдет.

— Или же мы можем приступить к поискам священных реликвий, — закричал охваченный энтузиазмом королевский главнокомандующий. — Если все рыцари займутся поисками кусочка Истинного Креста, им даже и сражаться не придется, — я имею в виду, что если мы отправимся в Крестовый поход, нам все-таки придется прибегнуть к Силе, придется прорыть для нее такой канал, чтобы она обратилась против неверных. Если же мы по-настоящему объединим рыцарей Стола, направив их усилия на поиски чего-то такого, что принадлежало самому Богу — а уж достойнее этого дела и не придумаешь, — у нас у всех и занятие будет, и сражаться нам не придется. И коли на то пошло, почему обязательно искать что-то одно? Слушай, ведь если все наши рыцари — сто пятьдесят человек — сплошь специалисты по поискам, что твои детективы, если

все наши рыцари обратят свою энергию на поиски принадлежавших Богу вещей, мы же можем найти их сотни и сотни, и каждая будет иметь огромную ценность. Да ради одного только этого стоило бы заново выдумать Круглый Стол и обучить его рыцарей! Мы, может быть, даже новые Евангелия разыщем. Весь Христианский мир придет нам на помощь. Подумай только, сто пятьдесят человек, специально обученных приемам поисков! И ведь еще не поздно попробовать. Истинный Крест обнаружили в триста двадцать шестом, а Священную Плащаницу отыскали в Лирии только в тысяча триста шестидесятом! Мы можем найти, например, копье, убившее Господа Нашего!

— Да, я думал об этом.

— Особенно стоит рукописями заняться.

— Да.

— Нам нужно побывать в самых разных местах — в Святой Земле, повсюду! Вроде моего дорогого де Жуанвилля!

— Да.

— По-моему, — сказал сэр Ланселот, — это прекраснейшая из когда-либо посещавших тебя идей.

— Вообще-то, я ее побаиваюсь, — сказал Король, и на сей раз странно прозвучал уже его голос. — Ночью мне пришло в голову, что, может быть, я ставлю слишком высокую цель. Ты знаешь, если человек достигает совершенства, он просто исчезает. Возможно, тогда-то Столу и придет конец. Представь, вдруг кто-нибудь сумеет найти Бога?

Но разум Ланселота не годился для метафизических рассуждений. Он не заметил, как изменился голос Артура. Чуть слышно он принялся напевать великий гимн Крестоносцев:

Lignum crucis,
Signim ducis,
Sequitur exercitus...

— Мы можем начать поиски Святого Грааля! — победно воскликнул он.

Именно в эту минуту и появился вестник, посланный Королем Пеллесом. Сэра Ланселота, сказал он, ожидают в обители, где ему надлежит посвятить в рыцари молодого человека. Хороший такой паренек, красивый и кроткий, ну ровно голубь. Получил образование в монастыре. А зовут его, сказал гонец, вроде бы Галахадом.

Королева Гвиневера встала и снова села. Она разжала и снова сжала руки. Она понимала, что сэр Ланселот уезжает к сыну, рожденному для него другой женщиной, но не это томило ее сильнее всего.

28

Если вам хочется почитать о том, как начались поиски Святого Грааля, о чудесах, сопровождавших появление Галахада (Гвиневера, испытывая странное смешение чувств — любопытства, зависти и страха — сделала робкую попытку его обольстить), о последнем ужине при дворе, когда прогремел гром, и солнечный луч проник во дворец, и появилась чаша под покровом, и сладостный аромат наполнил Главную Залу, — если вам хочется почитать обо всем этом, обратитесь к Мэлори. Так рассказать эту историю можно только однажды. Существенные же факты сводятся к тому, что вскоре после праздника Пятидесятницы рыцари Круглого Стола выехали все вместе с непосредственной целью отыскать Святой Грааль.

Прежде чем Ланселот воротился ко двору, прошло целых два года, и для оставшихся дома это было одинокое время. Постепенно те рыцари, которым выпало уцелеть, стали тонкой струйкой стекаться назад — по двое, по трое, — усталые мужчины, приносившие вести о потерях или слухи об удачах. Они приходили на костылях, или ведя в поводу изнуренных коней, больше уже не способных нести седока, или же — как сделал один из них, потерявший в сражении руку, — неся одну руку в другой. Вид у всех у них был измученный и смущенный. Лица их стали лицами фанатиков, они бессвязно бормотали во сне. Корабли, движущиеся сами собой, серебряные престолы, над которыми служатся дивные Мессы, копья, летающие по воздуху, видения быков и вырванных с корнем деревьев, демоны в древних могилах, короли и отшельники, прожившие по четыреста

лет, — вот кто фигурировал в пересудах, наполнивших дворец. Подсчеты, выполненные сэром Бедивером, показали, что половина рыцарей сгинула без вести. Предполагалось, что они погибли. А сэр Ланселот все не возвращался.

Первым надежным свидетелем среди возвратившихся стал Гавейн, достигший двора с перевязанной головой и в чрезвычайно дурном настроении. Единственный из Оркнейцев он так и не пожелал толком освоить английский язык и изъяснялся с северным выговором, чуть ли не преднамеренным. Он и думал-то до сих пор наполовину по-гаэльски. К южанам он относился пренебрежительно, а своим происхождением гордился.

— Да поразят этот ваш Поиск мрак и слепота, — произнес Гавейн. — Если мне когда и выпадало без толку болтаться по свету, так именно в этот раз!

— Что с вами случилось?

Артур с Гвиневерой сидели, положив руки на колени, будто воспитанные дети, приготовившиеся слушать сказку. Подобно детям, они были насторожены, нетерпеливы и изо всех сил старались извлечь из услышанного крупицы истины.

— Что случилось, говорите? Да то и случилось, что я потратил полтора года, если не больше, попусту рыская за приключениями, а кончил тем, что едва не помер — как это по-вашему? — от сотрясения мозга. Да убережет меня Бог от Святого Грааля во веки веков.

— Расскажите нам все с самого начала.

— Сначала?

Его удивило, что дяде все это так интересно.

— Оно ведь, больно долго придется рассказывать.

— Все равно, расскажите.

— Принесите сэру Гавейну какого-нибудь питья, — сказала Королева. — Присядьте, сэр. Добро пожаловать домой. Устраивайтесь поудобнее и расска-

жите нам вашу историю, если вы не слишком утомлены.

— Чего там утомлен, — башка вот только трещит. Но рассказывать я могу. Спасибо, мадам, предпочитаю виски. Так, постойте-ка, с чего же оно началось?

Владетель Оркнея сел и погрузился в воспоминания.

— Когда мы выехали из замка Вогон... Помнится вроде мы все в первый день прискакали в Вогон, а наутро разъехались, так, что ли? Ну да, и как выехали мы из него, я и поскакал на северо-запад. Все едино ведь было, куда скакать. За день до того, как нам расстаться, Ланселот что-то такое всем нам рассказывал, будто Король Пеллес упоминал однажды при нем про священную посудину, которая хранится в одном из его укрепленных замков. Он вроде не так уж и настаивал, будто это какая-то важная штука, но утверждал, что вещь дорогая. Ну, половина рыцарей и двинулась в ту сторону, но я не стал забивать себе этой посудиной голову. Я поскакал на северо-запад.

И он сделал добрый глоток.

— Первым, на чьи следы я напал, — сказал сэр Гавейн, — был Галахад. И показал себя этот малый высокомерным и неучтивым мужланом.

— Этот парнюга, — продолжал сэр Гавейн, делая новый глоток и понемногу разогреваясь, — этот лилейный вьюнош — самый законченный катамит, какой когда-либо отравлял своим зловонием Божий свет и какого мне, на мою беду, довелось нюхнуть, — вот кто он таков, и тут даже спорить не о чем!

— Он что же, сшиб вас с коня? — спросил Король.

— Да нет. Это уж после. А я на его следы напоролся в самом начале.

— Вырос в бабьем монастыре, — гневно продол-

жил он, — посреди целой оравы старых клуш! До меня то и дело доходили от разных людей, которые на него нарывались, вести о том, как он занимается своими поисками, — благочестивый молокосос с сердцем безжалостного коршуна... Хотя, с другой стороны, что с малого взять — англичанин. Сунулся бы он к шотландцам, его бы враз прирезали.

— А может, уж и прирезали, — заключил он, пораженный внезапно пришедшей мыслью.

— Так что же дурного совершил сэр Галахад?

— Да уж совершил. Он, видите ли, вегетарианец и спиртного в рот не берет и уверяет всех, будто он девственник. Но я встретил сэра Мелиаса, — вы знаете, что его здорово изувечили? Он мне много чего порассказал о повадках Галахада. Мелиас невесть по какой причине привязался к этому невеже и попросил у мальчишки разрешения сопровождать его. Чего ради он с ним спутался, я и представить себе не могу, потому что первым, кто попросился Галахаду в попутчики, был сэр Увейн. И ему-то сэр Галахад отказал! Сэр Увейн для него оказался недостаточно хорош! Ну ладно, к Мелиасу он снизошел, да вдобавок и в рыцари его посвятил! Да дьявол забери мою душу — чтобы восемнадцатилетний оболтус еще кого-то в рыцари посвящал! Да, так посвятил он Мелиаса и говорит вот прямо такими словами: «Ну, любезный сэр, — говорит, — раз вы происходите от королей и королев, так уж, верно, рыцарского звания не уроните, ибо вам надлежит быть зерцалом рыцарства». Как это, по-вашему, называется, а? Ах ты ж южный сноб! Дальше больше, поехали они искать приключений, да и наехали на распутье, и захотел сэр Мелиас поскакать налево. А Галахад и говорит: «Лучше бы вам не ехать этим путем, ибо думается мне, я легче избегну на нем опасностей, нежели вы». Наш красавчик Галахад от избытка ложной скромности,

понимаете ли, не страдает, верно? Мелиас-то все же налево поехал, да только ему там не поздоровилось, наскочил на него, как и предсказывал Галахад, какой-то таинственный рыцарь и продырявил ему кольчугу насквозь. Ну, лежит он там при последнем издыхании, с обломком копья в боку. Так его, раненого, и обнаружил великий Галахад, и не нашел ничего умнее, как сказать: «Вот видите, лучше было бы вам ехать другой дорогой!» Сказать «говорил же я вам» человеку, который без малого помер, вот же милый ребенок! И помощи никакой ему не оказал.

— Что же дальше приключилось с сэром Мелиасом?

— Он ответил Галахаду: «Сэр, теперь пусть приходит смерть, коли будет на то Его воля». И с этими словами взял да и выдернул из себя обломок копья. Мелиас рыцарь добрый, и мне приятно сообщить вам, что он еще жив.

Артур промолвил:

— Что ж, Галахад всего только мальчик! Возможно, это у него возрастное. Не думаю, что нам следует строго судить его за мелкие промахи в общении с людьми.

— Да знаете ли вы, что он на отца своего напал и сбросил его с коня? Знаете вы, что он позволил родному отцу встать перед ним на колени и просить благословения? Что люди выпрашивали разрешения умереть у него на руках и он позволял им это, оказывал такую любезность?

— Что ж, возможно, это и было любезностью.

— А, дьявол! — воскликнул Гавейн и сунул нос в кубок.

— Но что же вы нам о себе совсем не рассказываете?

— Первое приключение, которое мне довелось испытать — да по правде сказать, едва ли и не един-

ственное, — случилось у Девичьего Замка. Вот только не хочется мне о нем рассказывать в присутствии Королевы.

Артур с некоторой холодностью произнес:

— Моя жена, сэр Гавейн, не дитя и не дурочка. Обычай этого Замка известен каждому.

Гвиневера воспитанно вымолвила:

— По-французски он называется droit de seigneur[1].

— Ну тогда что же, ну, приехали мы к Девичьему Замку с Увейном и сэром Гаретом. А обороняли тот замок семь рыцарей, они-то и блюли этот обычай. Мы натолкнулись на всех семерых в окрестностях замка, были они во всеоружии, мы с ними славно посражались и всех их перебили. Только это мы с ними покончили, как вдруг выясняется, что Галахад-то нас опередил. Оказывается, он их выгнал из замка, а сам и поныне внутри. Нам, выходит, выпала роль мясников, мы прикончили дичь, которую не сами загнали.

— Не повезло.

— Галахад же быстренько смылся, а с нами и разговаривать не стал. Получилось, вроде, что мы порочны, а он блажен. Что там было после, не помню.

— Вы отправились дальше с Увейном и Гаретом?

— Нет, после Девичьего Замка мы расстались. Я ехал, ехал, пока не увидел хижину отшельника, а в ней святого старца. Из этих, знаете, которые все норовят кого-нибудь спасти. Первое же, чего он от меня потребовал: «Желаю, — говорит, — знать о счетах ваших с Господом Богом». А я попросил приютить меня на ночь. Ну, ладно, он все же был там хозяин да еще и служитель Божий, так что когда он начал приставать ко мне, чтобы я исповедался, я отказываться не стал. Он и понес какую-то жуткую

---

[1] Право первой ночи.

чушь насчет этих семи рыцарей — они-де не кто иные, как семь смертных грехов, — а мне спокойно так объявил, что я великий убивец.

— А он не сказал вам, — заинтересованно осведомился Король, — что людей вообще ни по какой причине убивать не следует, и особенно когда взыскуешь Святого Грааля?

— Забери мою душу дьявол, коли он этого не сказал! Он мне целую проповедь прочел, что вон Галахад-то отпустил всех семерых, не прикончив, и что будто Святого Грааля кровопролитием не достигнешь.

— И что еще он сказал?

— Да я и не помню. Наговорил мне комплиментов, про которые я вам уже рассказал, а потом говорит, что надлежит-де тебе искупить твои грехи. Говорит, покамест человек как положено не покается и не получит честного отпущения, нечего и Святой Грааль искать. Ну, тронутый. У странствующего рыцаря положение такое, что ему никаких искуплений не требуется, — я ему это в два счета объяснил — рыцарю каяться, все едино, что батраку поститься. В общем, наплел я ему чего-то и поехал себе дальше. Потом встретил я Агловаля с Грифлетом... А потом-то что, что же потом? Помню, ехал я с ними четыре дня... Ну да, а потом мы с ними разъехались, и поглоти меня мрак, если я до самого Михайлова дня не разгуливал без единого приключения!

— Правду сказать, — прибавил Гавейн, — в Англии последнее время никаких приключений не сыщешь. Гиблое какое-то место.

— Принесите сэру Гавейну еще выпить.

— Стало быть, настал Михайлов день, а уж после него повстречался я с сэром Эктором Окраинным. И ему не везло, в точности как мне! Наехали мы с ним на крохотную часовню, выпили малость и завалились спать — и обоим нам в ту ночь приснился один и

тот же сон. Рука какая-то в парче, на руке узда, а в кулаке свечка. И некий голос вещает, что вот их-то нам и недостает. Я после повстречал еще одного святого отца, так он мне объяснил, что узда означает воздержание, а свеча веру, и вроде нам с Эктором их ну никак не хватает. Сами знаете, дай человеку сон толковать, так он его наизнанку вывернет. А потом случилась со мной злая напасть из тех, что преследовали меня все это время. Повстречали мы оба моего двоюродного брата сэра Увейна и не признали его, потому что был он с покрытым щитом. Эктор уступил мне первую стычку с ним, с моим же сородичем, и я честно пробил ему грудь копьем. Бригантина у него оказалась слабовата.

— Так Увейн погиб?

— Ваша правда, погиб. Просто черное невезение, вот что меня одолело.

Артур откашлялся.

— Я бы сказал, что Увейну, да упокоит Господь его душу, не повезло еще больше вашего, — сказал он. — Возможно, вам и вправду неплохо было с самого начала послушаться того отшельника.

— Да не хотел же я его убивать! Ведь он приходился Оркнейцам двоюродным братом. И подумать только, что этот южный буквоед с белым щитом с самого начала не пожелал ехать с ним вместе!

— Это вы о Галахаде? А какая эмблема была у него на щите?

— О Галахаде, о ком же еще! Не было у него никакой эмблемы. Он где-то разжился щитом, который, как он уверял, принадлежал еще Иосифу Аримафейскому. Щит весь серебряный с красным крестом посередке. Серебро, по его словам, означает белизну непорочности, а крест — Грааль... Да, так о чем я рассказывал?

— Вы только что убили Увейна, — терпеливо сказал Артур.

— Доскакали мы с Эктором еще до одного отшельника, он-то нам и объяснил насчет уздечки. Вегетарианец, можете быть уверены! И этот тоже завел старую песню насчет убийств да стал требовать от нас покаяния. Ну, мы извинились и вон из дверей.

— Он, стало быть, сказал, что никому из вас нет удачи оттого, что вы ищете лишь чьей-либо погибели?

— Сказал, а как же! Он сказал, что Ланселот не нам чета, потому как редко убивал противника, а в этом Поиске и вовсе никого не убил. И еще сказал, что многие иные рыцари, — Эктор сам повстречал таких десятка два, — через грехи свои оказались в одном положении с нами. Сказал, что человекоубийство противно нашему Поиску. В общем, мы с ним обменялись речами и смылись, пока он еще толковал о своем.

— А потом?

— А потом приехали мы в один замок, Эктор и я, а там славный турнир и в самом разгаре. Ну, мы присоединились к нападающим, отлично так посражались, и только-только оставалось нам что пробиться вовнутрь замка, как объявился Галахад. Господь Всемогущий ведает, каким дурным ветром его принесло. Похоже, он не одобряет рыцарей, которые бьются просто так, ради забавы. Он и присоединился к тем, что обороняли замок, отогнал нас прочь и наградил меня вот этим.

Гавейн притронулся к повязке.

— Эктор-то с ним биться не стал, — пояснил он. — Они же сродичи. А я все равно с ним сразился и не шибко много на этом выгадал. Он меня так саданул, что разнес и шлем, и железный наглавник, да еще меч соскользнул и убил подо мной коня. Тут для меня, клянусь Христом, все и закончилось. Я больше месяца провалялся в постели.

— И потом отправились домой?

— Ваша правда, домой.

— Да, особых удач вам не выпало, — сказала Королева.

— Удач!

Миг-другой Гавейн смотрел в пустой кубок. Потом вдруг оживился.

— Я же еще Короля Багдемагуса пришиб, — сказал он. — Вы об этом не слышали. Забыл рассказать.

Артур, внимательно слушавший рассказ Гавейна, теперь погрузился в собственные мысли. Он сделал нетерпеливый жест.

— Идите спать, Гавейн, — сказал он. — Вы, должно быть, устали. Ложитесь в постель и обдумайте все, что с вами случилось.

29

Следующим прибыл сэр Лионель, один из двоюродных братьев Ланселота. У Ланселота был родной брат по имени Эктор и двое двоюродных — Лионель и Борс. Лионель, подобно Гавейну, был сердит, но изливалось его раздражение не на Галахада, а на родного брата, на Борса.

— Приверженность нравственным правилам, — объявил Лионель, — это сущая разновидность безумия. Дайте мне нравственного человека, упорствующего в том, чтобы всякое дело его было правым, и я покажу вам такую кашу, из которой и ангелу не выбраться.

Король с Королевой привычно сидели бок о бок в ожидании рассказа. У них образовался уже обычай приносить в Главную Залу, едва возвращался кто-либо из рыцарей, все потребное для подкрепления сил, так что, пока рыцарь ел, они могли выслушивать привезенные им известия. Свет падал на стол между ними, проходя через высокое витражное окно, и руки их двигались среди тарелок и кубков, казавшихся рубиновыми и изумрудными или полными яркого пламени. Их окружал волшебный мир самоцветов, точно они сидели на прогалине среди деревьев с драгоценной листвой.

— А что, Борс обзавелся нравственными правилами?

— Да у Борса они всегда были, черт бы его побрал, — ответил Лионель. — Как видно, это в нашей семье наследственное. И с Ланселотом-то беды не оберешься, но Борс его по всем статьям обошел. Известно ли вам, что Борс за всю свою жизнь лишь однажды имел дело с женщиной?

— Правда?

— Да-да, правда. А что касается до Поисков Святого Грааля, так он, похоже, воспринимает их как углубленный курс католической догматики.

— Вы хотите сказать, что он предается ученым занятиям?

Лионель немного смягчился. В душе он любил брата, но выпавшие ему испытания примешали немало горечи к их отношениям. Ныне, когда у него появилась возможность рассказать об этих испытаниях и обдумать их, ему открылась иная грань размолвки с братом.

— Нет, — сказал он. — Не воспринимайте мои речи слишком всерьез. Борс милейший человек, и если из нашей семьи суждено выйти святому, так им будет Борс. У него не слишком светлая голова, и он порой не чужд педантизма, но некоторые его догадки — чистое золото. Сейчас я верю, что во время поисков Бог испытывал его, и я не знаю, насколько он эти испытания выдержал. Я пытался его убить.

— Вы лучше расскажите нам всю историю с самого начала, — сказал Артур, — а то нам трудно понять, как что случилось.

— В моей-то истории ничего интересного нет. Я все это время проваландался попусту, как Гавейн, встретился с несколькими отшельниками, они меня обозвали убийцей. Я вам лучше расскажу историю Борса, потому что в ней и я принял участие.

— Насколько я понимаю, — начал рассказывать Лионель, — Бог подверг Борса искусу. Как если бы его ожидало рукоположение, и нужно было выяснить, насколько он тверд в вере. И знаете, когда, по-моему, сбились с истинного пути Гавейн, я сам, Эктор и все остальные? В самом начале, и все потому, что мы к исповеди не сходили. Борс-то сходил, в первый же день, и покаянный обет принял. Он обязался ничего в рот не брать, кроме воды и хлеба, носить особое облачение и спать на голом полу. Ну и, разумеется, никаких дам, хотя, с другой стороны, у него, кроме одного разика, никаких дам и не было.

В том-то и беда его. Да, так вот, первое, что с ним произошло после того, как он привел свою жизнь в порядок, — у него начались видения. Видел он пеликана во всем его благочестии, и лебедя, и ворона, и сгнившее дерево, и некие цветы. Все они были как-то связаны с теологией, он мне все объяснил, да я не запомнил. Затем появилась некая дама и стала умолять, чтобы он спас ее от рыцаря по имени сэр Придам. Спас он ее без особенных трудностей и имел при этом возможность прикончить сэра Придама. Заметьте. Он рассказывал мне свою историю после нашей стычки и все твердил, что это и было его первым искусом. Он говорил, что ощущал себя лошадью, напоказ берущей каждый раз все более сложное препятствие, и боялся, что стоит ему один раз споткнуться, как его тут же и завернут обратно в конюшню. Убей он сэра Придама, всему пришел бы конец. Его отпустили бы снова пастись на травке, как поступили с Гавейном и со всеми нами. Он рассказывал, что никто ему этого не объяснял, просто перед ним вдруг появлялось очередное препятствие, и казалось, будто кто-то за ним наблюдает, кто-то такой, от кого не дождешься ни помощи, ни подсказки, — просто наблюдатель, интересующийся, одолеет он препятствие или нет. Так вот, Придама он не убил. Он только орал ему, чтобы тот сдавался, и лупил плашмя мечом по физиономии, пока Придам не запросил пощады. Так что это препятствие он благополучно взял. Не кажется ли вам, Король, что во всем этом Поиске присутствовало нечто, противившееся человекоубийству? Что-то такое сверхъестественное, нет?

— Мне кажется, — ответил Король, — что вы мудрый человек, Лионель, даже если вы и пытались убить вашего брата. Но продолжайте рассказывать.

— Ну что же, следующее испытание было непосредственно связано со мной. Из-за него я и пытался Борса убить. Теперь-то я сожалею об этом, я вот

только сию минуту и понял, что сожалею. Но тогда я ничего не понимал.

— В чем же состояло второе испытание?

— Мы с Борсом, как вы знаете, всегда относились друг к другу по-доброму. Эта ссора — пустяк. По-своему мы друг друга любили, и вот, когда Борс ехал по лесу, перед ним предстали вдруг сразу две картины. Во-первых, он увидел меня, голого и привязанного веревками к кляче, с двумя рыцарями по сторонам, которые стегали меня терниями. Во-вторых, он увидел девицу — она ехала на коне и ехала, надо сказать, далеко не шагом, а за ней мчался галопом рыцарь, намереваясь лишить ее девства. Двигались эти две кавалькады в разные стороны, а Борс-то ведь был один.

— Как подумаешь, — с прискорбием заметил сэр Лионель, — не везет мне с этими терниями. Сэр Таркин уже однажды сек меня ими.

— И кого же выбрал Борс?

— Борс решил спасать девственницу. Когда я потом, во время нашего поединка, спросил его, какого дьявола он бросил на погибель родного брата, он объяснил мне, что, по его тогдашнему разумению, я был презренным грешником, хоть он меня и любил, а девственница это все-таки девственница. Вот он и решил, что его долг — спасти лучшего из нас. Потому-то я и пытался его убить.

— Правда, теперь, — прибавил Лионель, — я в состоянии понять, что определенный здравый смысл в его решении присутствовал. Я понимаю, что это было вторым испытанием, и понимаю, какого труда ему это решение стоило.

— Бедный Борс. Надеюсь, в итоге им не овладела гордыня?

— Им овладело смирение. Эти испытания просто-напросто возникали перед беднягой, и ему приходилось действовать наугад, к тому же всякий раз считая, что догадка его неверна, а выходил он из испытаний совершенно сбитым с толку и только тогда

обнаруживал, что угадал верно. В общем, пришлось ему попотеть, выбирая наилучшее решение.

— А в чем состоял третий искус?

— С каждым разом они становились все тяжелее. На третий раз явился ему человек в церковном одеянии и сказал, что в замке неподалеку обитает некая дама, каковой суждено умереть, если только Борс ее не полюбит. Этот предполагаемый священник указал ему на то, что он уже пожертвовал жизнью брата, то есть моей, ошибочно отдав предпочтение девственнице, и что если он теперь не согрешит с этой новой дамой, у него на совести будет еще одна погубленная жизнь. Я не сказал, что те двое рыцарей бросили меня, сочтя мертвым, и когда Борс меня отыскал, я мертвым и выглядел, так что он отвез мое тело в обитель, чтобы меня там похоронили. Потом я, конечно, оправился.

— Ну так вот, в замке действительно оказалась дама, как и уверял ложный священник, и она подтвердила все, что тот говорил. Она сказала, что над ней тяготеет волшебное заклятие, из-за которого ей предстоит умереть от любви, если только мой брат не сжалится над нею. Тут-то Борс понял, что ему предстоит либо совершить смертный грех и спасти даму, либо отказаться его совершать и предоставить даме умереть. Он мне потом рассказывал, что припомнил какие-то обрывки из грошового катехизиса и проповедь, которую слышал, когда в Камелот как-то заехали миссионеры. И он решил, что за поступки дамы он не ответчик, а вот за свои отвечать придется. Так что даме он отказал.

Гвиневера хихикнула.

— Но этим дело не кончилось. Дама была ослепительно прекрасна, и вот она, а с нею еще двенадцать дам, красивых и благородных, влезла на самую высокую башню своего замка и давай кричать, что если он не пожертвует своей чистотой, то все они попрыгают вниз. Она уверяла, что заставит их спрыгнуть. От него, говорит, только и требуется, что провести с

ней одну ночь — да к тому же приятную — и тем спасти благородных дам. И все они принялись взывать к Борсу, молить его о пощаде и скорбно рыдать.

Положение, должен сказать, сложилось весьма затруднительное. Бедняжки были так напуганы, такие были хорошенькие, а от него только и требовалось, что не упрямиться, дабы спасти им жизнь.

— И как же он поступил?

— Он позволил им прыгнуть.

— Позор! — вскричала Королева.

— О, разумеется, они оказались попросту сборищем всяческой нечисти, и только. Башня перевернулась кверху тормашками и мгновенно исчезла, тут-то и выяснилось, что он все это время беседовал с нечистью, включая сюда и священника.

— Мораль, насколько я понимаю, — сказал Артур, — состоит в том, что не должно впадать в смертный грех, даже если от этого зависит спасение двенадцати жизней. На мой взгляд, с догматической точки зрения это утверждение весьма основательно.

— Насчет догматов я ничего сказать не могу, а вот брат мой едва не поседел, это я знаю.

— К чему у него имелись все основания. А в чем состояло четвертое испытание, если было четвертое?

— Четвертым испытанием, и это было последнее из препятствий, оказался я. Я кое-как оклемался у святых отцов, которых он просил похоронить меня, и как только достаточно окреп, отправился разыскивать брата. Мне стыдно теперь говорить об этом, — и кстати, я должен буду испросить вашего прощения за некоторые из моих поступков, — но, если вдуматься, когда родной брат бросает тебя на верную смерть, это как-то уж слишком. Это ведь не пирожок с полки украсть, да и не знал я в то время ничего приключившегося с Борсом, но помнил, что в аккурат перед тем, как лишиться сознания, я видел его бросающим меня на произвол судьбы — так что, допускаю, рассудок мой терзали злые мысли. В сущности, я жаждал его смерти.

Борса я нашел у часовни в лесу и сразу объявил ему, что намереваюсь его убить. Я сказал ему: «Я обойдусь с тобою, как с предателем и подлецом, ибо ты — недостойнейший из рыцарей, вышедших из столь славного дома». Но Борс отказался сражаться. Я говорю: «Если ты не станешь сражаться, я убью тебя прямо как ты стоишь там на земле». А Борс отвечает, что не может сражаться с собственным братом. Дескать, ему, взыскующему Святого Грааля, и обычных-то людей убивать не дозволено, как же может он убить родного брата? А я говорю: «Какое мне дело до того, что там тебе дозволено или не дозволено? Если хочешь защищаться, я стану биться с тобой, а нет, я тебя так убью». Я был в ярости. Борс же опустился на колени и просил меня смилостивиться.

— Теперь-то я понимаю, — продолжал он, — что Борс был вправе поступать именно так. Он хотел отыскать Грааль и оказался приписанным к подразделению по борьбе с убийствами, я же был его братом. И вел он себя, вообще говоря, отважно. Но в ту пору я ничего этого не понимал. Мне казалось, что он просто упрямится, и не дожидаясь, пока он встанет с колен, я сшиб его наземь вверх ногами. И вытащил меч, чтобы отсечь ему голову.

С минуту Лионель просидел молча, глядя в стоявшее перед ним блюдо, в котором покоилась яйцевидная лужица света, окрашенная витражом в рубиновые тона.

— И знаете, — сказал он, — придерживаться правил и догм дело очень почтенное, пока оно касается только вас, но что делать, когда в ту же самую кашу попадают другие люди? Я так понимаю, что для Борса преклонить колени и позволить мне убить его было поступком вполне логичным, да только тут из часовни выскочил отшельник и упал прямо поперек тела моего брата. Он сказал, что собирается любой ценой оградить меня от братоубийства. И я убил отшельника.

— Убили беззащитного человека?

— Вы не представляете себе, Король, как я сожалею об этом, но такова правда. Я был вне себя от ярости, этот малый мешал мне добраться до Борса, а я человек простой и привык действовать не раздумывая. Они пытались помешать мне, они словно бы вооружились против меня нравственными принципами, а я использовал против их оружия свое. По тогдашним моим ощущениям, Борс противостоял мне, прибегая к бесчестным средствам, и отшельник ему помогал. Мне представлялось, что Борс норовит навязать мне свою волю. Если бы ему захотелось спасти отшельника, что ж, стоило лишь перестать упрямиться и сразиться со мной. Вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Мне казалось, что отшельник это его забота, а не моя.

— Боюсь, я просто взбесился, — помолчав немного, признал сэр Лионель. — Знаете, накатывает иногда такое. Я желал биться с ним и намеревался настоять на своем. Я сказал ему, что убью его, если он не станет сражаться, и я бы его убил. Вы знаете, как это бывает, — все равно как когда на кого-нибудь дуешься.

Некоторое время в зале стояло неловкое молчание.

— Наверное, мне лучше закончить рассказ, — смущенно вымолвил сэр Лионель.

— Продолжайте.

— Так вот, Борс не помешал мне убить отшельника. Он просто лежал на земле и взывал к моей любви. Я же к этому времени совсем обезумел, частью и от стыда, и поднял меч, чтобы немедля, прямо на месте, отсечь моему брату голову, как вдруг откуда ни возьмись выскочил сэр Колгреванс Горский. Он бросился между нами и стал стыдить меня за то, что я намереваюсь пролить кровь нашего отца. Это уж оказалось последней соломинкой, тем более что все вокруг было залито кровью отшельника, и вместо Борса я бросился на Колгреванса. Через несколько

минут ему только и оставалось, что надеяться на пощаду.

— А что делал Борс?

— Бедняга Борс. Я не хочу и думать о том, какие он в ту минуту испытывал чувства. Понимаете, он увидел перед собой очередное препятствие, и все, что ему следовало сделать, — это отступиться от него и тем не погубить еще одну жизнь. Он ведь уже пожертвовал жизнью отшельника, и, судя по всему, из одного лишь упрямства, а теперь я собирался убить ни в чем не повинного Колгреванса, который пытался ему помочь. Да тут еще Колгреванс с плачем взывал к нему: «Вставайте, помогите мне, сэр Борс. Неужели вы допустите меня погибнуть здесь из-за вас?»

— Пассивное сопротивление, — с острым интересом произнес Артур. — Совершенно новое оружие. Правда, пользоваться им, похоже, непросто. Продолжайте, пожалуйста.

— Ну что же, я убил Колгреванса в честном бою. Сожалею, но это так. А затем повернулся к Борсу, чтобы закончить начатое. Он держал над головою щит, но не противился мне.

— И что же случилось?

— Бог явился, — торжественно произнес молодой человек. — Он явился и встал между нами, и ослепил нас, и щиты у нас занялись огнем.

Последовала долгая пауза — Артур переваривал первое известие о том, на что он рассчитывал или чего опасался.

— Понимаете, — сказал Лионель, — Борс молился.

— И пришел Бог?

— Что это было в точности, я не знаю, но солнце вдруг вспыхнуло на наших щитах. Что-то определенно произошло. Мы вдруг забыли о драке и рассмеялись. Я увидел, что Борс — идиот, а он поцеловал меня, и мы помирились. Потом он рассказал мне свою историю, ну вот как я вам сейчас, и уплыл на волшебном корабле, обтянутом белой венецианской пар-

чой. Борс отыщет Грааль, если это вообще кому-либо удастся, моя же история на этом кончается.

Они посидели молча, не находя в себе смелости рассуждать о духовных материях, и наконец сэр Лионель заговорил в последний раз.

— Борсу-то хорошо, — сказал он, словно бы жалуясь, — а как же отшельник? И как насчет сэра Колгреванса? Их-то Бог почему не спас?

— Догматы веры вещь непростая, — сказал Артур.

А Гвиневера добавила:

— Мы же не знаем, что у них в прошлом. Смерть от вашей руки не повредила их душам. Возможно, такая смерть их даже спасла. Быть может, Бог послал им подобную смерть потому, что для них она самое лучшее.

30

Третьим из рыцарей, вернувшихся с важными сведениями, стал сэр Агловаль. Он появился уже под вечер, когда рубины оставили стол и всползли на стену. Агловаль был не достигшим двадцатилетия юношей с чувством юмора и с ясным, благородным лицом. Он все еще пребывал в трауре по отцу, Королю Пеллинору, обозначая траур черной лентой, которую носил на левой руке. Во всяком случае, Артур с Гвиневерой считали, что это траур по отцу. На деле же, с тех пор, как они в последний раз виделись с ним, умерла и его мать. Он принес также известие о кончине сестры, ибо почти над всей семьей Пеллиноров тяготела злая судьба.

— Гавейн здесь? — спросил Агловаль. — А где Мордред с Агравейном?

Он оглянулся так, словно и впрямь надеялся увидеть их в Зале. Цветной луч света падал над его головой на маленький простенький гобелен с изображением неких травящих вепря рыцарей в кольчугах и расписных шлемах с наносниками.

Артур ответил:

— Все они здесь, Агловаль. И все мое благоденствие ныне в ваших руках.

— Я понимаю.

— Вы намереваетесь их убить?

— Я приехал, чтобы сначала убить Гавейна. Это странно звучит — после поисков Святого Грааля.

— Агловаль, вы вправе отмстить Оркнейцам, и я не стану вам препятствовать, если вы попытаетесь. Но я хочу, чтобы вы понимали, что делаете. Ваш отец убил их отца, а брат ваш спал с их матерью. Нет, не надо объяснений, позвольте мне просто напомнить вам факты. Затем Оркнейцы убили ваших

отца и брата. Ныне вы собираетесь убить одного из Оркнейцев, а сыновья Гавейна убьют выших сыновей, и так оно дальше и пойдет. Таков закон Севера. Я же, Агловаль, пытаюсь дать Британии новый закон, по которому людям не придется вечно проливать кровь юношей. Вы не думали о том, насколько тяжек может быть для меня этот труд? Знаете, есть такая пословица: зло за зло — добра не будет, и я с ней согласен. Я мог покарать Оркнейцев за смерть вашего брата. Я мог отрубить им головы. Вы хотели бы, чтобы я это сделал?

— Да.

— Возможно, мне и следовало так поступить.

Артур помолчал, уставясь себе на руки, у него была привычка разглядывать их, когда он попадал затруднительное положение.

Затем он сказал:

— Жаль, что вам не пришлось понаблюдать за Оркнейцами, когда они у себя дома. В их семье счастье гостило нечасто, не то что в вашей.

— Вы думаете, что счастье теперь частый гость в нашей семье? — спросил Агловаль. — Вам известно, что матушка скончалась несколько месяцев назад? Отец звал ее Свинкой.

— Простите, Агловаль. Мы не имели об этом вестей.

— Люди часто посмеивались над отцом. Я знаю, он не отличался грозным характером. Но, наверное, он был очень хорошим мужем, не правда ли, если после его кончины матушка умерла, не выдержав одиночества? Она не умела копаться в своих чувствах, Король, и тем не менее истаяла после того, как Оркнейцы убили отца и Ламорака. Теперь она лежит в одной с ними могиле.

— Агловаль, вам должно поступить так, как вы считаете нужным. И я знаю, что, будучи истинным Пеллинором, вы поступите правильно. Я не прошу вас оказать мне услугу. Но позвольте мне упомянуть о трех обстоятельствах. Прежде всего ваш отец был самым первым рыцарем, пленившим мою душу, и тем

не менее я не покарал Гавейна. Затем: все Оркнейцы обожали свою мать. Она внушила им любовь, слишком сильную, сама же любила только себя. И наконец третье, — прислушайтесь к этому, Агловаль, — третье состоит в том, что королю надлежит прибегать лишь к наилучшим орудиям.

— Боюсь, что третьего я не понял.

— Как по-вашему, — спросил Артур, — есть что-либо достойное в распрях? Способны они принести счастье двум вашим семьям?

— Строго говоря, нет.

— Если я собираюсь искоренить закон, порождающий распри, добьюсь ли я хоть какого-то прока, взывая к Гавейну и подобным ему?

— Я понял.

— Какое благо сотворил бы я, казнив все семейство Оркнейцев? У нас лишь осталось бы для продолжения наших трудов на три рыцаря меньше. И ведь прожитые ими жизни счастливыми не назовешь. А потому, Агловаль, как вы сами видите, надеяться мне остается только на вас.

— Я должен все это обдумать.

— Обдумайте. И не принимайте поспешных решений. Меня в расчет не берите. Просто поступите так, как считаете правильным, и тогда, — ибо вы Пеллинор — я уверен, все содеется к лучшему. А теперь расскажите мне о своих приключениях во время поисков Грааля, и забудьте на этот вечер об Оркнейцах.

Агловаль тяжело вздохнул и сказал:

— Что касается меня, никаких приключений не было. Но поиски стоили мне сестры, а быть может и брата.

— Сестра ваша скончалась? Бедный мальчик, а я-то думал, что в монастыре она в безопасности.

— Ее обнаружили мертвой в некоей барке.

— Мертвой в барке!

— Да, в волшебной барке. В руках она держала длинную запись с рассказом о поисках Грааля и о моем брате Перси.

— Мы не причиняем вам боль, задавая вопросы?

— Нет. Я рад рассказать вам об этом. У меня еще остался Дорнар, а Перси, похоже, снискал себе высокую славу.

— Каковы же были деяния сэра Персиваля?

— Быть может, мне лучше пересказать вам ту запись с самого начала.

— Как вам известно, — начал свой рассказ сэр Агловаль, — из членов нашей семьи Перси более всех походил на папу. Он был мягок, робок и несколько нерешителен. Да еще и застенчив к тому же. Когда он повстречался с Борсом в той их волшебной барке, он немного смутился, так рассказывается в записи. Он ведь, подобно Галахаду, был рыцарем-девственником, понимаете? Мне часто приходило в голову, что они с папой удались под пару друг другу. Прежде всего, оба любили животных и умели обходиться с ними. Помните, у папы была Искомая Зверь, а теперь и у Перси, когда он отправился в Поиск, появились друзья, все больше львы. И потом, Перси тоже был доброжелателен и прост. В тот день, когда все они пробовали вытянуть из ножен благословенный меч, — я говорю о тех троих, что взошли на священную барку, — Перси было дозволено попытать счастья первым. Ничего у него, конечно, не вышло, — все достижения этого рода предназначались для Галахада, — но, не справившись с мечом, он просто с гордостью огляделся по сторонам и сказал: «Клянусь моей верой, я потерпел неудачу!» Однако, я забежал вперед.

Запись гласит, что первое приключение случилось с Перси, когда он покинул Вогон и скакал с сэром Ланселотом, пока они не повстречали сэра Галахада. Они сразились с ним, и Галахад сокрушил обоих. Вслед за тем Перси расстался с Ланселотом и отправился к затворнице, чтобы ей исповедаться. От затворницы он получил наставление следовать за Галахадом в Гот или Кербонек, но ни в коем случае с

ним не сражаться. Правду сказать, Перси уже охватило что-то вроде восторженного преклонения перед Галахадом, так что это наставление пришлось ему в самый раз. Перси отправился в Кербонек, и, пробираясь лесом, услышал бой часов в монастырской обители — в ней-то он и повстречал Короля Эвелака, прожившего почти четыреста лет. Насчет Эвелака я вам лучше рассказывать не стану, потому что мне не все тут понятно. Похоже, старик не мог умереть, пока не будет обретен Святой Грааль — вот что-то такое. Но в его историю замешался еще и Король Пеллес, вообще разобраться в этой части записи довольно трудно. Как бы там ни было, невдалеке от Кербонека на Перси напали восемь рыцарей и еще двадцать вооруженных всадников, он с ними сразился, и в самый последний момент на подмогу ему подоспел сам Галахад. К несчастью, под Перси убили коня, а Галахад ускакал, даже не поздоровавшись.

— Знаете, — прерывая свою повесть, сказал Агловаль, — быть может, святость и неколебимость качества и отменные, и за девственность его я к Галахаду тоже не в претензии, но не кажется ли вам, что в человеке должно все же быть хоть что-нибудь человеческое? Я вовсе не желаю злословить, но у меня от этого юноши просто волосы дыбом встают. Почему он не мог хотя бы поздороваться или хоть что-то сказать спасенному им человеку вместо того, чтобы молча ускакать прочь, задрав белый нос в небеса?

Артур ничего не ответил, и молодой человек возобновил свой рассказ.

— Перси, как ему было велено, пытался соединиться с Галахадом, а Галахад умчался, так что бедолаге только и осталось бежать за ним следом и кричать: «Я говорю!» Уж и намучился он, пытаясь одолжить у кого-нибудь коня, и пришлось ему в конце концов трусить по следам Галахада, изо всей мочи погоняя кобылу, принадлежавшую какому-то конюху. Да тут еще вывернулся невесть откуда рыцарь и сшиб его с этой кобылы, — боюсь, не везет

нашей семье по части героического стиля, — и Перси вновь остался пеш, а Галахада ни слуху ни духу. Ну вот, в этот самый миг появилась некая дама — впоследствии выяснилось, что никакая она не дама, а фея, да еще и не из самых порядочных, — и этак сурово спрашивает, что это он тут делает. Перси и отвечает: «Ничего не делаю: ни добра, ни большого вреда, что?» Тогда дама ссудила ему вороного коня, который оказался в дальнейшем чертом и сгинул при весьма волнующих обстоятельствах в тот же вечер, едва Перси на свое счастье осенил себя крестом. К этому времени Перси уже попал в подобие пустыни и там подружился со львом, которого спас от змеи. Как я уже говорил, Перси всегда тянуло к нашим бессловесным собратьям.

Затем явилась к нему другая дама, чрезвычайно обольстительная и благородная, и при полном походном снаряжении, и эта дама пригласила Перси отобедать. Он же к тому времени оголодал — кругом-то все же пустыня, да и к вину он за всю жизнь так и не смог привыкнуть, а потому вечерок у них удался на славу. Боюсь, его малость разобрало, ибо он слишком много смеялся, а под конец совсем распалился и попросил даму — ну, сами понимаете. Дама-то была согласна на все, и все бы у них пошло, как по маслу, да Перси, по счастливому случаю, увидел вдруг крест на рукояти своего валявшегося на земле меча. Он вновь осенил себя крестным знамением, и шатер дамы тут же перевернулся кверху ногами, а дама удрала на стоявший неподалеку корабль, крича и ругаясь, и уплыла, и вода за ее кораблем горела.

Перси было так стыдно и голова у него поутру до того болела, что он в виде наказания пронзил себе мечом бедро. Тогда и появилась священная барка с Борсом на борту, и вдвоем они отплыли туда, куда она их повлекла.

Гвиневера промолвила:

— Если предназначение этой священной барки в

том, чтобы доставлять людей к Святому Граалю, то как в нее попал Борс, я понимаю. Нам известно, что он прошел через ужасные испытания. Но при чем тут сэр Персиваль? Я не хочу показаться вам грубой, сэр Агловаль, но все же не могу сказать, чтобы ваш брат отличился какими-либо деяниями.

— Он сохранил чистоту, — возразил ей Артур. — Он оказался столь же чист, сколь и Борс, а может быть, даже чище. Невинность его была совершенной. Господь сказал нечто о том, чтобы пустили детей приходить к Нему.

— Но он так все запутал!

Артур рассердился.

— Если Бог, как предполагается, милосерд, — резко ответил он, — то я не понимаю, почему бы Ему не разрешить людям не только карабкаться, но и ковылять в Небеса, пусть даже запинаясь на каждом шагу. Продолжайте рассказывать о вашей записи, сэр Агловаль.

— Тут в этой истории возникает моя сестра. Вы знаете, она состояла в монахинях, так вот, когда она принимала постриг, ей было видение, что обрезанные волосы надлежит ей хранить в особой шкатулке. Сестра была ученая женщина, склонная к богословским размышлениям. Примерно в то время, когда Перси и Борс оказались в барке, ей было новое откровение, в коем она получила повеление кое-что сделать. Прежде всего надлежало ей отыскать сэра Галахада.

Сестра нашла его отдыхающим в обители отшельника близ Кербонека, после того как он поверг сэра Гавейна. Она заставила его подняться, облачиться в доспехи, и вдвоем они поскакали к Коллибскому морю, где, миновав укрепленный замок, отыскали благословенную барку с ожидающими их Перси и Борсом. Они поплыли все вместе и плыли, пока не достигли прохода меж двух огромнейших скал — здесь их ждала новая барка. Попасть в нее мог не всякий, ибо имелась на ней надпись, остерегающая

людей от подобных попыток, если только не обладают они совершенной верой, но Галахад с его несносной самоуверенностью ступил на нее, словно это было обычнейшим делом. Остальные последовали за ним и нашли на барке богатое ложе с шелковым венцом в головах и с наполовину вынутым из ножен мечом. То был меч Царя Давида. И еще висели там три веретена, сделанные из дерева, росшего в Райском Саду, и два меча попроще, для Перси и Борса. Главный меч, естественно, предназначался Галахаду. Рукоять его была из дивного камня, чаша на рукояти из ребер двух зверей, называемых Калидон и Эртанакс, а ножны из змеиной кожи, и одна сторона меча была красной, как кровь. Перевязь же на мече была из простой пеньки.

Сестра взяла веретена и принялась за работу, и сплела новую перевязь из своих волос, кои она, согласно полученным наставлениям, сохраняла в шкатулке. Она рассказала им всю историю меча, ставшую ей известной в результате ученых занятий, и как случилось, что веретена были сделаны из дерева, различно окрашенного до самой его сердцевины, и в конце концов препоясала этим мечом Галахада. Она была девственницей, и она укрепила тот меч на девственнике при помощи собственных волос. Затем они возвратились на первую барку и поплыли в Карлайль.

Дорогой в Карлайль довелось им спасти старца, которого какие-то лиходеи держали пленником в его собственном замке. В бою они перебили немало людей, и Перси с Борсом весьма горевали о том, но Галахад уверил их, что убивать некрещеных — самое правое дело, эти же все как раз и оказались некрещеными. И старец, живший в замке, попросил соизволения умереть на руках Галахада, и Галахад милостиво дал ему такое соизволение.

Когда же прибыли они в Карлайль, то был там еще некий замок, принадлежавший даме, пораженной проказой. Лекари объявили ей, что единственное средство

от этой болезни — обмыться из чаши, наполненной кровью целомудренной девственницы королевского рода. Всякому, кто проезжал мимо, люди этого замка пускали кровь, моя же сестра подходила под описание полностью. Чтобы спасти ее, трое рыцарей бились весь день, но под вечер им объяснили причину такого обычая, и сестра сказала: «Лучше одному пострадать, чем двоим». Она решилась отдать свою кровь и остановила сражение, и наутро ей отворили жилы. Перед тем она благословила лекарей, объяснила, как должно отпустить ее в плаванье в барке с этой записью в руке, а там и умерла во время операции.

Сэр Агловаль заглянул к Королю еще раз поздно вечером, когда тот, покончив с привычными уже утешениями и восклицаниями, собирался улечься в постель. В Зале стоял полумрак, свет, напоминавший драгоценные камни, не играл больше на стенах.

— Между прочим, — смущаясь, спросил сэр Агловаль, — вы не могли бы пригласить Оркнейцев завтра отобедать со мной?

Несколько мгновений Артур вглядывался в Агловаля сквозь размывающий все очертания сумрак, а затем на лице его засветилась безудержная улыбка. Он поцеловал Агловаля (к одному из уголков улыбки скатилась слеза) и сказал:

— Вот я и получил нового Пеллинора, теперь мне есть кого любить.

31

А о великом Дюлаке новостей так и не было. Имя его стало магическим, и — где бы он ни пребывал, — согревало всякое сердце, особенно женское. Он и сам обратился в маэстро, и теперь к нему относились так же, как когда-то он относился к дядюшке Скоку. Если вы когда-либо учились летать, если вы прошли когда-нибудь школу великого музыканта или фехтовальщика, вам достаточно будет вспомнить учителя, чтобы понять, что думали о Ланселоте люди, населявшие Камелот. Они бы умерли за него — ради его искусства. А он потерялся.

Медленно стекались в Камелот уцелевшие — Паломид, ныне уже окрещенный, впадающий в смертельную скуку при одном упоминании про Искомую Зверь, постаревший до срока в результате долгого поэтического соперничества с сэром Тристрамом за любовь Изольды Прекрасной; сэр Груммор Груммурсум, теперь уже лысый, как яйцо, подбирающийся к восьмому десятку, умученный подагрой, но по-прежнему отважно взыскующий приключений; Кэй, приметливый и саркастичный; сэр Динадан, подшучивающий над собственными поражениями, хоть и утомленный до того, что ему больших усилий стоило не дать векам сомкнуться; даже престарелый сэр Эктор из Дикого Леса, восьмидесятипятилений и нетвердый на ногу.

С собой они привозили поломанные руки и слухи. Один утверждал, что Галахад, Борс и другой Эктор вместе с какой-то монахиней присутствовали на чудодейственной Мессе. Отправлял ее агнец, коему прислуживали человек, лев, орел и бык. По завершении Мессы агнец прошел через церковное окно с витра-

жом, изображавшим такого же агнца, не нарушив при этом стекла и изобразив тем самым непорочное зачатие. Другой рассказывал, как сэр Галахад одолел диавола, обитавшего в гробнице, как остудил он источник разврата, и как в конце концов рухнул замок дамы, пораженной проказой.

Этим рыцарям в заржавленных латах и с иссеченными щитами доводилось в разных местах встречать Ланселота. Они рассказывали о некрасивом рыцаре, молящемся в доспехах у придорожного креста, об освещенном луной изнуренном лице, прижимающемся во сне к щиту. Говорили они и о делах невозможных: о Ланселоте, сброшенном с коня, потерпевшем поражение, преклонившем колени после того, как его повергли наземь.

Артур задавал вопросы, рассылал гонцов, поминал своего военачальника в молитвах. Гвиневера, пребывающая в опасном расположении духа, с трудом удерживалась на краю пропасти, в которую ее повергло бы неосторожное слово. В любую минуту она могла выпалить или сделать нечто такое, что выдало бы и ее, и ее любовника. Мордред с Агравейном, бывшие среди первых, кто вернулся из Поиска, выжидали, следя за нею блестящими глазками. Они бездействовали, как бездействовал, по рассказам, лорд Берли в совете Елизаветы, или подобно выжидающему коту, который терпеливо следит за мышиной норкой, — присутствие, наблюдение.

Прошел слух о гибели Ланселота. Говорили, что у какого-то брода его сразил черный рыцарь; что он бился на копьях с собственным сыном, который и сломал ему шею; что потерпев пораженье от сына, он вновь обезумел и верхом носился по всей стране вдоль и поперек; что таинственный рыцарь похитил его доспехи; что он сразился с двумястами пятьюдесятью рыцарями сразу, был ими схвачен и повешен, как собака. Образовалась сильная партия, верившая (и не упускавшая случая намекнуть на это), будто

его, сонного, убили и погребли под грудой листвы Оркнейцы.

По двое, по трое, потом по одному приходили последние из уцелевших рыцарей, затем одиночные всадники стали появляться с промежутком в несколько дней. Список погибших и пропавших без вести, составленный сэром Бедивером, начал понемногу преобразовываться в список погибших, по мере того как пропавшие либо возвращались, изнуренные и измученные, либо о гибели их поступали достоверные сведения. В ведомых шепотом разговорах о Ланселоте начал преобладать поминальный оттенок. Почти все любили его, и потому собеседники решались лишь шептаться о его гибели, опасаясь, что, сказав о ней вслух, они обратят ее в истину. Но шептались они о его доброте и замечательной стати, о таком-то и таком-то ударе, нанесенном тому-то и тому-то, о том, с какой грацией переступал он во время боя. Неприметные пажи и кухонные девушки, живо помнившие улыбку или подарок на Рождество, отходили ко сну на влажных подушках, хоть и знали, что великий воин вряд ли удержал в памяти даже их имена. Кэй напугал всех и каждого, когда заявил со всхлипом, что он, Кэй, всю свою жизнь был жалким прохвостом, после чего вышел из комнаты, сморкаясь в платок. Тягостное предчувствие неотвратимой беды нависло над двором.

И Ланселот возвратился, он вышел, мокрый и маленький, из-под грозовой тучи. Он вел в поводу похожую на старый бочонок белую кобылу, уже не способную даже трусить рысцой. За спинами их клубились черные осенние тучи, и тощие ребра кобылы выделялись на их синеве, словно хлопья свинцовых белил. Должно быть, некое волшебство, интуиция, чтение мыслей снизошло на обитателей дворца, ибо еще до того, как он появился, все зубчатые стены замка, и башенки, и подъемный мост Больших Ворот оказались утыканы людьми, ожидающими, вглядывающимися, молча указующими друг другу, куда надо смотреть. Когда завиднелась крошечная фигурка, ус-

тало бредущая среди дальних деревьев ловчего поля, тихий ропот прошел по толпе. То был Ланселот, в алом плаще рядом с белой кобылой. Он уцелел. И еще до того, как было сказано хотя бы слово, каждый знал уже все о его приключениях. Артур метался, словно безумный, упрашивая людей уйти вовнутрь, покинуть стены, оставить человека в покое. Когда Ланселот, наконец, приблизился к замку, не осталось уже никого, кто мог бы ранить его чувства. Лишь стояли настежь Большие Ворота, да стоял в Воротах готовый принять лошадь, согбенный и седовласый дядюшка Скок. Сотни глаз, смотревших из-за оконных завес, увидели, как рука лишенного последних сил человека передала оруженосцу поводья, увидели, как он стоит, опустив голову, которую так и не поднял, увидели, как он повернулся и пошел к своим покоям, как он исчез во мраке лестницы, ведущей наверх, в башню.

Два часа спустя дядюшка Скок предстал перед Королем. Он уже раздел Ланселота и уложил его спать. Под алым плащом, сообщил он, была тонкая белая рубашка, а под ней — жуткая власяница. Сэр Ланселот просил передать следующее: он очень устал и просит у Короля прощения за то, что Королю придется подождать его рассказа до завтра. Тем временем, чтобы не откладывать важной вести, дядюшке Скоку надлежит сказать Королю, что Святой Грааль найден. Его нашли Галахад, Персиваль и Борс — с ним и с телом сестры Персиваля они высадились в Саррасе, что в земле Вавилонской. В Камелот Грааль привезти нельзя. Борс через некоторое время появится, а двое других не вернутся уже никогда.

32

Гвиневера принарядилась для встречи, пожалуй, чрезмерно. Она накрасилась, в чем совсем не нуждалась, и накрасилась неумело. Ей было сорок два года.

Когда Ланселот увидел ее, в ожидании сидящую за столом близ Артура, любовь вырвалась из тесных пределов его сердца и заструилась по жилам. То была давняя любовь к двадцатилетней девушке, гордо стоящей у трона в окружении пленников, присланных ей в дар, но теперь ту же девушку облекали дурно наложенные румяна и шумные шелка, посредством которых она бросала вызов неотвратимой участи всякого человека. Он увидел в ней страстную душу целомудренной юности, ныне одолеваемую сыгранным с юностью издевательским трюком — предательством тела, обращающим плоть в позеленелые кости. Несуразные прикрасы ее показались ему не вульгарными, но трогательными. Та девушка была по-прежнему здесь, еще проглядывая сквозь осыпающуюся оболочку румян. Она противилась времени с отвагой, точно заявляя: не покорюсь. Под неуклюжим кокетством, под этим недостойным нарядом угадывался человек, взывающий о помощи. Недоумевающие молодые глаза говорили: это я, я здесь, внутри, — что же они со мной сделали? Я не поддамся. Некая часть ее души сознавала, что пудра превращает ее в посмешище, и мысль эта была ей ненавистна, и она старалась удержать любовника одними только глазами. Глаза твердили: не смотри на все это. Смотри на меня. Я по-прежнему здесь, в глазах. Посмотри, я в темнице, помоги мне выбраться из нее. А другая часть говорила: я не постарела, это иллюзия. У меня замечательные румяна. Смотри, как я двигаюсь, со-

всем как юная девушка. Я смогу отразить неистовый натиск старости.

Ланселот увидел лишь душу, обреченное и ни в чем неповинное дитя, старающееся удержать безнадежную позицию с помощью жалкого войска помад и оранжевых шелков, которыми она надеялась, Бог весть чего опасаясь, порадовать его. Он увидел

Пигмейский стиснутый кулачок,
Вздернутый к тучам непокорно и рьяно,
Бойца, чьей гордыни не сломит рок,
В схватке с призрачным великаном.

Артур спросил:

— Ты хорошо отдохнул? Как ты себя чувствуешь?

— До чего же мы рады видеть тебя, — сказала Гвиневера. — Как рады, что ты вернулся.

Что до них, то они увидели человека просветленного — вроде того святого, что описан Киплингом в «Киме». Они увидели нового Ланселота, погруженного в безмолвное постижение мира, сошедшего к ним с духовных высот.

Ланселот ответил:

— Я вполне отдохнул, спасибо. Я думаю, вам не терпится узнать о Граале.

— Боюсь, я впал в эгоизм, — сказал Король. — Я пока никому ничего не сказал. Мы позаботимся, чтобы все было записано и помещено в Солсберийский архив. Но мы хотели бы первыми услышать обо всем, Ланс, и чтобы никто нам не мешал.

— Ты уверен, что не слишком утомлен для рассказа?

Ланселот улыбнулся и взял их руки в свои.

— Мне и рассказывать-то особенно не о чем, — сказал он. — В конце концов, ведь не я отыскал Грааль.

— Сядь, позавтракай. Поговорим, когда ты поешь. Ты очень исхудал.

— Хочешь вина с пряностями или лучше немного сидра?

— Я теперь не пью, — сказал он, — спасибо.

Пока он ел, Король с Королевой сидели по сторонам от него и смотрели. Не успевал он подумать о соли, не успевал потянуться за ней, как они уже подносили ему солонку. Он засмеялся, глядя на их серьезные лица, от выражения которых ему становилось не по себе, и чтобы заставить их улыбнуться, сделал вид, будто намеревается окропить Артура водой, которую пил.

— А реликвии вам не нужны? — спросил он. — Могу предложить мои сапоги, они все равно протерлись до дыр.

— Не стоит с этим шутить, Ланселот. Я уверен, что ты своими глазами видел Святой Грааль.

— Даже если так, соль мне подавать не обязательно.

Но они смотрели на него с прежней серьезностью.

Ланселот сказал:

— Прошу вас, поймите. Это Галахада вместе с другими допустили к Граалю. Я допущен не был. Так что не стоит вокруг меня хлопотать, это неправильно, а для меня так даже и обидно. Сколько рыцарей вернулось назад?

— Половина, — ответил Артур. — Их рассказы мы уже слышали.

— Я думаю, вам известно больше, чем мне.

— Мы знаем лишь, что убийц и тех, кто не исповедался, завернули вспять; а ты сообщил, что Галахад, Персиваль и Борс были допущены. Мне рассказывали, что Галахад с Персивалем — девственники, а Борс, хотя, вообще-то, и нет, оказался первоклассным богословом. Я думаю, что Борс избран за веру, а Персиваль — за невинность. О Галахаде же мне почти ничего не известно, не считая того, что всем он не по душе.

— Не по душе?

— Все жалуются, что в нем нет ничего человеческого.

Глаза Ланселота были прикованы к чаше с водой.

— Человеческого в нем мало, — наконец сказал он. — Да и с чего бы? Много ли человеческого в ангелах?

— Я не совсем тебя понимаю.

— Как ты полагаешь, если бы сию минуту сюда явился Архангел Михаил, сказал бы он тебе: «Какая милая нынче погода! У вас не найдется стаканчика виски?»

— Полагаю, что не сказал бы.

— Артур, не сочти мои речи за грубость. Помни, что я пребывал далеко отсюда, в странных и пустынных краях, иногда совершенно один, иногда в ладье, наедине с Богом и звуками моря. Ты знаешь, я как вернулся к людям, так все время чувствую, что понемногу схожу с ума. Не из-за моря, из-за людей. Стоит людям обступить меня, как все, чего я достиг, начинает от меня ускользать. Даже из того, что произносишь ты или Дженни, многое кажется мне ненужным — странные шумы, пустота. Ты понимаешь, о чем я? «Как поживаете?» — «Присядьте.» — «Какая прекрасная погода!» — Что все это значит? Люди слишком много говорят. Там, где я был, и где сейчас Галахад, проявление «хороших манер» это просто пустая трата времени. Манеры нужны лишь в отношениях между людьми, чтобы поддерживать их пустые затеи в рабочем состоянии. Конечно, манеры делают человека, но ведь не Бога же. Так что понять, почему Галахад мог показаться невежливым, бесчеловечным и так далее людям, которые жужжали и стрекотали вокруг него, думаю, можно. Дух его слишком удалился от них, пока он жил на необитаемых островах, в безмолвии, наедине с вечностью.

— Я понимаю.

— Пожалуйста, не сочти меня грубияном. Я пытаюсь описать тебе мои ощущения. Если ты когда-нибудь бывал в Чистилище Святого Патрика, ты наверняка поймешь, о чем я говорю. Когда выходишь оттуда, люди кажутся смешными.

— Я очень хорошо тебя понимаю. И Галахада тоже.

— На самом-то деле он был очень милым человеком. Я-то знаю, мы провели долгое время в одной барке. Но это не означает, что мы непрестанно раскланивались, уступая друг другу лучшее место.

— Пуще всего его невзлюбили те мои рыцари, что тяготеют к мирскому. Да, я понимаю. И все-таки, Ланс, нам не терпится услышать твою историю, не Галахада.

— Да, Ланс, расскажи нам о том, что с тобой было, и предоставь ангелов самим себе.

— Это лучшее, что я могу сделать, — улыбнувшись, сказал сэр Ланселот, — поскольку встретить хотя бы одного ангела мне дозволено не было.

— Начинай же.

— Когда я оставил Вогон, — начал главнокомандующий, — мной владела хитроумная мысль о том, что наилучшим местом для поисков был бы замок Короля Пеллеса...

Он прервался, ибо Гвиневера внезапно дернулась.

— Я не добрался до замка, — мягко сказал он, — потому что в пути меня поджидало несчастье. Случилось нечто, не входившее в мои планы, а потом уж я шел туда, куда меня вели.

— И что за несчастье?

— В сущности, оно и несчастьем-то не было. Просто я получил первый из направляющих пинков, которых было немало и за которые я благодарен. Вы ведь знаете, я много рассуждал о Боге, а это слово, которое оскорбляет неблагочестивых людей почти так же, как слово «проклятье» оскорбляет благочестивых. Как нам тут поступить?

— Ты просто предположи, что мы люди благочестивые, — сказал Король, — и рассказывай дальше.

— Я скакал вместе с сэром Персивалем, и мы повстречали моего сына. Он поверг меня наземь с первой попытки — мой собственный сын.

— Напал врасплох, — быстро сказал Артур.

— Это был честный поединок на копьях.

— Ну, ты же, естественно, не хотел побить собственного сына.

— Я хотел его побить.

Гвиневера сказала:

— Время от времени всякого постигает неудача.

— Я налетел на Галахада со всем искусством, каким владел, и он поверг меня наземь с изяществом, подобного которому я ни разу в жизни не видел.

— В сущности, — прибавил Ланселот с одной из своих добродушных улыбок, — я вправе сказать, что до того ни разу в жизни и не падал с коня. Помню, первое что я почувствовал, оказавшись на земле, это чистейшей воды изумление. И только позже оно обернулось чем-то совсем иным.

— И что же ты сделал?

— Я лежал на земле, а Галахад, который так и не промолвил ни слова, возвышался рядом на коне, и тут появилась женщина, жившая затворницей в хижине, рядом с которой мы бились. Она сделала реверанс и сказала: «Бог да пребудет с тобою, лучший из рыцарей мира».

Ланселот опустил взгляд на стол и шевельнул рукой, словно желая разгладить скатерть. Затем он кашлянул и проговорил:

— Я повернул голову, чтобы увидеть, кто ко мне обращается.

Король с Королевой молча ждали.

Ланселот кашлянул снова:

— Понимаете, я пытаюсь рассказать вам о том, что случилось с моей душой, не о моих приключениях. А тут уже не до скромности. Я знаю, я дурной человек, но я всегда был хорош в обращеньи с оружием. И меня в моей греховности по временам утешала мысль... сознание того, что я — лучший рыцарь мира.

— Так что же?

— Да то, что дама эта не ко мне обращалась.

В молчании они переваривали сказанное, глядя, как вдруг задергался правый уголок его рта.

— К Галахаду?

— Да, — сказал сэр Ланселот. — Глаза этой дамы, минуя меня, смотрели на Галахада, который при этих ее словах удалился неспешным галопом. А вскоре за тем удалилась и дама.

— Какую же гадость она сказала! — воскликнул Король. — Мерзкое, намеренное оскорбление! Ее бы стоило выпороть!

— Она сказала правду.

— Но явиться перед тобой и намеренно сказать такое прямо тебе в лицо! — вскричала Гвиневера. — Да еще после одного-единственного падения...

— Она сказала то, что Бог велел ей сказать. Видите ли, она как раз была из благочестивых. Но я в то время этого не понял...

— Теперь-то благочестия во мне много больше, — прибавил он, как бы оправдываясь, — но в то время я оказался не способным снести случившееся. Я чувствовал себя так, словно из-под меня выбили землю, и в то же время знал, что сказанное ею — чистая правда. И я ускакал от Персиваля, чтобы побыть одному. Он было сунулся ко мне с каким-то предложением, но я ответил только: «Поступайте как знаете». Я скакал без цели, с тяжелой душой, отыскивая место, где сердце мое могло бы разбиться так, чтобы этого никто не увидел. В конце концов — мне уже казалось, что я снова схожу с ума — я набрел на часовню. Понимаешь, Артур, разум мой давно уж терзали многие горести, и мысль о том, что я — прославленный воин, вроде бы умеряла их, пусть и ненамного, а лишившись и этого утешения, я почувствовал, что у меня ничего не осталось.

— Да все у тебя осталось. Ты по-прежнему лучший из воинов мира.

— Самое смешное, что у часовни не оказалось дверей. Не знаю, в чем тут дело, — в моих грехах, или в негодовании по поводу моего поражения, но войти в нее я не смог. Я улегся на щит и уснул, и во сне мне привиделся рыцарь, который явился и

забрал мой шлем, мой меч и коня. Я пытался проснуться, но не сумел. У меня отнимали все мое рыцарское достояние, а я не мог пробудиться, потому что сердце мое наполняли горькие помышления. Некий голос произнес, что не видеть мне больше почета, но я лишь возмутился против этого голоса, и вот, когда я проснулся, все, чем я владел, сгинуло.

Артур, если я не смогу заставить тебя понять, что произошло той ночью, тебе не удастся понять и всего остального. Все мое детство я, вместо того чтобы гоняться за бабочками, потратил на обучение — я учился, желая стать первейшим из рыцарей. Позже я впал в грех, но хотя бы одно у меня оставалось. Я так гордился в душе тем, что меня считают превыше всех остальных. Я знаю, это низкое чувство. Но больше мне было нечем гордиться. Сначала я лишился моего Слова и моих чудес, теперь же, в ночь, о которой я вам рассказываю, меня лишили последнего. Когда я проснулся и обнаружил, что у меня отобрали оружие, меня охватило отчаяние, и я побрел куда глаза глядят. Это было отвратительно, я плакал и изрыгал проклятия. Так они начали ломать меня.

— Мой бедный Ланс.

— Это лучшее из того, что когда-либо случалось со мной. Знаете, утром я вдруг услышал пение птиц, и на душе у меня полегчало. Занятно вот так получить утешение от птичьей стаи. В детстве у меня никогда не хватало времени, чтобы лазить по гнездам. Ты бы, наверное, узнал этих птиц, Артур, но мне их прозвание неизвестно. Там была одна, совсем крохотная, она все задирала хвостик повыше и посматривала на меня. Такая, знаешь, размером не больше колесика на шпоре.

— Это, наверное, крапивник.

— Ну, крапивник так крапивник. Завтра покажи его мне, ладно? Эти птицы заставили меня понять, — поскольку без посторонней помощи мое блуждающее во мраке сердце понять ничего не уме-

ло, — что если меня наказывают, то причиной тому моя собственная природа. То, что случается с птицами, отвечает природе птиц. Они заставили меня понять, что мир прекрасен, если прекрасен ты сам, и что невозможно получать не давая. Да и давать-то следует, не ожидая, что получишь нечто взамен. И я смирился с поражением, нанесенным мне Галахадом, и с утратой оружия и доспехов, и в ту же благую минуту отправился искать исповедника, дабы очиститься от зла и впредь уже не грешить.

— Жаль, что не всем рыцарям, вышедшим на поиски Грааля, хватило разумения сходить к исповеди — сказал Артур.

— Я-то и прежде ходил к ней нередко. И все равно бóльшую часть жизни прожил в смертном грехе. Но на этот раз я исповедался во всем.

— Во всем? — спросила Королева.

— Во всем. Понимаешь, Артур, всю жизнь у меня был на совести грех, о котором я, как мне казалось, не должен был никому говорить, потому что...

— Не нужно рассказывать нам о нем, — сказала Королева, — если это причинит тебе боль. Мы же все-таки не твои исповедники. Довольно того, что ты открылся священнику.

— Оставь ее в мире, — согласился Король. — Как бы там ни было, она родила тебе прекрасного сына, который, похоже, достиг Святого Грааля.

Он подразумевал Элейну.

Охваченный внезапной мукой Ланселот, стиснув кулаки, переводил глаза с одного своего собеседника на другого. Все трое затаили дыхание.

— Итак, я исповедался, — сказал он наконец, и все вздохнули свободно, но голос его был тяжек, — и мне было назначено покаяние.

Он замолк, все еще терзаясь сомнениями, ибо смутно понимал, что в этот миг жизнь привела его на распутье. Все трое сознавали, что именно сейчас перед Ланселотом явилась возможность, если она вообще когда-либо существовала, открыться своему

другу и королю, — но путь ему преграждала Гвиневера, ибо то была и ее тайна.

— В виде покаяния мне надлежало носить власяницу, принадлежавшую некогда одному из известных святых, — в конце концов продолжил он, смирясь с поражением, — а кроме того, не есть мяса, не пить вина и ежедневно выслушивать мессу. Через три дня я покинул жилище священника и поскакал обратно к кресту, стоявшему близ того места, где я лишился оружия. Священник снабдил меня кое-каким на первое время. Ну вот, я проспал ночь у креста и видел еще один сон, а поутру рыцарь, похитивший мои доспехи, возвратился. Мы сразились на копьях, и я вернул свои доспехи. Странно, правда?

— Я полагаю, что на тебя после доброй исповеди снизошла благодать и оттого тебе можно было доверить твою прежнюю мощь.

— Вот и я так полагал, однако сейчас ты увидишь, правы мы с тобой или нет. Я думал, что теперь, когда грех снят с моей души, мне будет дозволено вновь стать лучшим рыцарем мира. И я поскакал, распираемый счастьем, пытался даже что-то такое спеть, — и так попал на широкую равнину, где стоял замок с шатрами и прочим, и пять сотен рыцарей в черном и рыцарей в белом, бились на турнире. Белые брали верх, и я решил присоединиться к черным. Я думал, что раз я прощен, я смогу совершить великие подвиги и оказать помощь слабейшей стороне.

Он замолк и опустил веки.

— Но белые рыцари, — прибавил он, открывая глаза, — очень скоро пленили меня.

— Ты хочешь сказать, что вновь потерпел поражение?

— Я потерпел поражение и бесчестье. Я пришел к мысли, что грехов на мне еще и побольше прежнего. Когда они отпустили меня, я ускакал прочь, кляня все на свете, как в первый вечер, а когда насту-

пила ночь, свалился под яблоню, и плакал, плакал, пока не заснул.

— Но это же ересь, — воскликнула Гвиневера, подобно большинству женщин, изрядно сведущая в теологии. — Если ты принес честную исповедь и исполнил покаянную епитимью, и получил отпущение грехов...

— Я исполнил епитимью, наложенную за один из моих грехов, — сказал Ланселот, — но я забыл о другом. В ту ночь мне снова приснился сон — передо мною явился старец, сказавший мне так: «Ах, Ланселот, слабый верою и порочный душою! Отчего так легко обратилась воля твоя к смертному греху?» Дженни, я всю жизнь прожил в смертном грехе, в худшем из всех. Это гордыня заставляла меня стремиться к званию лучшего рыцаря мира. Гордыня побудила меня напоказ помочь побеждаемым на турнире. Или, если хочешь, назови это тщеславием. А исповедь, принесенная мной во всем, что касалось... что касалось женщины, вовсе не сделала меня достойным человеком.

— Итак, ты потерпел поражение.

— Да, я потерпел поражение. И на следующее утро я отправился к другому отшельнику, чтобы исповедаться снова. На этот раз я постарался как следует. Мне было сказано, что для взыскующего Святого Грааля недостаточно лишь целомудрия и воздержания от убийств. Следует отвратиться от любого тщеславия и гордыни, ибо во время Поиска внушенные ими деяния Господу не угодны. И я отвратился от них и получил отпущение.

— А что было потом?

— Я поскакал к берегам Мортезы и повстречал там рыцаря в черном, который сразился со мной на копьях. И он тоже поверг меня наземь.

— В третий раз!

Гвиневера вскричала:

— Да ведь ты же получил в этот раз полное отпущение!

Ланселот накрыл ее руку своей и улыбнулся:

— Если мальчик крал варенье, — сказал он, — и родители наказали его, он, возможно, раскается в своем поступке и впредь преисполнится добродетели. Однако это не даст ему права красть и дальше, верно? Это не означает также, что ему обязаны варенье подносить. В том, что Бог позволил черному рыцарю сбросить меня с коня, никакого наказания не было, Бог просто лишил меня особого дара одерживать победы, а жаловать мне его или не жаловать — это всегда оставалось в Его власти.

— Но, бедный мой Ланс, отдать всю свою славу и не получить ничего взамен! Когда ты погрязал в грехе, ты всегда побеждал, так почему же, обратясь к благочестию, ты терпишь одно поражение за другим? И почему то, что ты любишь, всегда причиняет тебе страдания? Что ты сделал потом?

— Я встал на колени в водах Мортезы, Дженни, там, где он сбросил меня, — и возблагодарил Бога за это приключение.

33

Терпение Артура лопнуло.

— Прекрати! — гневно воскликнул он. — Хватит об этом! Почему нужно так мучить достойного, доброго, мягкого человека? У меня все сжимается внутри от стыда, даже когда я тебя слушаю! Какого...

— Ш-ш-ш, — сказал сэр Ланселот. — Я вполне доволен тем, что отказался от любви и от славы. И более того, — тем, что меня, в сущности, вынудили от них отказаться. Господь не потратил ведь столько трудов на Гавейна или Лионеля, не так ли?

— Пф! — сказал Король Артур тоном, к которому еще недавно прибегнул, беседуя с ним, Гавейн.

Ланселот рассмеялся.

— Да, — сказал он, — замечание убедительное. Но может быть, лучше тебе все же дослушать мою историю до конца.

В тот вечер я уснул на берегу Мортезы, и во сне мне было приказано взойти на корабль. Разумеется, когда я проснулся, корабль уже ждал, и взойдя на него, я почувствовал сладчайший аромат и испытал великую радость, и увидел еду и питье, и все, что только можно вообразить. Передо мной оказалось «все, что только мог я задумать и пожелать». Я знаю, мне не удастся сейчас толком описать вам этот корабль — прежде всего потому, что теперь, когда я снова среди людей, он как-то потускнел в моей памяти. Но вам не следует думать, что все исчерпывалось его ароматами или драгоценной одеждой, которую я на нем обнаружил. Все это было, но не оно составляло главную прелесть. Вам следует помнить и о запахе смолы, и о красках моря. Порою оно становилось совершенно зеленым, как толстое стекло, и тогда сквозь толщу воды проглядывало дно. Порой его покрывали огромные медлительные уступы, и птица, летящая вдоль вершины уступа, вдруг пропа-

дала в низине. В шторм огромные буруны вгрызались, словно клыками, в скалистые острова. Белые клыки их показывались на утесах не в самый миг удара, но когда с утесов стекала вода. Тихими ночами можно было увидеть, как звезды отражаются в мокром песке. Были там две звезды совсем близкие друг другу. А песок покрывали складки, совершенно как нёбо у нас во рту. И запах водорослей, и шум пустынного ветра. Я видел острова, на которых жили пичуги, похожие на кроликов, только клювы их переливались подобно радуге. Лучше всего было зимой, потому что тогда на островах появлялись гуси — длинные дымчатые караваны гусей, поющих в узкой полоске холодной зари, словно гончие псы.

Стоит ли гневаться на то, что Бог сотворил со мною вначале, Артур, если затем он дал мне куда как большее. Я говорил: «Отче милостивый, Иисусе Христе, я сам не знаю, за что мне такая радость, ибо это превосходит все радости земные, когда-либо мною испытанные».

У корабля была одна странность — мертвая женщина путешествовала на нем. Она держала в руке письмо, рассказавшее мне, как обстоят дела у других рыцарей. Еще более странно то, что я ее, мертвую, совсем не боялся. Лицо у нее было такое спокойное, что мне она казалась самым подходящим спутником. Мы словно бы ощущали некую общность. Чем я кормился, не знаю.

После того, как я провел месяц на корабле с мертвой дамой, к нам был приведен Галахад. Он благословил меня и позволил поцеловать его меч.

Артур побагровел лицом, будто индюк.

— Ты попросил его о благословении? — требовательно вскричал он.

— Конечно.

— Ну и ну! — сказал Артур.

— Шесть месяцев мы проплавали вместе на священном корабле. За этот срок я хорошо узнал своего сына, и он, казалось, проникся любовью ко мне. Весьма часто он говорил со мною, проявляя чрезвычайное вежество. Все это время с нами случались на остро-

вах приключения, в которых участвовали дикие звери. Мы встречали морских ласок, что так красиво свистят, и Галахад показывал мне журавлей, летящих над самой водой, над летящими прямо под ними перевернутыми отражениями. Он рассказывал мне, что рыбари называют баклана «старая черная ведьма» и что у ворона век не короче человечьего. Бывало, заслышишь в воздухе «кар, кар», и скоро они уже опускаются к нам, кувыркаясь ради забавы. Однажды мы видели пару клушиц: они были прекрасны! А тюлени! Они приближались, чтобы послушать пение корабля, и плыли рядом, переговариваясь, как люди.

Однажды в понедельник мы приплыли к лесистой земле. Белый рыцарь спустился берегом и сказал Галахаду, что ему надлежит сойти с корабля. Я понимал, что его забирают, дабы он отыскал Святой Грааль, и опечалился оттого, что не мог отправиться с ним. Помните, как было в детстве, когда дети выбирали перед игрой кто за кого, а тебя, случалось, ни одна из сторон в конце концов не принимала? Вот и меня охватило такое же чувство, только еще похуже. Я попросил Галахада молиться за меня. Я попросил его молить за меня Господа, чтобы Он и впредь сохранил меня среди своих верных слуг. Затем мы поцеловались с ним и расстались.

Гвиневера жалобно произнесла:

— Не понимаю, почему тебя оставили в стороне, если на тебя снизошла благодать.

— Это трудный вопрос, — сказал Ланселот.

Он развел руки и смотрел в стол между ними.

— Возможно, мои намерения были дурны, — сказал он, помолчав. — Возможно, в глубине души — подсознательно, как ты бы сказала, — я по-настоящему и не хотел исправляться...

Королева слушала, и лицо ее озарялось чуть приметным сиянием.

— Глупости, — прошептала она, совсем противное имея в виду. Она ласково стиснула его руку, но Ланселот отодвинул ее.

— Когда я молился, чтобы Бог сохранил меня для себя, — сказал он, — возможно, причиной тому было...

— А не кажется ли тебе, — сказал Артур, — что излишне чувствительная совесть — это в твоем положении недозволительная роскошь?

— Возможно. Во всяком случае, меня среди избранных не было.

Он сидел, глядя, как море вздымается у него между руками, и слушая деревянную трескотню глупышей на утесах ближнего острова.

— Корабль вновь унес меня в море, — после долгого молчания сказал он, — ибо поднялся ветер. Спал я совсем немного, все больше молился. Я просил, чтобы мне, хоть меня и нет среди избранных, все же дозволено было узреть хоть частицу Истинной Крови.

В молчании, павшем на комнату, мысли каждого разбрелись по своим, собственным тропам. Артур размышлял о горестном зрелище, — о грешном, земном человеке, да, но лучшем из них, тяжело плетущемся по следам троицы этих сверхъестественных девственников, о его обреченных, отважных, тяжких усилиях.

— Занятно, — сказал Ланселот, — как часто люди, не умеющие молиться, повторяют, что молящемуся не дождаться ответа, сколько бы ни твердили им те, кто молиться умеет, что они получают ответ. Однажды в полночь сильный ветер принес мой корабль к задним воротам Замка Кербонек. Странно и то, что именно сюда я ехал в самом начале.

В тот миг, как корабль пристал к берегу, я понял, что часть моего желания будет исполнена. Разумеется, я не мог увидеть Грааль целиком, ибо не был ни Борсом, ни Галахадом. Но со мной обошлись по-доброму. Им пришлось уклониться от их пути, чтобы явить мне свою доброту.

У задних ворот замка было темно, как в могиле. Я облачился в доспехи и поднялся к воротам. Двое львов, сторожевших ворота, попытались заступить мне дорогу. Я вытащил меч, чтобы сразиться с ними, но некая десница ударила меня по руке. Глупо, конечно, было полагаться на меч, когда полагаться мне

надлежало только на Бога. И потому я перекрестился онемевшей рукой и вошел, и львы не причинили мне никакого вреда. Все двери оказались открытыми, кроме последней, и здесь я встал на колени. Я помолился, и дверь отворилась.

Артур, в моем пересказе все это может показаться невероятным. Я не знаю, как передать это словами. За последней дверью находилась часовня. Там служили Мессу.

Ах, Дженни, как прекрасна была часовня, свет, заливавший ее, и все остальное! Ты бы сказала: «Цветы и свечи», но дело не в них. Их, быть может, и вовсе-то не было.

Там было другое, там были, хоть это, наверное, крикливо звучит, — сила и слава. Они захватили все мои чувства и потянули меня вовнутрь.

Но войти я не смог, Артур и Дженни, — меч преграждал мне дорогу. Я видел внутри Галахада, и Борса, и Персиваля. Там было еще девять рыцарей из Франции, Дании и Ирландии, и дама с моего корабля тоже была среди них. Там был и Грааль, Артур, на серебряном престоле, и много иных предметов! Но для меня, как ни томился я у дверей, дорога была закрыта. Я не знаю, кто служил эту Мессу. Быть может, Иосиф Аримафейский, быть может... ну, ладно. Я попытался, невзирая на меч, войти и помочь ему, поскольку он нес некую слишком тяжкую ношу. Я хотел лишь помочь, Артур, Господь мне свидетель. Но из последней двери в лицо мне ударило дыхание, палящее, как печной жар, и я рухнул без чувств.

34

Большое оживление царило во внутренних покоях дворца: взад-вперед сновали горничные, лязгали на лестнице жбаны и ведра, комнату заволакивал пар. Пролетая по лужам, там и сям рассеянным по полу, ноги горничных издавали хлюпающие звуки, а из соседней комнаты доносился шепот, смешанный с укромным шумом шелков.

Королева уже взошла по шести ступенькам деревянной лестницы, ведущей к ванне, и теперь сидела внутри на толстой доске, так что наружу торчала лишь голова. Ванна походила на большую пивную бочку, голову Королевы облекал белый тюрбан. Сидела она голышом, только жемчужное ожерелье так и осталось на шее. В одном углу комнаты стояло зеркало, и весьма дорогое, в другом — столик с ароматами и притираниями. Напудренную пуховку замещал на нем замшевый кошель, полный истолченного мела, пахнущего розовым маслом, привозимым из Крестовых походов. На полу между лужами в беспорядке валялись льняные полотенца, коими ей предстояло вытираться, шкатулки с драгоценностями, парчовые платья и иные наряды, подвязки, белье — все это принесли ей на выбор из смежной комнаты. Лежали здесь и опальные головные уборы, накрахмаленные, напоминающие причудливыми очертаниями свечные гасила, меренги и двойные коровьи рога, сетки для волос, усеянные жемчугами, платки из доставленного с Востока шелка. Одна из дам-камеристок стояла перед королевской ванной, держа для обозрения расшитую мантию. Мантию покрывали соединенные гербы мужа и отца Королевы: вздыбленный дракон Англии и шестерка поднявших лапы и обернувшихся очаровательных львят Короля Леодег-

ранса, коему львы в гербе полагались по причине его имени. Поперек мантии шла тяжелая шелковая прошва, вроде шнура на занавесе, чтобы стягивать мантию на груди. Шелковую же кайму гербов опушал беличий мех, серебристый и голубой.

Облик Гвиневеры утратил потерянное выражение, она сидела, без привередливой гневливости принимая предлагаемые наряды. Лица же камеристок выражали блаженство. Больше года ходили они за Королевой вздорной, жестокой, несговорчивой, несчастной. Теперь она была всем довольна и не тиранила их. Они пребывали в полной уверенности, что Ланселот вновь стал ее любовником. И были не правы.

Гвиневера оглядела шестерку львят, «поднявших лапы обернутых», они вышагивали, свесив красные языки и выпятив когти, нахально подмигивая и помахивая хвостами, на кончиках которых полыхали язычки пламени. Она покивала, храня на лице удовлетворенное, сонное выражение, и камеристка, присев в реверансе, удалилась в гардеробную. Королева проводила ее взглядом.

Вы вправе, конечно, если вам так больше нравится, счесть и саму Гвиневеру неким подобием львицы, пожиравшей мужчин, или же одной из тех самовлюбленных женщин, что упорствуют в желании властвовать над всеми и вся. Собственно, такой она и казалась — при поверхностном рассмотрении. Красивая, жизнерадостная, вспыльчивая, требовательная, порывистая, чарующая и не спешащая расставаться с захваченным, она обладала всеми качествами, положенными пожирательнице мужчин. Но факт, о который, словно о скалу, разбиваются все эти поверхностные истолкования, состоит в том, что Гвиневера вовсе не отличалась неразборчивостью. Никого, кроме Артура и Ланселота, в ее жизни не было. Да и тех она не пожрала в собственном смысле этого слова. Мужчины, пожираемые львицей, становятся обычно ничтожествами — у них не остается никакой иной жизни, помимо той, которую они ведут в пищевари-

тельном тракте своей владычицы. Между тем, и Артур, и Ланселот, коих Гвиневера, казалось бы, поглотила, прожили собственные жизни, исполненные свершений.

Одно из истолкований характера Гвиневеры — и его наряду с прочими остается лишь принимать на веру — сводится к тому, что она была, как это принято говорить, «живым» человеком. Она не принадлежала к числу людей, на которых легко налепить бирку вроде «верный» — «неверный», или «склонный к самоотречению», или «ревнивый». Временами она была верной, временами неверной. Она всегда оставалась самой собой. Видимо, таилась в ней некая душевная честность, потому что иначе она не смогла бы удержать около себя двух таких мужчин, как Ланселот и Артур. Подобное, как уверяют, тяготеет к подобному, а уж в благородстве двух этих мужчин никто, похоже, не сомневается. Надо полагать, и ей было присуще благородство. Трудно писать о живом человеке.

Она жила в воинственные времена, когда жизнь молодого человека была такой же краткой, как жизнь воздухоплавателя двадцатого столетия. В такие времена пожилым моралистам свойственно несколько смягчать свои моральные установления — в виде благодарности за то, что их охраняют. Обреченные на смерть пилоты с их жадностью к жизни и к любви, предназначенной, по всем вероятиям, к скорой и бесследной погибели, трогают сердца юных женщин или, быть может, пробуждают в них ответную отвагу. Щедрость, храбрость, честность, сострадание, способность смотреть краткой жизни в лицо, безусловно, товарищество и нежность — вот душевные качества, коими можно объяснить, почему Гвиневера приняла близость и Ланселота, и Артура. И прежде всего храбрость, храбрость, с которой она всем своим сердцем брала и отдавала, пока еще было время. Поэты вечно склоняют женщин к храбрости этого рода. Она срывала розовые лепестки, пока остава-

лась на это способной, и поразительнее всего то, что она сорвала только два, не больше, и сохранила их навсегда, и они были лучшими из возможных.

Основная суть трагедии Гвиневеры в том, что она оставалась бездетной. Артур прижил двух незаконнорожденных сыновей, у Ланселота был Галахад. Гвиневера же, единственная из этой троицы, кому дети полагались по чину, кто воспитал бы их наилучшим образом, кого Господь по всем признакам сотворил для того, чтобы растить прелестных чад, — только она осталась незаполненным сосудом, берегом без моря. Бездетность и надломила ее, когда она достигла возраста, в котором морю ее предстояло иссохнуть окончательно. Бездетность наделила ее на недолгое время женским неистовством — впрочем, это время оставалось еще впереди. В бездетности, быть может, и кроется одно из объяснений двойной любви Гвиневеры — может статься, она любила в Артуре отца, а в Ланселоте сына, родить которого была не способна.

Круглые Столы, рыцарские подвиги — все это легко ослепляет людей. Вы читаете о каких-либо возвышенных победах Ланселота, и когда он возвращается к своей возлюбленной, вы склонны негодовать на нее, ибо она препятствует этим победам или даже пятнает их. Но она ведь и не могла участвовать в поисках Грааля. Она не могла на целый год раствориться в лесах Англии, вооружась копьем и взыскуя подвигов. Ее удел состоял в том, чтобы сидеть дома — какие бы неподдельные страсти, какой бы голод ни раздирал ее яростное и нежное сердце. Ибо никаких способов отвлечься, кроме тех, что можно сравнить с нынешними дамскими партиями в бридж, в ее распоряжении не было. Она могла охотиться с дербником, играть в жмурки или в «девять шашек». Вот и все забавы, какие в ее время имелись у взрослых женщин. Ястребы, гончие псы, геральдика, турниры — это все доставалось Ланселоту. Ей же, поскольку она не питала пристрастия к прялке и вы-

шиванию, заняться было решительно нечем — кроме самого Ланселота.

И потому нам следует вообразить себе Королеву женщиной, лишенной ее главного атрибута. Обживаясь в своем трудном возрасте, она совершала поступки странные. Ее заподозрили даже в отравлении одного рыцаря. Многие из подданных стали относиться к ней неприязненно. Но и неприязнь зачастую представляет собой комплимент, и Гвиневера, хоть и прожила она бурную жизнь и умерла, пожалуй, непримиренной, — ибо в отличие от Ланселота не была создана для веры, — Гвиневера никогда не была существом незначительным. Она делала то, что свойственно делать женщине, делала это с королевским размахом, и сейчас, сидя в ванне, делала от всей души.

От мужчины, который по сути говоря видел Бога, сколько бы ни было в нем человеческого, трудно ожидать, что он немедленно займется с вами любовью. А когда мужчина этот — Ланселот, и без того помешанный на Боге, нужно быть чересчур жизнелюбивой и жестокой, чтобы вообще ожидать от него чего-либо подобного. Но женщинам присуща такого рода жестокость. Отговорок они не приемлют.

Гвиневера знала, что Ланселот вернется к ней. Она знала это с той самой минуты, когда он рассказал, как молился о том, чтобы Господь «сохранил» его среди своих слуг. И знание это оживило ее, как оживляет вода цветок, давно не знавший полива. Оно смело и грубые румяна, и цветастые шелка, столь растрогавшие его, когда он только-только вернулся. Все, что ей оставалось теперь, это добиться, чтобы их воссоединение стало полным и прошло без помех. Спешить не стоило.

Ланселота, еще не ведавшего, что ему предстоит вновь пожертвовать для Королевы столь любимым им Богом, ее расположение утешило, хотя, впрочем, и удивило. Он побаивался ужасных сцен ревности, жа-

лобных пеней. Он гадал, как объяснить измученной девочке, запертой за размалеванными глазами, что он не в силах вернуться к ней, что он обязан исполнить долг куда более сладостный, какую бы боль она ни испытывала. Он боялся, что она набросится на него, что она раскинет перед ним свои скудные силки и тенета — трогательно соблазнительные именно скудостью их. Он совершенно не представлял себе, как сможет справиться с жалостью.

Гвиневера же, вопреки его ожиданиям, вдруг расцвела и даже краситься перестала. Он не дождался ни пеней ее, ни покушений. Она лишь улыбалась, являя неподдельную радость. Женщины, мудро сказал сам себе Ланселот, непредсказуемы. Им удалось даже обсудить положение со всей прямотой, и она согласилась со всем, что он ей сказал.

Гвиневера сидела в ванне, устремив невидящий взор на львят, и перебирала в памяти подробности их разговора, отчего на лице ее возникало сонное выражение потаенного счастья. Она снова видела милое, некрасивое лицо Ланселота, произносящего такие серьезные речи об устремлениях его честного сердца. Она любила его устремления, любила старого солдата, столь верного в его невинной любви к Богу. Она знала, что эта любовь обречена на поражение.

Извиняясь и умоляя ее не почитать его слова за обиду, Ланселот сказал, (1) что после Грааля они уже не могут вернуться к прежнему; (2) что если бы не его преступная любовь, ему, быть может, и разрешили бы достигнуть Грааля; (3) что такой возврат был бы в любом случае опасен, поскольку Оркнейская партия начала неприятнейшим образом присматривать за ними, в чем особливо усердствуют Агравейн и Мордред; и (4) что это было бы великим позором для них самих, а равно и для Артура. Он четко перечислил свои доводы один за другим.

В другой раз он попытался объяснить ей — очень длинно и в путаных словах, — как он открыл для себя Бога. Он полагал, что если ему удастся заста-

вить Гвиневеру обратиться помыслами к Богу, это разрешит вставшую перед ним этическую проблему. Если они смогут вместе направить стопы свои к Богу, это будет означать, что он вовсе не бросил свою любовницу, не принес ее счастье в жертву своему.

Теперь Королева улыбалась, более не таясь. Какой он все-таки милый. Она согласилась с каждым его словом — она уже всей душой обратилась к вере!

И выпростав из ванны белую длань, Королева потянулась к жесткой щетке с ручкой из слоновой кости.

35

Все это было прекрасно, пока не прошло первое упоение от возвращения Ланселота. Прозорливость Королевы могла простираться дальше пределов, положенных заурядному человеку, но свои пределы имелись и у нее. Приятно было с теплым чувством неделю или месяц ожидать Ланселота, хранящего стойкую веру в чудо. Но когда месяц понемногу оборачивается годом, это уже совсем иное дело. Возможно, он, в конце-то концов, и взялся бы снова за прежнее — возможно. Но женщина не может слишком долго дожидаться победы, ибо рискует состариться, не успев насладиться ее плодами. Какой смысл все ждать и ждать пришествия счастья, когда счастье стоит на пороге, а время уносится прочь?

Мало-помалу Гвиневера становилась если и не менее цветущей, то более сердитой. По мере того как один месяц благочестия добавлялся к другому, в глубине ее сердца копилась буря. Благочестие? Самовлюбленность, — безмолвно кричала она, — эгоистическая способность пожертвовать чужой душой, чтобы спасти свою. Повесть о Борсе, предоставившем дюжине предполагаемых благородных дам спрыгнуть с крепостной стрельницы, лишь бы не совершить самому — даже им во спасение — смертного греха, глубоко поразила ее. Теперь вот и Ланселот намеревался проделать нечто похожее. Ну что же, Ланселоту с его рыцарством и мистицизмом, со всеми радостями, коими мир одаривает мужчину, хорошо разыгрывать великое отречение от прошлой любви. Но для отречения все же потребны двое, как потребны они для любви и для ссоры. Она не бесчувственная

принадлежность, с которой можно обращаться так, как ему удобно: захотел — взял, захотел — бросил. Человеческое сердце нельзя отбросить подобно тому, как иные бросают шить. Пьянство касается только вас, и только от вас зависит, покончить с ним или нет, но душа возлюбленной не является вашей собственностью, вы не вправе распоряжаться ею по своему усмотрению, вы в долгу перед ней.

Ланселот понимал это так же ясно, как и отважная Гвиневера, и, по мере того как отношения их ухудшались, ему становилось все труднее сохранять прежнюю твердость. Он чувствовал себя, как Борс при вмешательстве безоружного отшельника. Пока дело касалось только его одного, он был, разумеется, вправе смиряться пред Господом, как Борс смирился пред Лионелем. Но придавленный Гвиневерой, будто Борс отшельником, вправе ли он принести свою давнюю любовь в жертву, как был принесен в жертву отшельник? Ланселота, наравне с Гвиневерой, решение Борса повергло в ужас. В сердцах двух любовников гнездилось бессознательное благородство, не способное подстраиваться под догмы. Вот он, восьмой смертный грех — благородство.

Все разрешилось в одно утро, когда они музицировали вдвоем, уединившись в башенном покое. На столе между ними стоял походивший на две огромные книги музыкальный инструмент, называемый регалем. Гвиневера пела песню, сочиненную Марией Французской, а Ланселот с трудом подбирал другую, принадлежащую горбуну из Арраса, — и вдруг Гвиневера накрыла правой рукою все ноты, какие под ней уместились, а левой притиснула обе книги. Регаль страшновато всхрапнул и замолк.

— Что ты?

— Лучше тебе уехать, — сказала она. — Покинь нас. Отправляйся искать приключений. Разве ты не видишь, что я теряю последние силы?

Ланселот глубоко вздохнул и сказал:

— Да, это я вижу. Каждый день.

— Так уезжай же. Не думай, я не собираюсь устраивать сцену. Я не хочу, чтобы мы из-за этого ссорились, и не добиваюсь, чтобы ты передумал. Просто, если ты уедешь, я буду страдать меньше, чем сейчас.

— Ты говоришь это так, словно я намеренно мучаю тебя.

— Нет. Ты ни в чем не виноват. Просто мне хочется, чтобы ты уехал, Ланс, потому что тогда я смогу отдохнуть. Ненадолго. И не будем спорить об этом.

— Конечно, я уеду, коли ты так желаешь.

— Желаю.

— Наверное, так будет лучше.

— Ланс, я хочу, чтобы ты понял, — я не пытаюсь обманом вовлечь тебя во что-то или к чему-то принудить. Я только думаю, что для нас будет лучше расстаться на месяц, на два, расстаться друзьями. Только это и ничего другого.

— Я знаю, что ты никогда не стала бы обманывать меня, Дженни. Я тоже совершенно запутался. Я ведь надеялся, что ты все поймешь. Поймешь, что со мною случилось. Конечно, было бы легче, если бы ты тоже побывала в той барке, если бы ты сама все прочувствовала. А так я не могу передать тебе моих ощущений, потому что тебя там не было, отсюда и все мои трудности. И мне все кажется, будто я приношу тебя в жертву — или нас, если хочешь, — какой-то новой любви...

— И кроме того, — сказал он, отворачиваясь, — дело ведь вовсе не в том, что я... что мне не нужна и старая любовь тоже.

С минуту он простоял в молчании, глядя в окно, руки его неестественно мирно свисали вдоль тела, — и после хрипло добавил:

— Если хочешь, мы начнем все сначала.

Когда он резко отворотился от окна, в комнате было пусто. После обеда он пришел к ее покоям, желая ее повидать, но ему лишь передали на словах, чтобы он сделал то, о чем она его попросила. Он упаковал свои скудные пожитки, не понимая, что случилось, но чувствуя, что был на волосок от великой беды и чудом сумел ускользнуть. Он попрощался со своим согбенным старым оруженосцем, теперь уж в любом случае слишком дряхлым, чтобы отправиться с ним, и наутро выехал из Камелота.

36

Если служанкам Королевы предполагаемое возобновление любовной интриги доставляло радость, то имелись при дворе и такие, кто решительно никакой радости в этой связи не испытывал. А если и испытывал, то радость жестокую и выжидающую. Общий тон двора изменился в четвертый раз.

Первым по порядку из властвовавших здесь настроений было чувство молодого товарищества — чувство, под знаком которого Артур начал свою великую борьбу; вторым — рыцарственное соперничество, с каждым годом все выдыхавшееся, пока величайший из европейских дворов едва не потонул во вражде и бессмысленных соревнованиях. Затем восторженный пыл, возбужденный поисками Грааля, выжег дурные миазмы, претворив их в недолговечную красоту. Ныне же наступила наиболее зрелая и наиболее грустная фаза — восторги благополучно угасли, и все, что осталось двору, это практиковаться в нашем прославленном седьмом чувстве. Ныне двор обрел «знание жизни»: теперь он вкушал плоды успехов, цивилизации, savoir-vivre[1], слухов, мод, злобы и терпимости к любому скандалу.

Половина рыцарей погибла — лучшая половина. Свершилось именно то, чего Артур боялся с самого начала поисков Святого Грааля. Достигая совершенства, человек умирает. Что, кроме смерти, мог испросить Галахад у Бога? Лучшие среди рыцарей обрели совершенство и сгинули, предоставив худшим удерживать завоеванные ими позиции. Правда, еще оста-

---

[1] Житейская мудрость (*фр.*).

лись носители прежней закваски — Ланселот, Гарет, Агловаль да несколько дряхлых балабонов вроде сэра Груммора и сэра Паломида, но общий тон задавали иные. Тон задавала угрюмая ярость Гавейна, мишурный блеск Мордреда, сарказмы Агравейна. То, что вытворял в Корнуолле Тристрам, лишь усугубило положение. Ходил по рукам некий магический плащ, который могла носить только верная жена, — или, быть может, то был магический рог, из которого, опять-таки, могла напиться лишь жена, сохранившая верность. С безмолвным смешком подносился в подарок скошенный щит, несший изображение с намеком на наставленные мужу рога. Супружеская верность воспринималась теперь как «новость». Одежды приобрели фантастический вид. Длинные носки Агравейновых туфель приходилось крепить ниже колен к подвязкам посредством золотых цепочек, что до Мордреда, то у него те же цепочки дотягивались до специального пояса, охватывавшего талию. Камзолы, служившие изначально покровами для доспехов, удлинились сзади и укоротились спереди. Даже простая ходьба стала затруднительным делом, ибо существовала опасность споткнуться о собственные рукава. Дамы, желавшие следовать моде, соревновались, выбривая лбы и следя, чтобы не показалось наружу ни пряди волос, рукава же они поневоле связывали узлами, дабы не мести ими пол. Джентльмены в не менее пугающей степени выставляли напоказ ноги. Одеяния их стали многоцветными. Порой одна нога оказывалась красной, другая зеленой. И все эти прорезные мантии и непристойные шутовские наряды носились не от избытка веселья. Мордред облачался в свои смехотворные туфли из чувства презрения: они являли собою сатиру на него самого. При дворе потянуло новыми веяньями.

Так что с Гвиневеры теперь глаз не спускали, и то были не взоры суровой подозрительности или теп-

лого одобрения, но скучающие взоры расчетливости и холодные — общества. Терпеливые коты пока выжидали и мирно посиживали у мышиной норки.

Мордред с Агравейном считали Артура лицемером — каковым и следует быть всякому порядочному человеку, если исходить из предположения, что никакой порядочности не существует и существовать не может. Гвиневера же им представлялась особой, лишенной какой ни на есть культуры.

Изольда Прекрасная, говорили они, тоже наставляла Королю Марку рога, но хотя бы цивилизованным образом. Она делала это изящно, прилюдно, следуя установлениям моды и проявляя самый возвышенный вкус. Всякий мог привлечь к этому внимание Короля и насладиться результатами. Она обладала безупречным чутьем во всем, что касалось нарядов, увлекалась водевильными шляпками, придававшими ей вид подвыпившей бабенки. Она потратила миллионы Марковых денег на павлиньи языки к обеду.

А что Гвиневера? Одевается, словно цыганка, развлекается на манер хозяйки постоялого двора и любовника своего ото всех скрывает. Да и зануда она, если уж правду сказать. Никакого чувства стиля. Стареет без всякого изящества, ревет, сцены закатывает, что твоя торговка из рыбных рядов. Уверяли, будто она выгнала Ланселота, устроив жуткий скандал, во время которого обвинила его в том, что он-де любит других женщин. Предполагалось, что она кричала ему: «Я вижу и чувствую день ото дня, как любовь ваша оскудевает». Мордред сообщил своим двусмысленным музыкальным голосом, что мегеру в женах он способен понять, но в любовницах — увольте. Эпиграмма эта получила широкое распространение.

Артур, замкнутый и несчастный в новой атмосфере, приобретавшей по отношению к нему свойства центробежные взамен центростремительных, в про-

стых одеждах бродил по дворцу, стараясь оставаться вежливым. Королева, более него склонная к наступательным действиям, — он еще помнил ее решительной девушкой с темными волосами и алыми губами, то и дело встряхивающей головой, — вознамерилась овладеть ситуацией, задавая пиры и изображая светскую даму. Снова пошли в ход румяна и пышные одеяния, оставленные ею при возвращении Ланселота. В поведении ее появились признаки легкого безумия. Всем блестящим царствованиям знакомы такие пустые периоды, во время которых Корона лишается бóльшей части своих приверженцев.

Беда разразилась внезапно, когда Ланселот еще пребывал неведомо где. Ощущение опасности, висевшее в воздухе со времен Грааля, внезапно сгустилось до вещественной плотности во время обеда, данного Королевой.

По всей видимости, Гавейн питал пристрастие к плодам и фруктам. Более всего ему нравились груши и яблоки, и оттого несчастная Королева, старавшаяся преуспеть в новой для нее роли хозяйки светского салона, особо позаботилась, дабы во время обеда, устроенного ею для двадцати четырех рыцарей, обеда, к которому ожидался и Гавейн, стол украшали отборные яблоки. Она знала, что партия Оркнея и Корнуолла вечно представляла угрозу для чаяний мужа, — а Гавейн стоял теперь во главе клана. Королева надеялась, что обед пройдет удачно, что он поможет создать новую атмосферу, что это будет изысканный обед. Она пыталась ублажить злые языки, обратясь в обходительную хозяйку, подобную Изольде Прекрасной.

К несчастью, не одна она знала о Гавейновой слабости к яблокам, и, к несчастью же, озлобление, порожденное убийствами Пеллиноров, все еще не иссякло. Правда, Артуру удалось отвратить Агловаля от мстительных помыслов, и казалось, будто раны,

нанесенные стародавней враждой, затянулись. Но был один рыцарь по имени сэр Пинель, дальний родственник Пеллиноров, считавший отмщение необходимым. И сэр Пинель отравил яблоки.

Яд — оружие неверное. В этом случае оно, как вообще нередко бывает, ударило мимо цели, и предназначенное Гавейну яблоко съел рыцарь из Ирландии по имени Патрик.

Вообразите картину: бледные рыцари, вскочившие из-за стола в свете свечей, безуспешные попытки оказать несчастному помощь, мнительные взоры, с пристыженной подозрительностью впивающиеся то в одного, то в другого. О Гавейновой слабости ведомо было каждому. Семейство его никогда не ходило в любимчиках у нелюбимой теперь Королевы. Обед давала она. А Пинелю в его положении пускаться в объяснения было не с руки. Кто-то из присутствующих ошибкой убил вместо Гавейна сэра Патрика, и пока не откроют убийцу, подозрение в равной мере будет тяготеть надо всеми. Сэр Мадор де ла Порте, превосходивший прочих то ли самомнением, то ли злорадством, то ли въедливостью, в конце концов высказал вслух то, что было у всех на уме. Он обвинил Королеву в предательстве.

В наши дни, когда цель правосудия темна и невнятна, каждая из сторон нанимает защитников, чтобы они, препираясь, выявили эту цель. В ту пору представители высших классов нанимали заступников, дабы те выявляли оную в драке, что, в сущности, сводится к тому же. Сэр Мадор решил сэкономить на адвокате и самому отстоять свою правоту, он потребовал также, чтобы Гвиневера поручила ведение дела какому-либо заступнику, способному ее защитить. Артур, вся философия которого основывалась на превосходстве права над силой, помочь жене ничем не мог. Если Мадор требовал Суда Чести, его требование надлежало выполнить. Артур же не имел

права сражаться, когда тяжба касалась его жены, точно так же, как в наше время супруги лишены права давать показания друг против друга.

Положение складывалось — хуже некуда. Подозрения, слухи, взаимные обвинения и контр-обвинения запутали разбирательство чуть ли не до того, как оно началось. Вражда с Пеллинорами, старинная распря между Пендрагоном и Корнуоллом, причастность Ланселота, а затем еще и внезапная смерть человека, никак, по всей видимости, не связанного ни с тем, ни с другим, ни с третьим, — все это смешалось в ядовитый туман, кольцами смыкавшийся вокруг Королевы. Если бы Ланселот оставался при ней, он бы и стал сражаться в качестве ее заступника. Но она отослала его, и никто не ведал куда, некоторые полагали даже, что во Францию, к родителям. Если бы было известно, что он где-то поблизости, сэр Мадор, возможно, оставил бы свои подозрения при себе.

Не стоит, хотя бы из милосердия, задерживаться на днях, предшествоваших судебному поединку — не стоит описывать смятенную женщину, стоящую на коленях перед сэром Борсом, который ее и раньше-то не шибко любил, а ныне, едва-едва воротясь от Граля, к коему привело его собственное целомудрие, любил и того меньше. Она умоляла его сразиться за нее, если не удастся отыскать Ланселота. Ей пришлось молить об этом, бедняжке, ибо страсти двора достигли такого накала, что по своей воле никто бы за ее защиту не взялся. Королева Англии не могла отыскать себе заступника.

Наихудшей оказалась ночь перед поединком. Ни Гвиневера, ни Артур не сомкнули глаз. Он твердо верил в ее невиновность, но в отправление правосудия вмешаться не мог. Она, раз за разом трогательно заверявшая его в этой невиновности, сознавала, что в нынешнее бедственное положение ее привели совсем

иные горести и что к следующей ночи она, быть может, уже сгорит на костре. Вместе озирали они трагедию и унижение созданного ими Круглого Стола, ни единый человек из которого не желал их спасти, и оба знали, что все в один голос называют Королеву Стола погубительницей добрых рыцарей. В пропитанном горечью мраке Артур вдруг с отчаянием воскликнул: «Что за причина, что ты не можешь удержать при себе сэра Ланселота?» Так оно и тянулось до самого утра.

37

Сэр Борс-женоненавистник без особой охоты согласился сразиться за Королеву, если никого иного отыскать не удастся. Он объяснил ей, что ему вообще-то делать этого не следует, поскольку и сам он присутствовал на обеде, но когда Артур застал Королеву стоящей перед ним на коленях, сэр Борс покраснел, поспешил поднять ее и согласился. Затем он на пару дней куда-то исчез, ибо суд должен был состояться спустя две недели.

Для поединка приготовили луг близ Вестминстера. По сторонам широкого квадрата воздвигли заграждение из крепких бревен наподобие лошадиного загона — только заграждение без барьера внутри. Если бы речь шла об обычном бое на копьях, тогда барьер построили бы, но в данном случае биться предстояло не на жизнь, а на смерть, а это означало, что для окончания поединка рыцарям, возможно, придется спешиться и биться на мечах, и оттого барьера городить не стали. По одну сторону луга воздвигли помост для Короля, по другую — для Лорда-Констебля. Помост и заграждение обтянули тканями. По концам ристалища устроили занавешенные проходы, вроде тех, сквозь которые выезжают на арену циркачи. В одном из углов его помещалась всем желающим на обозрение огромная груда хвороста с железным столбом посередке, таким, что не обгорит и не расплавится. Столб и хворост предназначались для Королевы, коли закон признает ее виновной. Перед тем, как Артур приступил к главному труду всей его жизни, человек, посмевший в чем-либо обвинить Королеву, был бы предан смерти прямо на месте. Теперь же, благодаря проделанной им работе,

ему надлежало приготовиться к тому, чтобы послать на костер собственную жену.

Ибо в мозгу Короля начала вызревать новая мысль. Все прежние усилия прорыть для Силы отводной канал пошли прахом, даже когда перед ней были поставлены духовные цели, и ныне он нащупывал путь к полному ее искоренению. Довольно раболепствовать перед Силой, решил Король, Силу следует выкорчевать со всеми ее корнями и сучьями, установив новые основания бытия. Мысль его подбиралась к Праву, принявшему вид самодовлеющего критерия, к Правосудию как отвлеченному принципу, не опирающемуся на насилие. Еще несколько лет, и он додумался бы до Гражданского Права.

День был холодный. Ткань ограждения и шатра натянулась, и флажки, распластавшись, лежали по ветру. Палач в своем углу дул на пальцы, пристроившись поближе к жаровне, от пламени которой ему предстояло запалить огромный костер. Герольды в шатре Лорда-Констебля облизали потрескавшиеся на ветру губы, перед тем как прижать к ним трубы и сыграть фанфары. Гвиневере, сидевшей между солдатами из стражи Констебля, пришлось попросить, чтобы ей принесли шаль. Она заметно осунулась. Печальное, немолодое лицо застыло в ожидании, напряженном и стойком, между мясистыми лицами стражников.

Разумеется, спас ее Ланселот. Борс за время своей двухдневной отлучки сумел отыскать его в монашеской обители, и в самый последний миг Ланселот вернулся, чтобы сразиться за Королеву с сэром Мадором. Никто из знавших его и не ожидал ничего иного, — был ли он отослан с позором или без оного — но поскольку считалось, что Ланселот покинул страну, его возвращение окрасилось в драматические тона.

Сэр Мадор выехал из прохода на южном конце ограждения и, пока его герольд дул в трубу, огласил

свои обвинения. Из северного прохода появился сэр Борс и тут же отправился совещаться сначала с Королем, а после с Констеблем, вступив с ними в длинные, запутанные объяснения либо споры, сути которых из-за ветра никто уловить не смог. Зрители забеспокоились, гадая, в чем помеха и почему судебный поединок не продолжается, как ему следует. Затем, после нескольких путешествий от королевского помоста к помосту Лорда-Констебля, сэр Борс скрылся в своих воротцах. Возникла неуютная пауза, во время которой черная комнатная собачонка с приплюснутым носиком выскочила на ристалище и понеслась неведомо куда, по каким-то лишь ей известным делам. Один из рыцарей стражи изловил ее и связал навыйником от щита, за что публика наградила его ироническим «ура». Затем наступило молчание, нарушаемое лишь криками лотошников, расхваливающих свои орехи и имбирные пряники.

Ланселот выехал из северного прохода с гербом Борса на щите, и все, сидевшие в амфитеатре, мгновенно поняли, что это он, только переодетый. Тишина наступила такая, словно все разом затаили дыхание.

Он вернулся не из снисходительной жалости к Королеве. Грубое объяснение насчет того, что он-де «покончил с ней», чтобы спасти свою душу, а теперь возвратился, явив волнующую щедрость этой же самой души, — это неверное объяснение. Все было гораздо сложнее.

Главная беда этого рыцаря — с самого его детства, из которого он в полной мере так и не вышел, — состояла в том, что для него Бог был живым существом. Не абстракцией, которая карает тебя за пороки и награждает за добродетели, а живым существом, как Гвиневера или Артур, или кто угодно другой. Ланселот, разумеется, чувствовал, что Бог по всем статьям превосходит Гвиневеру или Артура, но главное было все-таки в том, что Он оставался для Ланселота живым человеком. У Ланселота имелись совершенно определенные представления относитель-

но того, как этот Человек выглядит, и что он чувствует, — и в некотором смысле он был в этого Человека влюблен.

Рыцарь, Совершивший Проступок, был вовлечен не в Вечный Треугольник. Речь следует вести о Вечном Четырехугольнике — столь же вечном, сколь и четырехугольном. Дело вовсе не в том, что он бросил любовницу, опасаясь кары со стороны некоей разновидности Священного Пугала, просто перед ним оказались два любимых им человека. Одним была Артурова Королева, другим — Тот, Кто, безмолвно присутствуя в Замке Кербонек, отправлял там таинство мессы. К несчастью, как это нередко случается в любовных делах, два объекта его страсти никак не могли поладить друг с другом. Все выглядело почти что так, словно ему предстояло выбрать между Джейн и Дженет, и он словно бы ушел к Дженет, — не из боязни, что та накажет его, если он останется с Джейн, но чувствуя, с сердечным жаром и жалостью, что ее он любит гораздо сильнее. Возможно, он чувствовал даже, что Богу он нужнее, чем Гвиневере. Именно эта проблема, скорее эмоциональная, чем этическая, и заставила его искать убежища в обители, где, как он надеялся, ему удастся до конца разобраться в своих чувствах.

И все-таки было бы не совсем верным сказать, что не великодушные побуждения заставили его воротиться. Ланселот был человеком великодушным. Он был маэстро. Даже если в обычные времена Бог нуждался в нем сильнее, на этот раз нужды его первой любви явно были безотлагательнее. Мужчина, оставивший Джейн ради Дженет, тоже ведь может сохранить достаточно душевной теплоты, чтобы вернуться к первой, когда она будет отчаянно в нем нуждаться, и теплоту эту можно тогда было б назвать жалостью, великодушием, благородством — если бы вера в существование этих чувств не вышла в наше время из моды и не стала бы отчасти даже неприличной. Как бы там ни было, но Ланселот,

боровшийся со своей любовью к Гвиневере, как и со своей любовью к Богу, вернулся к ней сразу, едва лишь прознав, что она в беде, и стоило ему увидеть ее просиявшее лицо, заждавшееся под постыдною стражей, как укрытое кольчугой сердце его перевернулось, пронзенное неким чувством, — назовите его любовью или жалостью, или как вам это понравится.

В тот же миг перевернулось и сердце сэра Мадора де ла Порте, но идти на попятный ему было уже поздновато. Лицо его под шлемом невидимо для всех побагровело, он ощутил как бы некое жжение под соломой, облекавшей кругом его череп. Он вернулся в свой угол и пришпорил коня.

Есть нечто прекрасное в том, как взлетает в воздух сломанное копье. Внизу под ним, на земле, еще вовсю идет потасовка. Ленивое движение копья, его подъем и кружение, медлительные и безмолвные, составляют с потасовкой разительный контраст. Копье как бы возносится над земными заботами, похоже, не усматривая в быстром движении смысла. Быстрое движение — в данном случае движение сэра Мадора, покидающего коня спиной вперед и кверху ногами, — происходит много ниже копья, совершающего в грациозной отрешенности свой независимый пируэт и падающего на землю, туда, где больше никто о нем и не вспомнит. По какому-то баллистическому капризу копье сэра Мадора пало вниз острием — в точности за спиной рыцаря-стражника, что держал в руках черного мопса. Когда этот рыцарь впоследствии оборотился и обнаружил копье, стойком торчавшее сзади него, точно заглядывая через плечо, его продрал озноб.

Сэр Ланселот спешился, дабы лишить себя преимущества, каковое имеет всадник перед пешим бойцом. Сэр Мадор поднялся и буйно замахал мечом в сторону противника. Он не на шутку осерчал.

Потребовалось два основательных удара, чтобы угомонить сэра Мадора. Когда он в первый раз очутился на земле, Ланселот подошел к нему, чтобы

принять его капитуляцию, но сэр Мадор снова разволновался и сподниза ткнул возвышающегося над ним противника мечом. Это был довольно подлый удар, нацеленный снизу в пах сквозь такую часть доспехов, которая по необходимости укреплена менее всего. Ланселот отступил, чтобы позволить сэру Мадору встать, если тому угодно будет продолжить поединок, и все увидели, как его набедренники и наголенники заливает кровь. Было нечто жуткое в том, как терпеливо он отступил, с пробитым бедром. Выйди он из себя, перенести это зрелище было бы легче.

Во второй раз королевин заступник ударил сэра Мадора покрепче. Затем он сорвал с него шлем.

— Ладно, — сказал сэр Мадор. — Сдаюсь. Я был не прав. Сохрани мне жизнь.

Тут Ланселот сделал очень изящный ход. На его месте практически всякий рыцарь удовлетворился бы тем, что дело Королевы выиграно, и оставил бы все как есть. Но Ланселоту была присуща своего рода прилежная заботливость по отношению к людям, он почитал необходимым думать о том, что они чувствуют или могут почувствовать.

— Я сохраню тебе жизнь, — сказал он, — лишь если ты пообещаешь мне, что на могиле сэра Патрика ничего написано не будет. Ни слова о Королеве.

— Обещаю, — сказал Мадор.

Затем, пока лекари еще несли по полю потерпевшего поражение адвоката, Ланселот направился к королевской ложе. Королеву, не теряя времени, освободили, и она уже сидела рядом с Артуром.

Артур сказал:

— Снимите ваш шлем, неведомый рыцарь.

Артур и Гвиневера испытали прилив любви и сострадания, когда рыцарь снял с себя шлем, и они снова увидели некрасивое, столь знакомое им лицо, обладатель которого, истекая кровью, стоял перед ними.

Артур спустился на поле. Он заставил Гвиневеру

встать, взял ее за руку и свел за собой на арену. Он церемонно поклонился сэру Ланселоту и потянул Гвиневеру за руку, чтобы и она присела перед рыцарем в реверансе. В полный голос Король произнес, складывая слова на старинный манер:

— Сэр, грамерси за ваш великий ратный труд, что приняли вы нынче за меня и за мою Королеву.

Любовь светилась на его улыбающемся лице, а за спиной у него Гвиневера рыдала так, словно сердце ее разрывалось.

38

И случилось так, что правда относительно смерти сэра Патрика открылась на следующий день — благодаря появлению Нимуи, представившей объяснения, кои она получила с помощью ясновидения. Мерлин, перед тем как позволить Нимуе замкнуть его в пещере, вверил ей Дело Британии. Он заставил ее пообещать, — большего он сделать не мог, — что раз уж она овладела всем его волшебством, то она теперь и будет присматривать за Артуром. Выслушав обещание, он смиренно вошел в свою темницу, на прощание окинув Нимую долгим обожающим взглядом. Нимуя при всем ее легкомыслии и непунктуальности была девушкой, в сущности, доброй. Она прибыла ко двору, опоздав всего на день, поведала, как было отравлено яблоко, и вернулась к собственным заботам. Сэр Пинель подтвердил ее показания, ударившись тем же утром в бега, но оставив писанное признание, и все сошлись на том, что сэр Ланселот весьма удачно оказался поблизости.

Может быть, и удачно, да только не для Королевы. Да, разумеется, она жива и спасена от позора, и однако же случилось невообразимое. Несмотря на все слезы, несмотря на безудержный всплеск чувств, снова потрясший их, Ланселот продолжал упрямиться, желая остаться верным своему Граалю.

Ему-то хорошо, восклицала Гвиневера, — она с каждым днем теряла рассудок, и смотреть на нее было тяжко, — ему хорошо, он купается в новых радостях. Ну еще бы, он испытывает восхитительные ощущения — силу, просветление, душевный подъем — они способны искупить все, что угодно. Возможно, этот его знаменитый Бог дал ему нечто такое, чего она дать не сумела. А ей-то как быть? Ему

не случалось задумываться о том, что она получила от Бога? Все выглядит в точности так, кричала она Ланселоту в лицо, как если бы он бросил ее ради другой женщины. Он отнял у нее все самое лучшее, а теперь, когда она постарела и ни на что не годится, он норовит отыскать утешение где-то еще. Он повел себя с типичным для мужчины скотским эгоизмом — взял все, что мог, в одном месте, а когда там поживиться стало уже нечем, отправился в другое. Мелкий воришка — вот кто он такой. И подумать только, она ему верила! Хватит, больше она не любит его, она не позволит ему и приблизиться к ней, даже если он на коленях станет молить ее об этом. И на самом-то деле, она не ставила его ни во что еще до того, как начались поиски Грааля, — да, ни во что, и она уже тогда решила бросить его. Пусть не думает, будто это он ее бросает: совершенно наоборот. Это она отшвыривает его прочь, словно грязную тряпку, потому что не чувствует к нему ничего, кроме презрения. К нему и к его позерству, к его раздутой от важности физиономии, к его низости, к его инфантильности и тщеславию. К его никчемному Боженьке и ханжеской лжи. И если он хочет знать полную правду, а она не видит никакого смысла и дальше ее скрывать, — так при дворе есть один молодой рыцарь, уже ставший ее любовником: уже бывший им еще до Грааля! Милейший молодой человек — не чета Ланселоту! Очень ей нужен такой прокисший сморчок, когда у ее ног лежит прекрасный, как роза, мальчик, который боготворит ее, да-да, боготворит землю, по которой она ступает! Самое лучшее для Ланселота это вернуться к Элейне, к матери его знаменитого сына. И пусть себе молятся вместе, если получится, две старых развалины, целую ночь напролет. Пусть беседуют о своем дитятке, о Галахаде, нашедшем этот проклятый Грааль, пусть смеются над ней, если им это нравится, да, пожалуйста, смейтесь, милости просим, смейтесь, ведь она так и не смогла родить сына.

И тут Гвиневера начинала хохотать, между тем как некая часть ее, словно сквозь окна, выглядывала сквозь глазницы наружу и с отвращением внимала производимому ей шуму, — потом смех сменялся слезами, и она принималась бурно рыдать.

Странное дело, но Артур, решив устроить по случаю оправдания Королевы турнир, выбрал для него место невдалеке от Корбина. Этим местом мог быть Винчестер или Бракли, где и сейчас находится одно из четырех уцелевших в Англии турнирных полей. Собственно, важным является не место, где проходил турнир, важно, что именно в Корбине влачила в одиночестве зрелые годы бездетная ныне Элейна.

— Ты, разумеется, отправишься на этот турнир? — злобно спросила Королева. — Не упустишь же ты возможности побывать рядышком со своей потаскухой?

Ланселот сказал:

— Дженни, неужели ты не способна ее простить? Скорее всего, она теперь столь же некрасива, сколь и несчастна. Она ведь никогда не обзаводилась запасными позициями.

— Великодушный Ланселот!

— Если ты не желаешь, чтобы я ехал на этот турнир, — сказал он, — я не поеду. Я никогда не любил никого, кроме тебя.

— Кроме Артура, — сказала Королева. — Кроме Элейны. Кроме Бога. Если, конечно, не существует еще и других, о которых я не прослышала.

Ланселот пожал плечами — один из глупейших жестов, когда собеседник твой жаждет ссоры.

— А ты поедешь? — спросил он.

— Я? Ехать туда, чтобы полюбоваться, как ты увиваешься вокруг этой кочерыжки? Разумеется, не поеду и тебя не пущу.

— Ну и отлично, — сказал он. — Я скажу Арту-

ру, что болен. Я могу сослаться на то, что еще не оправился от раны.

И он пошел искать Короля.

Когда все уехали на турнир и при дворе стало пусто, Гвиневера вдруг передумала. Возможно, она удержала Ланселота, чтобы остаться с ним наедине, а обнаружив, что ничего путного из их уединения не выходит, переменила решение, — впрочем, причина нам неизвестна.

— Лучше тебе все же поехать, — сказала она. — Если я стану держать тебя здесь, ты скажешь, что я это из ревности, и будешь потом тыкать меня в эту ревность носом. Кроме того, если ты останешься, это может вызвать скандал. Да и не нужен ты мне. Видеть тебя не могу. Убирайся. Ступай!

— Дженни, — попытался он урезонить ее, — как же я поеду теперь. Я ведь сказал, что мне мешает рана, и если я все же появлюсь на турнире, скандал разразится куда более громкий. Все подумают, что мы поссорились.

— Ну и пусть себе думают, что хотят. Я только одно могу тебе сказать: лучше уезжай, пока ты не свел меня с ума.

— Дженни.

Он чувствовал, что сердце его разрывается надвое, и что безумие, до которого она некогда его довела, того и гляди поразит его снова. Возможно, и она это заметила. Как бы там ни было, повадка ее внезапно смягчилась, и она проводила его в Корбин ласковым поцелуем.

«Я возвращусь назад», — пообещал он когда-то, и вот наконец сдержал обещание. Немыслимо было приехать на турнир и не проведать Элейну. Дело не только в том, что он обещал ей вернуться, он к тому же хранил в памяти последние слова их единственного сына, ныне покойного или по крайней мере

перенесенного в мир иной. Даже самый жестокий человек навряд ли отказался бы навестить ее при таких обстоятельствах.

Значит, придется остановиться в Корбине, рассказать ей о Галахаде, а на турнире сражаться в измененном обличье. Он объяснит Артуру, что сослался на рану, дабы явиться туда нежданным и неузнанным, ибо таковы новомодные веяния. Эта отговорка и объяснит, почему он обосновался в замке Корбин, а не там, где проходит турнир, и предотвратит разного рода скандальные толки о его новой ссоре с Королевой.

Подъезжая аллеей ко рву и минуя cheval de frise, он с изумлением обнаружил, что Элейна ждет его на зубчатой стене — в той же позе, в какой он оставил ее, уезжая, двадцать лет назад. Она встретила его в Главных Воротах.

— Я ждала тебя.

Она потолстела, стала приземистой, похожей отчасти на Королеву Викторию, и появление его приняла с простодушием истинной веры. Он же сказал, что вернется, — ну, вот и вернулся. Ничего иного она и не ожидала.

И следующие ее слова вонзились в его сердце, как нож.

— Теперь ты останешься здесь навсегда, — сказала она, и это не прозвучало вопросом. Вот во что претворила она ответ, данный им, когда они расставались много лет назад.

39

Если вам хочется почитать о Корбинском турнире, обратитесь к Мэлори, там все описано. Мэлори был страстным любителем турниров, подобно тем пожилым джентльменам, что в наши дни не вылезают из крикетных павильонов стадиона «Лордз», — быть может, он имел даже доступ к какому-то древнему справочнику вроде «Уиздена», а то и к судейским протоколам. О каждом из прославленных турниров он приводит исчерпывающий отчет, сообщая о всяком рыцаре, сколько очков он набрал, и как звали человека, который перебросил его через конский круп или вышиб из него дух. Однако дотошные описания старых крикетных матчей способны нагнать только скуку на тех, кто в них не участвовал, и потому мы не станем давать подробный отчет об этом турнире. Пожалуй, единственное, что у Мэлори скучновато, так это подробнейшие судейские ведомости, которые он приводит в двух-трех местах, — хоть, впрочем, и они не совсем уж скучны для человека, осведомленного, в чью форму были облачены те или иные из рыцарей помельче. Для нас довольно будет сказать, что Ланселот разил противника по всему полю — за время, прошедшее после Грааля, к нему вернулось все его мастерство — и что он со своим мечом превзошел бы все поставленные им за долгую жизнь рекорды, если бы не открылась заново рана, полученная им от сэра Мадора. Странно, что он показал столь высокий уровень исполнительского мастерства именно в этот раз, ибо душа его изнывала втройне — по Гвиневере, по Богу и по Элейне, — следует, впрочем, сказать, что в подобных обстоятельствах не один он являл высокие образцы искусства. В конце концов, после того, как он, не-

смотря на старую рану, сокрушил то ли тридцать, то ли сорок рыцарей (спе́шив, кстати сказать, и Агравейна с Мордредом), на него насели сразу трое, и копье одного из нападавших пробило его защиту. Копье сломалось, оставив наконечник у Ланселота в боку.

Ланселот покинул поле, пока был еще способен усидеть на коне, и поскакал быстрым галопом, раскачиваясь в седле и отыскивая место, где он сможет побыть один. Всякий раз, как он получал серьезную рану, в нем просыпалась эта инстинктивная потребность в одиночестве. Смерть представлялась ему частным делом, и если уж пришлось умирать, он старался получить возможность умереть наедине с собой. Лишь один рыцарь увязался за ним — Ланселот был слишком слаб, чтобы избавиться от него, — этот-то рыцарь и помог ему вытащить из ребер наконечник копья, и он же, когда Ланселот все же лишился чувств, расположил его поудобней, «повернув сэра Ланселота так, чтобы ветер дул ему в лицо». Тот же самый рыцарь в конце концов уложил его в постель и доставил к этой постели не помнившую себя от горя Элейну.

Важность Винчестерского турнира определяется не каким-то особым проявлением воинской доблести и даже не плачевной раной Ланселота, от которой он со временем оправился. Связанные с этим турниром обстоятельства, сыгравшие немалую роль в жизни четырех наших друзей, еще остается пересказать. Ибо Ланселот, нежданно столкнувшийся с необоснованной уверенностью несчастной Элейны, уверенностью в том, что он останется с ней навсегда, не решился сказать ей правду. Возможно, он был во многих смыслах человеком слабым — прежде всего слабым в том, что отнял Гвиневеру у своего лучшего друга, слабым в своих попытках променять возлюбленную на Бога и, наконец, если уж говорить о главном проявлении его слабости — в том, что он

пытался утешить Элейну, обещав ей возвратиться. Ныне, когда он лицом к лицу столкнулся с простодушными надеждами бедной женщины, он не отважился одним решительным ударом разрушить ее иллюзии.

При всей ее простоте и неосведомленности иметь с Элейной дело было непросто, ибо она обладала тонкостью чувств, — в сущности говоря, куда большей, нежели Гвиневера, хоть и не хватало ей силы, которой была наделена храбрая и открытая внешнему миру Королева. Ей достало деликатности не ошеломлять Ланселота восторженными приветствиями, когда он вернулся после долгой отлучки, не пенять ему, да она никогда и не чувствовала, что имеет причины ему пенять, и сверх всего — не удушать его жалобами на свою горькую участь. Пока они дожидались в Корбине начала турнира, она, словно зажав сердце в кулак, не давала себе никаких поблажек: тщательно воздерживаясь от упоминаний о долгих годах, прожитых ею в надежде на возвращение сво-

его господина, о своем одиночестве — полном теперь, когда у нее не осталось и сына. Все, о чем она умалчивала, Ланселоту было известно. Сам неуверенный и тонко чувствующий, он забыл уже, как странно начинались их отношения. В печалях Элейны он винил теперь только себя.

И оттого, когда она обратилась к нему с пустяковой просьбой, пред тем избавив его от стольких слез и восторгов, что оставалось делать ему, как не доставить ей удовольствие? Ему еще предстояло открыть ей тщету ее покамест непоколебленных надежд. А он все откладывал. Ощущая себя палачом, осведомленным о неизбежности завтрашней казни, он пытался дать жертве сегодня хотя бы немного радости.

— Ланс, — сказала она перед самым турниром, по-детски смиренно прося его о странной услуге, — теперь, когда мы вместе, ты согласишься носить на турнире мой знак?

Теперь, когда мы вместе! И в ее интонациях он вдруг увидел отображение двадцати лет одинокой жизни и в первый раз осознал, что все это время она следила за его рыцарскими успехами, словно школьница, влюбленная в бэтсмена Хоббса. Бедняжка воображала себе его битвы — и почти наверняка воображала неверно, втайне утоляя изголодавшееся сердце полученными из вторых рук описаниями поединков, гадая, чей знак занимает сегодня почетное место. Быть может, она двадцать лет твердила себе, что настанет день, когда великий воин выйдет сражаться с ее лентой на шлеме, — одна из тех надежд, смешных и честолюбивых, которыми насыщается несчастливая душа, лишенная достойной ее пищи.

— Я никогда не носил ничьих знаков, — сказал он со всей откровенностью.

Она не стала молить и жаловаться и честно постаралась скрыть разочарование.

— Но твой понесу, — сразу прибавил он. — И буду горд этим. Да кроме того, он поможет мне — и даже очень поможет — остаться неузнанным. Как раз потому, что это мое обыкновение ведомо всем, он станет отличнейшей маскировкой. Как ты умно это придумала! К тому же он заставит меня лучше сражаться. Каков он?

То был шитый крупным жемчугом алый рукав. За двадцать лет можно сделать хорошую вышивку.

Через две недели после Винчестерского турнира, пока Элейна еще выхаживала своего героя, возвращая его к жизни, Гвиневера устроила при дворе сцену сэру Борсу. Будучи женоненавистником, Борс всегда имел с женщинами весьма поучительные сцены. Он говорил, что думал, и они говорили, что думали, и никто из них ни капли другого не понимал.

— А, сэр Борс, — произнесла Королева, которая в спешке послала за ним, едва прослышав про алый рукав, ибо Борс был одним из ближайших сородичей

Ланселота. — А, сэр Борс, слышали ли вы, как сэр Ланселот коварно меня предал?

Борс, уразумев, что Королева «от гнева едва не лишилась рассудка», густо покраснел и сказал с преувеличенной терпеливостью:

— Если и был кто предан, так это сам Ланселот. Его смертельно ранили три рыцаря сразу.

— Я рада, — крикнула Королева, — рада слышать об этом! И хорошо, если он умрет. Он коварный рыцарь-изменник!

Сэр Борс пожал плечами и поворотился к Королеве спиной, словно желая сказать, что не намерен выслушивать подобные речи. Вся спина его, пока он шагал к дверям, показывала, что именно думает он о женщинах. Королева кинулась следом, намереваясь, если придется, задержать его силой. Она не собиралась позволить ему с такой легкостью избегнуть этой сцены.

— Разве я не могу назвать его изменником, — возопила она, — если он носил во время турнира в Винчестере на своем шлеме красный рукав?

Борс, устрашась физического насилия, ответил:

— Меня и самого печалит этот рукав. Не нацепи он рукав, чтобы никто его не признал, может быть, на него и не набросились бы сразу трое.

— Тьфу на него! — воскликнула Королева. — Он получил хорошую взбучку, при всей его заносчивости и бахвальстве. Его побили в честном бою.

— Ничего подобного. На него напали трое зараз, да к тому же и старая рана его открылась.

— Тьфу на него! — повторила Королева. — Я слышала, как сэр Гавейн рассказывал перед Королем, что нет слов передать, какая любовь между ним и Элейной.

— Я не могу запретить Гавейну говорить, что ему вздумается, — горячо, отчаянно, жалостно, гневно, испуганно выпалил сэр Борс и вышел, хлопнув дверью и тем почти что сравняв счет.

А в Корбине Ланселот с Элейной держали друг дружку за руки. Он бледно улыбнулся ей и слабым голосом сказал:

— Бедная Элейна. Похоже, тебе на роду написано выхаживать меня то от одной болезни, то от другой. Только полуживого тебе и удается меня получить.

— Теперь-то я получила тебя навсегда, — сияя, сказала она.

— Элейна, — произнес Ланселот, — мне нужно с тобою поговорить.

40

Когда Рыцарь, Совершивший Проступок, возвратился из Корбина, Гвиневера все еще гневалась. По какой-то причине она заставила себя уверовать в то, что Элейна вновь стала его любовницей, — может быть, просто-напросто потому, что этой уверенностью она надеялась уязвить Ланселота больнее всего. Он только притворялся, будто его обуяли религиозные чувства, заявила она, — и это вполне доказывается тем, что он немедля спутался с Элейной, едва представилась такая возможность. Именно это, утверждала она, и было у него на уме все время. Он мошенник, да и мошенник-то жалкий — слабенький. Между ними происходили истерические ссоры по поводу его слабости и мошенничества, перемежавшиеся сценами более любовного рода, необходимыми в качестве противовеса той идее, что она всю свою жизнь любила мошенника. Вследствие этих ссор, Гвиневера приобрела более цветущий вид и даже вернула себе былую красоту. Но между бровей у нее обосновались две морщины, а в сверкающие, словно алмазы, глаза ее порой страшно было заглядывать. Они теряли осмысленное выражение.

Что до Элейны, то с ней вскоре все прояснилось, ибо на сей раз именно Элейна нанесла им удар — самый сильный удар в ее жизни. Впрочем, преднамеренным его назвать было нельзя: Элейна просто покончила с собой.

Похоронная барка спустилась к столице по реке, — ибо реки в ту пору были основными проезжими трактами, — и пристала под самой стеною дворца. Внутри лежала она — похожая на располневшую куропатку женщина, так и не нашедшая в жизни опоры. Человек, вероятно, совершает само-

убийство от слабости, не от силы. Ее немощные потуги направить руку судьбы, завлекая своего господина с помощью жалких уловок или безмолвной участливости, оказались недостаточно убедительными для жизни, все вершащей по своему произволу. Ее покинул сын, потом возлюбленный, а больше у нее ничего не осталось. Даже обещанного возвращения слабые руки ее удержать не смогли. Некогда оно было чем-то таким, ради чего стоило жить, подпорками — не слишком роскошными, но с достаточной исправностью помогавшими ей сохранять прямую осанку. Ей удалось обойтись и такими. Не будучи ни властной, ни слишком требовательной, она сумела растянуть надолго то малое, чем ей приходилось довольствоваться. Но теперь она лишилась и малого.

Все обитатели дворца сошли к реке, чтобы осмотреть барку. Не прекрасную деву из Астолата увидели они в ней, но пожилую женщину, чьи руки в жестких с виду перчатках послушно сжимали бусины четок. Смерть изменила ее, состарила. Суровое, серое лицо женщины в барке явно не принадлежало Элейне, удалившейся куда-то еще или просто исчезнувшей.

Кем бы ни был Ланселот, — слабовольным мужчиной, маниакальным игроком или одним из тех невыносимых созданий, что норовят всегда поступать, как подобает порядочному человеку, ему пришлось несладко. Надо полагать, что ему с его наследственной склонностью к безумию, с его фантастическим лицом, с окончательно запутавшимся клубком обязательств и моральных принципов, стоило немалых трудов поддерживать свою жизнь в равновесии и без разнообразных ударов, получаемых в придачу ко всем этим прелестям. Он смог бы вынести и эти удары, благослови его провидение заскорузлым сердцем. Но сердце у него было под стать сердцу Элейны, и теперь бремя, раздавившее ее, оказалось для него непосильным. Все, что он мог бы сделать для несчастной женщины и что теперь делать было уже поз-

дно, все мучительные мысли об ответственности, приходящие после того, как свершается непоправимое, все это затянулось в его сознании тугим узлом.

— Почему ты не был к ней чуть подобрее? — плача, вопрошала Королева. — Почему ты не хотел дать ей хоть какую-то малость, ради которой стоило жить? Неужели ты не мог явить ей хотя бы каплю щедрости и нежности, ведь они бы спасли ей жизнь!

Гвиневера, еще не понявшая, что Элейна встала теперь между ними куда основательнее, чем когда-либо прежде, говорила это от всей души, совершенно искренне. Ее переполняла жалость к покоившейся в барке сопернице.

41

А между тем жизнь в Камелоте, несмотря на самоубийство Элейны, шла по новой стезе. Особенно счастливой никто бы ее не назвал, но людям так или иначе свойственно цепляться за жизнь, желать, чтобы она продолжалась. Нельзя сказать, что в этой новой жизни присутствовала единая фабула, она состояла скорей из рассказиков, как-то все шло одно за другим, образуя цепь вовсе не отмеченных необходимостью событий. Один из таких анекдотов, происшедших как раз в то время, заслуживает упоминания — не потому, что из него что-либо проистекло или что-то ему предшествовало, нет, просто именно такого рода казусы и случались с Ланселотом. Да и реагировал он на них довольно своеобразно.

Как-то раз он лежал ничком в лесу, предаваясь никому не ведомым печальным размышлениям, как вдруг невдалеке от него появилась дама-охотница, вооруженная луком. Нигде не сказано, была ли она дамой мужеподобной разновидности, при усах и мужском галстуке, или просто девицей без царя в голове, представительницей киношного мира, взявшей в руки лук лишь для того, чтобы выглядеть пошикарнее. Как бы то ни было, она увидела Ланселота и приняла его за кролика. Все же по здравом размышлении ее, пожалуй, следует причислить к мужеподобным дамам, ибо, — хотя способность подстрелить по ошибке мужчину вместо кролика и свидетельствует о многом, — кинозвезде все-таки навряд ли удалось бы попасть в цель. Ланселот, вскочивший на ноги (стрела почти на шесть дюймов вошла в его ягодицу), повел себя в точности, как полковник Боуги, загнанный в гольфе на вторую

отметку. Он с немалым пылом сказал: «О дама, или девица, кто бы вы ни были, в недобрый час взяли вы в руки этот лук. Дьявол научил вас стрелять!»

Тем не менее Ланселот, даже с раной пониже спины, отправился сражаться на следующий турнир — немаловажный вследствие того, что на нем приключилось. Напряжение, всерьез охватившее двор и явственное для всякого, за исключением Ланселота, слишком невинного, чтобы осознавать подобные вещи, совершенно определенным образом начало проявляться на турнире близ Вестминстера. Прежде всего, Артур заявил на нем о своем отношении к несчастному треугольнику, в котором состоял. Он сделал это, бедняга, неожиданно встав в grand melée[1] на сторону, противную той, за которую выступал Ланселот. Он ополчился против своего лучшего друга и попытался причинить ему ущерб, и весьма распалился при этом. Ничего противного рыцарству он не совершил и в конечном итоге ничем не повредил Ланселоту. Но странный выверт его чувств, тем не менее, остается фактом. До и после того они оставались друзьями. И однако же один яростный миг Артур пробыл рогоносцем, а Ланселот — изменником. Таково поверхностное объяснение — но не исключено, что в поступке Артура присутствовала и совсем иная, потаенная мысль. Давно прошло то время, когда Артур был счастливым мальчишкой Вартом, давно уже дом его и королевство миновали суженный им пик удачи. Быть может, Артур устал бороться, устал от Оркнейской клики, от удивительных новых мод, от сложностей любви и новейшего правосудия. Он мог сражаться с Ланселотом в надежде, что тот убьет его, — даже и не в надежде, ибо сознательной попытки тут не было. Этот прямой, благородный и добросердый человек мог подсознательно постичь, что единственным выходом из поло-

---

[1] Общая стычка (*фр.*).

жения, в которое попал и он, и два любимых им человека, должна стать его, Артура, смерть, после которой Ланселот сможет жениться на Королеве и примириться с Богом, — и оттого, быть может, он предоставил Ланселоту возможность убить себя в честном бою, что руки у него опустились. Быть может, и так. Во всяком случае, ничего из этого не вышло. Вспышка раздражения — и любовь их расцвела заново.

Другая важная особенность турнира состояла в том, что Ланселот в блаженной невинности наконец противопоставил себя Оркнейцам раз и навсегда. Он спе́шил весь клан за исключением Гарета, одного рыцаря за другим, а Мордреда с Агравейном сбросил с коня даже дважды. Только святому могло хватить глупости столь часто спасать этих рыцарей от погибели, выручая их из разного рода Башен Слез и подобных этому мест, но повышибать из них дух в качестве апофеоза, да еще выбрав столь неудачное время, это уже граничило со слабоумием. Гавейн, отдадим ему должное, был человеком достаточно порядочным, чтобы не принимать участия в заговорах, умышляющих против жизни Ланселота, что до Гахериса, то он был попросту глуп. Однако со дня турнира посягательство фешенебельной партии Мордреда и Агравейна на жизнь главнокомандующего стало всего лишь вопросом времени.

Третье свидетельство того, куда подул теперь ветер, явил Гарет, выступивший под Вестминстером на стороне Ланселота. Это странное скрещение чувств — Король против своего второго «я», Гарет против собственных братьев, — не миновало ничьего внимания. Все понимали, что подобное проявление подспудной напряженности чревато грозой. И гроза пришла — как водится, с такой стороны, откуда никто ее и не чаял.

Жил на свете один рыцарь, из самых затрапезных, по прозванию сэр Мелиагранс, которому при дворе ни в чем не было счастья. Приведись ему жить в

более ранние времена, когда о мужчине судили по его мужским достоинствам, он вполне бы мог преуспеть. К несчастью, он принадлежал к более позднему поколению, Мордредова покроя, и судили о нем уже по новым стандартам. Всякому было ведомо, что сэр Мелиагранс невысокого полета птица. Он это тоже сознавал — хотя сама классификация по высоте полета была выдумана Мордредом — и не испытывал в оной связи особого счастья. Кроме всего прочего, у сэра Мелиагранса имелась особая причина чувствовать себя в обществе несчастным. Сколько он себя помнил, он был отчаянно и безнадежно влюблен в Гвиневеру.

Новость пришла, когда Артур с Ланселотом прогуливались по аллее для игры в шар. У них сложилось обыкновение каждый день встречаться в этом далеко не людном месте, чтобы насладиться недолгой беседой.

Артур как раз говорил:

— Нет, Ланс, нет. Ты никогда не понимал беднягу Тристрама.

— Да проходимец он был, только и всего, — упрямо повторил Ланселот.

Они говорили о Тристраме в прошедшем времени, поскольку отчаявшийся Король Марк убил-таки его, пока тот играл на арфе у ног Изольды Прекрасной.

— Пусть он даже и умер, — добавил рыцарь.

Однако Король энергично потряс головой.

— Не проходимец, — сказал он, — буффон, один из величайших комических персонажей. Он вечно влипал в нелепейшие истории.

— Буффон?

— Рассеянный простофиля, — сказал Король. — Именно это и делало его столь комичным. Да ты вспомни хотя бы его романы.

— Это ты об Изольде Белорукой, что ли?

— Я совершенно уверен, что Тристрам попросту перепутал двух женщин. Он помешался на Изольде Прекрасной, а потом взял да и забыл о ней — на-

прочь. И вот в один прекрасный день ложится он в постель с другой Изольдой и вдруг что-то такое в этой процедуре напоминает ему о чем-то совсем ином. Его осеняет вдруг, что Изольда-то не одна, их две, — и он приходит в страшное расстройство. Что же это я лезу в постель к Изольде Белорукой, говорит он себе, когда всю свою жизнь я любил Изольду Прекрасную! Ну, как тут не расстроиться? А Королева Ирландии, которая едва его не прикончила в ванне? На этом молодом человеке лежал отсвет высокой комедии, так что ты уж прости его, пусть даже он и был проходимцем.

— Я... — начал Ланселот, и в этот миг появился вестник.

Им был запыхавшийся мальчишка в рассеченном стрелою под правой подмышкой коротком кафтане. Он сжимал прореху пальцами и говорил, захлебываясь.

Речь шла о Королеве, отправившейся поутру майским праздничным поездом по лугам и лесам, ибо дело происходило первого мая. Она выехала рано, как того требовал обычай, намереваясь вернуться к десяти часам с росистыми первоцветами, фиалками, цветками боярышника и ветвями в зеленых почках, какие полагалось сбирать в это утро. Всю свою охрану — Рыцарей Королевы, носивших в качестве знака отличия белые щиты, — она оставила дома, взяв с собою лишь десяток рыцарей, одетых в партикулярное платье. Они облачились в зеленое, дабы справить тем самым праздник весны. Среди них находился и Агравейн, недавно пристроившийся к Королеве на службу, чтобы шпионить за ней, — Ланселота же намеренно с собою не взяли.

Ну так вот, они уже весело скакали домой, в цветах и ветках, когда наперерез им выскочил из засады сэр Мелиагранс. Все эти разборы полетов давили ему на психику, и в конце концов он счел, что вправе вести себя не по-джентльменски, раз его все равно джентльменом никто не считает. Он знал,

что Королева выехала в сопровождении невооруженных рыцарей и что Ланселота среди них нет. И он, собрав изрядное количество лучников и рыцарей вооруженных, решил захватить ее.

Произошла стычка. Рыцари Королевы защищали ее мечами и кинжалами, как только могли, пока все не получили ранения, шестеро — серьезные. В конце концов, Гвиневера, дабы спасти их жизни, сдалась. Она поставила сэру Мелиагрансу — которому так и не хватило духу повести себя настоящим мерзавцем — условие, что если она отзовет своих рыцарей, то он обязуется отвезти раненых к себе в замок и уложит их на ночь в преддверии ее спальни. Влюбленный Мелиагранс, которого и так уже били корчи от собственного нерешительного лиходейства, понимая, сколь безнадежно пытаться силой принудить возлюбленную к чему бы то ни было, условия принял. Бедняга не годился на злодейские роли.

Пока раненых суетливо укладывали поперек седел, приготовляясь к печальному шествию, Королева, сохранившая трезвую голову, поманила к себе отрока-пажа, сидевшего верхом на свежем и быстроногом пони, и тайком поручила ему кольцо, а с ним — словесное известие для Ланселота. Улучив удобную минуту, отрок помчался прочь с такой прытью, как если бы от нее зависело спасение его жизни, — как оно, впрочем, и было, ибо в погоню за ним пустились лучники. Вот оно, это кольцо.

Ланселот, едва дослушав рассказ до середины, закричал, требуя, чтобы подавали доспехи. К концу рассказа Артур стоял перед рыцарем на коленях, пристегивая ему наголенники.

42

Когда верховые лучники воротились и удрученно сообщили, что мальчишку им подстрелить не удалось, сэр Мелиагранс понял, что его ожидает в ближайшем будущем. Он проникся горестными сожалениями, и не только от сознания, что повел он себя и неразумно, и пакостно, но и по причине его неподдельной любви к Гвиневере. Однако кое-какой задор в нем еще оставался, и он понимал, что, зашедши так далеко, отступать уже не приходится. Ланселот несомненно заявится сюда, как только ушей его достигнут известия о случившемся, стало быть, необходимо выиграть время. Замок сэра Мелиагранса не был подготовлен к осаде, но если подготовить его удастся, то появится основательная надежда на заключение сделки с осаждающими, тем более что Королева-то будет внутри. Следовательно, Ланселота надлежит задержать любой ценой, пока замок не станет пригодным для обороны. Сэр Мелиагранс правильно догадался, что Ланселот очертя голову кинется спасать Королеву, едва ему удастся влезть в доспехи. Наилучший же способ задержать его — это устроить еще одну засаду: на узкой лесной прочисти, которой Ланселот не минует, столь узкой, что лучникам наверняка удастся убить под ним коня, если не пробить его латы. Еще со Смутных Времен разного рода заросли вырубались по обеим сторонам всякой проезжей дороги на расстояние полета стрелы, но эту просеку вследствие некоторых особенностей местности проглядели. А умело пущенная стрела способна, как было известно сэру Мелиагрансу, даже одолев порядочное расстояние, пробить любые доспехи.

Итак, назначенный в засаду отряд спешно поки-

нул замок, а в самом замке поднялась невиданная суматоха. Пастухи сгоняли скотину внутрь цитадели, а скотина либо норовила сбежать, либо лезла не в свое стадо, либо упрямилась и в ворота не шла. Мальчишки-водоносы бегом натаскивали воду в огромные кадки — замок принадлежал к дурацкой разновидности, присхождением своим обязанной как будто Ирландии: во внутреннем дворе его колодец отсутствовал. Служанки метались взад и вперед в состоянии близком к истерике, ибо сэр Мелиагранс, как это и вообще свойственно людям, залетевшим чересчур высоко, вознамерился так принять плененную им Королеву, чтобы уж никто и ни в чем не смог его упрекнуть. Горничные приготовляли для нее будуар, перетаскивали туда гобелены из его холостяцкой спальни, надраивали серебро и бегали по ближайшим соседям, занимая золотую посуду. Сама Гвиневера, затиснутая, пока для нее готовились официальные покои, в маленькую гостиную, еще усугубляла суматоху, требуя для раненых рыцарей повязок, горячей воды и носилок. Сэр Мелиагранс, носившийся вверх и вниз по лестницам с криками «Да, мадам, сей минут, мадам!» или «Мэриан, Мэриан, куда ты, черт дери, засунула свечи?», или «Мэрдок, чтоб через минуту ни одного барана в башне не было!», находил еще время прижиматься лбом к холодным камням амбразуры, хвататься за сбившееся с толку сердце, проклинать свою дурость и еще пуще запутывать свои и без того уже путаные помыслы.

Раньше всех порядок в своих делах навела Королева. Ей, собственно, и нужно-то было только раненых перевязать, к тому же ее притязания удовлетворялись в первую голову. Она присела с прислужницами к одному из замковых окон, являя собою зрелище безбурной сердцевины бушующего смерча. Вдруг одна из девушек воскликнула, что внизу что-то движется по дороге.

— Это телега, — сказала Королева. — Скорее всего, из тех, что доставляют в замок провизию.

— Там на телеге рыцарь, — сказала девица, — рыцарь в доспехах. Наверное, его увозят, чтобы повесить.

В те дни езда на телеге почиталась позорной.

Немного погодя они разглядели коня, скакавшего крупным галопом вслед за телегой, поводья его волочились по пыльной дороге. Спустя еще недолгое время они с ужасом поняли, что и внутренности коня тоже метут дорожную пыль. Конь был весь утыкан стрелами, превратившими его в подобие дикобраза, но вид имел до странного беззаботный — вероятно, шок оглушил его. Это был конь Ланселота, а в телеге сидел Ланселот и лупил кобылу ножнами. Он, как и ожидалось, попал в засаду, потратил какое-то время, пытаясь свести счеты с нападающими, — которые с легкостью удирали от закованного в тяжкий металл пешего воина, прыгая через плетни и канавы, — а затем решил проделать остаток пути пешком. Мелиагранс, собственно, и рассчитывал на невозможность такого похода для человека, несущего на себе снаряжение, которое весит столько же, сколько сам человек, однако он не принял в расчет телегу, которую сумел захватить Ланселот. Степень тревоги за судьбу Королевы, охватившей на этот раз великого воина, можно оценить по тому, что в самом начале пути он, как рассказывают, заставил коня переплыть Темзу от Вестминстерского моста до Лэмбита, невзирая на то что при неудаче доспехи наверняка увлекли бы его на дно.

— Как ты посмела сказать, что этот рыцарь будет повешен? — воскликнула Королева. — Дерзкая ты девчонка! Как осмелилась ты сравнить сэра Ланселота с каким-то злодеем?

Бедная девушка покраснела и прикусила язык, а Ланселот уже швырнул вожжи оцепеневшему от ужаса возчику и ринулся по подъемному мосту, крича что есть мочи.

Сэр Мелиагранс узнал о его появлении как раз в ту минуту, когда Ланселот прорывался сквозь Глав-

ные Ворота. Ошалелый привратник попытался захлопнуть их перед его носом, но получил железным кулаком в ухо и мирно вытянулся на земле. Ланселотом владел один из редких у него приступов ярости, — быть может, вызванный страданиями его коня.

Мелиагранс, наблюдавший, как несколько его воинов ломают в Большом Дворе деревянные навесы, дабы не позволить разгуляться Греческому Огню, буде его используют при осаде, окончательно пал духом. Он опрометью взлетел по лестнице, и пока Ланселот еще стоял у будки привратника и яростно требовал выдать ему Королеву, Мелиагранс уже рухнул к ее ногам.

— Что это с вами вдруг? — спросила Гвиневера, глядя на удивительного вульгарного человечка, простертого перед нею, — глядя, как это ни странно, не без благосклонности. Что ни говори, а похищение во имя любви следует счесть комплиментом, особенно когда все кончается хорошо.

— Я сдаюсь, сдаюсь! — возопил сэр Мелиагранс. — О, я сдаюсь вам, драгоценная Королева. Спасите меня от этого сэра Ланселота!

Гвиневера выглядела ослепительно прекрасной. Тому мог быть причиной и месяц май, и комплимент, полученный от неотесанного рыцаря, и некое предчувствие — из тех, что посещают женщин в преддверии радости. Во всяком случае, она испытывала счастье и не желала похитителю зла.

— Ну и прекрасно, — сказала она с веселой рассудительностью. — Чем меньше эта история вызовет шума, тем лучше для моей репутации. Я постараюсь успокоить сэра Ланселота.

Сэр Мелиагранс даже присвистнул, так глубоко он вздохнул от облегчения.

— Вот это верно, — сказал он. — Этот старый петух, — гм-гм! Прошу пардону, оговорился! Не будет ли угодно Вашему милостивому Величеству после того, как вы распорядитесь и усмирите сэра Лансе-

лота, провести ночь в Замке Мелиагранс во благо ваших раненых рыцарей?

— Пока не знаю, — сказала Королева.

— Вы все сможете отбыть завтра, — настаивал сэр Мелиагранс, — тогда и говорить будет не о чем. Вы тогда скажете, что гостили у меня.

— Ну ладно, — сказала Королева и, пока сэр Мелиагранс утирал мокрый лоб, спустилась к Ланселоту.

Он стоял посреди внутреннего двора, выкликая врага. Стоило Гвиневере увидеть его, стоило ему увидеть ее, как давний электрический разряд пронесся из глаз в глаза, не успели они и слова сказать. Словно и не было никогда ни Элейны, ни Поисков Святого Грааля. Насколько мы в состоянии это понять, в тот миг она примирилась со своим поражением. И видимо, он прочел у нее в глазах, что она уступает ему, что она готова позволить ему быть таким, каков он есть, — любить своего Бога и делать все, что ему заблагорассудится, — пусть только останется Ланселотом. Мир и душевное здравие снова вернулись к ней. Она отреклась от безумных посягательств собственницы и удовольствовалась радостью видеть его живым, чего бы он ни наделал. Они вновь были юными существами — теми двумя, чьи глаза столько лет назад встретились в сумрачной зале Камелота, едва не породив щелчка, с каким смыкаются два магнита. И сдавшись ему без остатка, она, не чая того, выиграла свою битву.

— О чем столько шуму, сэр Ланселот? — спросила Королева.

Они беседовали легким, насмешливым тоном. Ими снова владела любовь.

— Вам ли об этом спрашивать?

И вновь разгорячась, он добавил чуть более гневно:

— Он убил моего коня.

— Спасибо, что приехали, — произнесла Королева. Голос ее был нежен. Таким Ланселот помнил его

в самом начале. — Спасибо, что прискакали столь скоро и столь отважно. Но рыцарь этот мне сдался, и нам должно его простить.

— Позор ему за то, что он убил моего коня.

— Мы с ним уже примирились.

— Знай я, что вы намерены с ним примириться, — с некоторой ревностью произнес Ланселот, — я бы не стал загонять себя едва ли не до смерти, поспешая на помощь.

Королева сжала его ладонь. Он уже стянул рукавицу.

— Вы раскаиваетесь в своем добром деле? — спросила она.

Ланселот молчал.

— Он мне безразличен, — произнесла Королева, краснея. — Я лишь подумала, что будет лучше, если мы избежим скандала.

— Я желаю скандала не более вашего.

— Вы вольны поступить, как вам угодно, — сказала Королева. — Хотите, сразитесь с ним. Выбор только за вами.

Ланселот смотрел на нее.

— Госпожа, — произнес он, — были бы только вы довольны, а о прочем я и не думаю. Что до меня, то меня удоволить нетрудно.

Пышные обороты Высокого языка проступали в его речах всякий раз, что ему случалось растрогаться.

43

В комнате снаружи лежали на носилках раненые рыцари. Во внутреннем покое, где спала Гвиневера, имелось окно, забранное железной решеткой. Стекло в нем отсутствовало.

Ланселот приметил в саду лестницу, достаточно длинную для его целей, и хоть они ни о чем не сговаривались, Королева ожидала его. Увидев в окне морщинистое лицо и любопытный нос, притиснутый к прутьям решетки, она не приняла его ни за демона, ни за горгулью. Сердце ее стукнуло несколько раз, пока она стояла у ложа, чувствуя, как бурно кровь приливает к шее, а затем Королева, молча — с молчанием сообщницы — подошла к окну.

Никто не знает, что сказали они тогда. Мэлори говорит, что они «беседовали о многих вещах, поверяя друг дружке свои печали». Возможно, они согласились, что нельзя любить Артура и при этом обманывать его. Возможно, Ланселот сумел, наконец, заставить ее понять свое отношение к Богу, а она сумела заставить Ланселота понять, как тяжела бездетность. Возможно, они вполне согласились в том, что с их преступной любовью покончено.

В конце концов сэр Ланселот прошептал:

— Я хотел бы оказаться внутри.

— Я была бы лишь рада.

— Вы всем сердцем желаете, госпожа моя, чтобы я был сейчас с вами?

— Да, воистину.

Последний из прутьев решетки, когда его выламывали, рассек Ланселоту мякоть ладони до самой кости.

Чуть позже шепот затих, и в темной комнате наступило молчание.

На следующее утро Королева Гвиневера надолго задержалась в постели. Сэр Мелиагранс, коему не терпелось сколь можно быстрее и безопаснее покончить со всем этим делом, копошился в преддверии спальни, желая, чтобы она поскорее вышла. Ему прежде всего страх как не хотелось длить свои муки, задерживая Королеву у себя в доме и не имея возможности ею обладать.

Наконец он не выдержал и — отчасти чтобы поторопить ее, отчасти же из неукротимого любопытства, свойственного влюбленным, вошел в спальню, намереваясь ее разбудить, что было вполне допустимым в ту пору, пору церемониальных пробуждений.

— Прошу прощения, — сказал сэр Мелиагранс, — что это с вами, госпожа, что вы так долго спите?

Он все поглядывал краем глаза на лежащую в постели недостижимую красавицу, притворяясь, однако, что совсем и не смотрит. Кровь из рассеченной руки Ланселота запятнала и подушки, и простыни, и одеяла.

— Изменница! — возопил вдруг сэр Мелиагранс. — Изменница! Вы изменница Королю Артуру!

Уверясь, что он обманут, сэр Мелиагранс потерял голову от гнева и ревности. Поскольку собственная его затея ему же и вышла боком, он счел Королеву образцом чистоты, а себя, желавшего ею овладеть, — кругом неправым. Теперь же он вдруг убедился, что все это время она надувала его, лишь изображая даму, чересчур добродетельную, чтобы его полюбить, и между тем развлекаясь у него же под носом со своими ранеными рыцарями. Ему втемяшилось в голову, что кровь принадлежит кому-то из раненых рыцарей — иначе с чего бы она настояла, чтобы их расположили под дверью спальни? К гневу его примешивалась самая дикая зависть. Оконной решетки, восстановленной на скорую руку, он даже и не заметил.

— Изменница! Изменница! Я обвиняю вас в государственной измене!

Завывания сэра Мелиагранса собрали к дверям спальни кое-как ковыляющих раненых рыцарей (смятение уже пошло гулять по замку), камеристок, служанок, пажей, мальчишек-истопников, пару грумов — всех привлекли звуки скандала.

— Все они изменники, — кричал сэр Мелиагранс, — все или некоторые. Здесь побывал раненый рыцарь.

Гвиневера ответила:

— Это ложь. И все они мне в том свидетели.

— Ты клевещешь на госпожу нашу! — закричали рыцари. — Выбери из нас, кого пожелаешь. Мы сразимся с тобой.

— Ну нет! — взвыл сэр Мелиагранс. — Ни к чему все ваши надменные речи! С Ее Величеством возлежал раненый рыцарь.

Он еще продолжал указывать на пятна крови, бывшие, безусловно, серьезной уликой, когда среди присмиревших Рыцарей Королевы появился сэр Ланселот. Никто и не заметил, что рука его в перчатке.

— Что тут случилось? — спросил Ланселот.

Мелиагранс, размахивая руками, принялся объяснять ему, что случилось: при виде нового слушателя его вновь обуяло волнение.

Ланселот холодно произнес:

— Могу ли я напомнить вам о вашем собственном поведении в отношении Королевы?

— Я не ведаю, о чем вы говорите. Мне это все равно. Я знаю только, что прошлой ночью в этой комнате был рыцарь.

— Остерегайтесь говорить так.

Ланселот глядел на него сурово, пытаясь предупредить его и образумить. Оба они знали, что подобное обвинение должно будет завершиться судебным поединком, и Ланселоту хотелось заставить Мелиагранса понять, с кем ему придется сражаться. В кон-

це концов сэр Мелиагранс это понял. И взглянул на Ланселота с нежданным достоинством.

— Будьте и вы осмотрительнее, сэр Ланселот, — тихо сказал он. — Я понимаю, что вы лучший из рыцарей мира, но и вам не следует биться за неправое дело, ибо Бог рано или поздно может поразить вас, сэр Ланселот, блюдя справедливость.

Истинный любовник Королевы стиснул зубы.

— Это нам надлежит предоставить Господу, — сказал он.

И добавил с откровенной угрозой:

— Что до меня, то я открыто утверждаю, что ни одного из этих раненых рыцарей не было в комнате Королевы. И ежели вы готовы биться за ваши слова, я буду сражаться с вами.

В конечном счете Ланселоту трижды пришлось сражаться, дабы спасти Королеву: в первый раз с сэром Мадором, и то было правое дело, во второй — с сэром Мелиагрансом, из-за этой вот довольно сомнительной игры слов, а в третий раз — будучи уже совершенно неправым, — и каждый бой все ближе подводил их к погибели.

Сэр Мелиагранс бросил перчатку. Уверовав в истинность своего обвинения, он почувствовал приступ упрямства, нередкий у человека, ввязавшегося в бурный спор. Он изготовился скорей умереть, чем отступиться от своего. Ланселот перчатку принял — что ему еще оставалось? Все с охотою занялись мелочами, сопровождающими всякий вызов: запечатывали малыми печатками обязательства сторон, обговаривали день поединка — ну, и так далее. Сэр Мелиагранс становился все тише и тише. Теперь, когда машина правосудия поглотила его, у него появилось время для размышлений, и размышления эти, как водится, повели его совсем в противоположную сторону. Он не был человеком последовательным.

— Сэр Ланселот, — сказал он, — раз уж мы решили с вами биться, вы ведь не станете до срока злоумышлять против меня?

— Разумеется, не стану.

Ланселот поглядел на него с искренним изумлением. Сердце Ланселота походило на сердце Артура. Он вечно попадал в неприятное положение — как, например, когда под Вестминстером спе́шил Оркнейцев, — из-за того, что недооценивал царящее в мире коварство.

— Значит, до боя мы будем друзьями?

Старый воин ощутил давным-давно ставший привычным укол стыда. Придется вот драться с человеком, сказавшим почти что правду.

— Да, — пылко промолвил он, — друзьями!

Раскаяние его все росло, и он подошел к Мелиагрансу поближе.

— Так давайте пока помиримся, — довольным тоном сказал сэр Мелиагранс. — Без задних мыслей. Не пожелаете ли осмотреть мой замок?

— С доброй охотою.

Мелиагранс повел его по замку, из комнаты в комнату, пока не дошли они до покоя с потайным люком в полу. Доска перевернулась, ловушка открылась. Ланселот пролетел шесть футов и приземлился в темнице на кучу соломы. Затем Мелиагранс распорядился скрытно увести одного из коней и вернулся к Королеве с известием, что заступник ее поскакал вперед. Хорошо всем ведомое обыкновение Ланселота вдруг ни с того ни с сего уезжать, никому не сказавшись, добавило правдоподобия россказням Мелиагранса. Мелиагрансу же предпринятые им меры представлялись наилучшей порукой того, что Бог не предпочтет в поединке неправую сторону, — ибо и в его принципах воцарилась совершенная неразбериха.

44

Второй судебный поединок стал столь же сенсационным, как поединок с сэром Мадором. Прежде всего Ланселот объявился в последний миг, когда времени до начала оставалось еще меньше, чем в первый раз. Его ждали до последнего и уж совсем отчаялись, и уговорили биться вместо него сэра Лавейна. Сэр Лавейн как раз выезжал на ристалище, когда великий человек прискакал что есть духу на белом коне, принадлежавшем Мелиагрансу. До самого этого утра он все сидел в темнице, пока девица, доставлявшая ему пищу, не согласилась, воспользовавшись отсутствием хозяина, освободить его в обмен на поцелуй. Ланселоту пришлось побороть кое-какие серьезные сомнения в допустимости оного поцелуя, но в конце концов он счел его все же оправданным.

Мелиагранс рухнул наземь при первом же выпаде Ланселота и вставать отказался.

— Сдаюсь, — сказал он. — Мое дело пропащее.

— Вставай. Вставай, ты еще и не бился.

— И не буду, — сказал сэр Мелиагранс.

Ланселот стоял над ним, терзаясь сомнениями. Он задолжал Мелиагрансу выволочку за историю с конем, и еще одну за предательский трюк с ловушкой. Но он сознавал, что обвинения этого человека, в сущности, справедливы, и мысль о том, что придется его убить, Ланселоту была не мила.

— Пощады, — сказал сэр Мелиагранс.

Ланселот скосил глаза к помосту, на котором под охраной людей Констебля сидела Королева. Этого вопрошающего взгляда увидеть никто не мог по причине глухого шлема.

Однако Гвиневера его увидела — или почуяла

сердцем. Она повернула ладонь большим пальцем вниз и украдкой проделала над краем ограждения несколько как бы колющих движений. Мелиагранс, полагала она, слишком опасен, чтобы оставаться живым.

Полная тишина висела над ареной, ибо все затаили дыхание и ждали, наклонившись вперед и вперясь в бойцов, уподобясь собравшимся в круг стервятникам, чья добыча еще не издохла. Подобно толпе в римском амфитеатре или на испанском бое быков, все ожидали, когда будет нанесен coup de grâce[1], а в том, что Ланселот нанесет его, не сомневался никто. По общему разумению, обвинение Мелиагранса было гораздо серьезнее наветов Мадора, и все, как и Гвиневера, считали, что он заслуживает смерти. Ибо в те дни любовью правили иные условности, не схожие с нашими. Любовь в ту пору была рыцарственной, зрелой, долгой, религиозной, почти платонической — делом слишком серьезным для легковесных наветов. Это мы теперь попривыкли, что любовь может начаться и кончиться в течение длинного уикэнда.

Ланселот в нерешительности постоял над врагом, и затем до зрителей долетел его голос, приглушенный шлемом. Он сделал врагу предложение.

— Если вы встанете, — говорил он, — и сразитесь со мной, как должно, не на жизнь, а на смерть, я дам вам преимущество. Я сниму шлем и уберу все доспехи с левой стороны тела, и я стану биться без щита, и левую руку велю привязать у меня за спиной. Это сравняет нас, верно? Так что же, встанете вы и сразитесь со мной на этих условиях?

Раздался высокий, истерический визг, и все увидали, как сэр Мелиагранс, диковато жестикулируя, ползет к Королевской ложе.

— Не забудьте, что он сказал! — причитал Мелиагранс. — Все слышали! Я принимаю его условия. Не

---

[1] Губительный удар (*фр.*).

позволяйте ему от них отказаться. Никаких доспехов слева, ни щита, ни шлема, и левую руку привязать за спиной. Все слышали! Все!

Король крикнул: «Быть по сему!». Рыцари и герольды сошли на ристалище, и Мелиагранс притих. Всякому было стыдно за него. В неодобрительном молчании, пока Мелиагранс продолжал бубнить, требуя соблюденья условий, руки воинов неохотно разоружили сэра Ланселота и связали его. Им казалось, будто они помогают при казни человека, которого любят, ибо предложенное преимущество было слишком серьезным. Связав Ланселота и вручив ему меч, они похлопали его по спине, — подталкивая его этими грубыми хлопками вперед, к Мелиагрансу, — и отвернулись.

Что-то блеснуло на покрытом песком ристалище, словно лосось выпрыгнул из воды у запруды. Это Ланселот, вызывая удар, подставил противнику обнаженный бок. И едва противник ударил, послышался щелчок вроде тех, с какими меняются изображения в калейдоскопе, — Ланселот сменил позицию. За ударом Мелиагранса последовал удар Ланселота.

Сэра Мелиагранса уволокли с поля, привязав его к лошади. Шлем и голова его были расколоты надвое.

45

Ну что же, повесть о том, как чужеземец из Бенвика похитил сердце Королевы Гвиневеры, как он оставил ее ради своего Бога и как потом воротился к ней, вопреки поставленному перед собою запрету, — повесть эта получилась у нас долгой. Это повесть о любви прежних времен, когда зрелые люди любили верно, — не история нынешних дней, когда подростки следуют низменным спазмам кинематографа. Люди, о которых мы рассказали, четверть века боролись, пытаясь понять друг друга, и ныне в их жизни наступила пора, подобная бабьему лету. Ланселот пожертвовал для Гвиневеры своим Богом, она же в ответ вручила ему свободу. Элейна, так и оставшаяся не более чем случайной участницей их неурядиц, достигла назначенного ей покоя. Да и участь Артура, чей угол в их треугольнике был с общепринятой точки зрения не самым счастливым, нельзя было счесть совсем уже жалкой. Мерлин ведь и не предназначал его для личного счастья. Артур был создан для царственных радостей, для счастья нации. Последнее же ко времени, когда наступил для наших героев закат, было вполне восстановлено двумя прославленными победами Ланселота. Модные поветрия, современность и порча, поразившая самое сердце Стола, канули в небытие, и великая идея Артура снова пришла в движение. Артур создавал Закон как Силу и Власть. Да и для личных сожалений причин у Артура не было. От терзаний Ланселота и Гвиневеры он намеренно стоял в стороне, подсознательно доверяя этим двоим, как людям, которые не станут предъявлять его сознанию свои печали, — и подвигал его на это не страх, не безвольное попустительство, но благороднейшие из побужде-

ний. Ибо в руках Короля была власть. Он пребывал в положении мужа, которому довольно было отдать один лишь приказ, чтобы решить задачу о вечном треугольнике, послав их обоих на костер или плаху. Жизнь его жены, как и жизнь ее возлюбленного, зависела от его милосердия, — и именно по этой причине, а вовсе не из трусости, благородное сердце его предпочитало оставаться в неведении.

Бабье лето лежало перед ними, протяни только руку; пересуды умолкли, наглецы получили урок смирения. Оркнейской партии оставалось только роптать — еле слышным, как бы подземным ропотом. В скрипториумах аббатств, в замках великих баронов безвредные авторы писали строка за строкою Требники и Трактаты о Рыцарстве, а миниатюристы расцвечивали в них заглавные буквы и старательно выписывали эмблемы в гербах. Золотых и серебряных дел мастера выстукивали молоточками золотые пластины. Изгибая золотую проволоку, они сплетали на епископских посохах узоры невиданной сложности. Миловидные дамы держали домашних воробьев и дроздов или прилагали неистовые усилия, стараясь обучить ручных сорок говорить. Запасливые хозяйки заполняли свои буфеты патокой, почитавшейся добрым средством от дурного дыхания, домодельными пластырями, называемыми Flos Unguentorum[1], весьма полезными при ревматических болях, и мускусными шариками ради приятности их аромата. Также запасались они и к великому посту, покупая финики и пряники с миндалем, и селедок ценой по четыре шиллинга шесть пенсов за телегу. Ястребники и сокольники взаимно поносили птиц друг друга, вкладывая в это занятие всю душу. В новых судебных палатах — ибо с Сильной Рукой было покончено — законники, трудолюбивые, будто пчелы, строчили судебные предписания касательно виндикационного ис-

---

[1] Бальзамический цвет (*лат.*).

ка, вручения копии иска противной стороне, корыстной поддержки одной из тяжущихся сторон, лишения гражданских и имущественных прав, лорд-канцлерского суда, наложения ареста на имущество в обеспечение долга, нарушения права владения, неотлагаемых взысканий, неправомочности сделки, описывания имущества за долги, подкупа присяжных и судей, покрытия взыскуемого из имущества ответчика, права проезда по чужой земле, уплаты местных податей, юрисдикции выездной сессии, Quorum bonorum[1], Sic et non[2], Pro et contra[3], Jus primae noctis[4] и Questio quid juris?[5] Воров, правда, вешали за кражу товара ценой в один шиллинг, ибо кодификация правосудия оставалась еще запутанной и слабой, — но и это было не так ужасно, как звучит, если вспомнить, что на один шиллинг можно было купить двух гусей, или четыре галлона вина, или двадцать восемь буханок хлеба, — а столько еще не всякий вор смог бы и унести. По сельским лужайкам парами брели на закат влюбленные простолюдины, не отличавшиеся особым добронравием, брели, обвив друг дружку руками за талии и напоминая сзади заглавную X.

Мир воцарился в Артуровой Стране Волшебства, и все радости мира лежали пред Ланселотом и Гвиневерой. Но у фигуры, углами которой они состояли, оставалось все же четыре угла.

Бог был тотемом Ланселота. Он был еще одним участником пожизненной их борьбы, и теперь Он, наконец, выбрал минуту, чтобы заступить им дорогу. Мальчик, когда-то смотревшийся в шлем, мальчик, которому снился источник с водой, вечно ускользавшей от его уст, лелеял честолюбивые помыслы: сотворить какое-нибудь несложное чудо. Он содеял

---

[1] Доля имущества *(лат.)*.
[2] Да и нет *(лат.)*.
[3] За и против *(лат.)*.
[4] Право первой ночи *(лат.)*.
[5] У кого есть вопросы к суду? *(лат.)*

подобие чуда, когда извлек Элейну из кипятка, будучи лучшим рыцарем мира, — еще перед тем, как Элейна той страшной ночью заманила его в западню, заставив нарушить запрет. Четверть века он вспоминал о ночи своей печали, и эти воспоминания сопровождали его во всех поисках Грааля. До нее он почитал себя человеком, служащим Богу. После нее он обратился в мошенника. И наконец приспело время, когда надлежало взглянуть своей судьбе в глаза.

Был один рыцарь из Венгрии по имени сэр Уррий, семь лет назад получивший на турнире несколько ран. Он там сражался с человеком, которого звали сэр Альфагус, коего и убил, получив от него эти раны: три на голове да четыре на груди и на левой руке. Матерью покойного Альфагуса была одна испанская ворожея, и она наложила на сэра Уррия Венгерского заклятие, так что ни единая из его ран никак не могла затянуться. Им предстояло кровоточить и открываться, пока лучший из рыцарей мира не залечит их, коснувшись руками.

Сэра Уррия Венгерского долго возили по разным странам, — возможно, он страдал чем-то вроде гемофилии, — в поисках рыцаря, который сумеет ему помочь. В конце концов, он решился пересечь Пролив, дабы достичь сей чуждой, северной земли. Все и всюду говорили ему, что единственная его надежда — это сэр Ланселот, и сэр Уррий наконец приехал, дабы его отыскать.

Артур, который всегда думал о людях самое лучшее, был уверен, что Ланс справится с этой задачей, но он полагал справедливым предоставить каждому рыцарю Стола возможность попытать свои силы. В ком-то могло ведь таиться скрытое совершенство, такое уже бывало.

В ту пору двор пребывал в Карлайле, прибыв туда на праздник Пятидесятницы, и было устроено так, чтобы все собрались на городском лугу. Туда же принесли в паланкине сэра Уррия и уложили его на

парчовые подушки. Вокруг него стройными рядами стояли в своих лучших одеждах сто десять рыцарей, — еще сорок странствовали в поисках приключений, — землю устлали коврами, воздвигли шатры, дабы высокородные дамы могли наблюдать за происходящим. Из любви к своему Ланселоту Артур пожелал окружить роскошью высший из подвигов его жизни.

Книга о сэре Ланселоте кончается, и вот нам предстоит в последний раз увидеть его в этой книге. Он затаился в комнате замка, где хранилась конская упряжь, оттуда ему все было видно. Вокруг, между седел и блестящих мундштуков с удилами, во множестве свисали поводья — достаточно крепкие, заметил он, чтобы выдержать его вес. Здесь он и ждал, спрятавшись, и молился, чтобы хоть кто-нибудь, — может быть, Гарет? — оказался способным быстро свершить это чудо, или же, если того не случится, чтобы все позабыли о нем, не заметив его отсутствия.

Как по-вашему, приятно ли быть первейшим рыцарем мира? Ну, так подумайте, если да, о том, как вы будете защищать этот титул. Подумайте об испытаниях, все повторяющихся, безжалостных, чреватых позором, которые вам придется выдерживать день за днем, — пока в последний и неизбежный день вы не потерпите поражение. Подумайте еще и о том, что вам-то известна причина поражения, основательная причина, которую вы пытались скрыть, так трогательно пытались скрыть или не заметить целых двадцать пять лет. И подумайте о том, как вот теперь вам придется явиться перед самым большим и благородным собранием, какое только можно представить, и публично обнаружить свой грех. Они ожидают, что вы преуспеете, а вам предстоит неудача: вам придется открыть перед всеми обман, который вы совершали в течение четверти века, и все они

мгновенно узнают причину — постыдную причину, которую вы норовили утаить от своего же разума, и которая, напоминая о себе в тиши вашего пустого покоя, столь больно язвила вас, что голова ваша дергалась, как бы пытаясь ее стряхнуть. Чудеса, которые вам хотелось творить в столь давнее время, совершаются лишь в чистоте душевной. Люди, стоящие снаружи, ждут от вас этого чуда, ибо вы всегда играли на их вере в чистоту вашей души, и именно теперь, когда предательство, прелюбодейство и убийство облекли вашу душу, как саван, вам придется выйти на яркий солнечный свет, чтобы подвергнуть вашу честь испытанию.

Ланселот стоял посреди седельной, белый, как полотно. Он знал, что Гвиневера там, снаружи, и что она тоже бледна. Он сплетал пальцы и смотрел на крепкую упряжь, и молился, как только умел.

— Сэр Серваўз ле Брюс! — прокричали герольды, и сэр Серваўз, рыцарь, чье имя стояло далеко от начала списка соревнователей, выступил вперед. Человек он был застенчивый, интересовался исключительно естественной историей и в жизни своей ни разу ни с кем не сражался. Он приблизился к сэру Уррию, уже постанывавшему от множества прикосновений, преклонил колени и сделал все, что ему было по силам.

— Сэр Озанна-Храброе Сердце!

Так оно и шло до самого конца списка в сто десять человек, чьи пышные имена Мэлори приводит в должном порядке, так что вы почти видите чистые очерки их тяжелых бригантин, цвета и металлы гербов, яркие краски плюмажей. Оперенье на головах придавало им сходство с воинственными индейцами. Лязгали на ходу пластинчатые поножи, и шпоры ясно позванивали в ответ. Они преклоняли колени, сэр Уррий морщился, и все было впустую.

Лансе́лот не повесился на поводьях. Все верно, он

нарушил запрет, обманул друга, вернулся к Гвиневере и убил сэра Мелиагранса в неправой ссоре. Ныне он был готов принять наказание. Он шел меж двух длинных рядов рыцарей, ожидавших под солнцем. Сама попытка остаться незамеченным привела его на приметнейшее место — он оказался последним. Он шел между глазеющих рыцарей, уродливый, как и всегда, сконфуженный, полный стыда, — ветеран, которого ждет поражение. Мордред с Агравейном слегка подвинулись вперед.

Встав на колени близ сэра Уррия, Ланселот обратился к Артуру:

— Должен ли я делать это, после того как все потерпели неудачу?

— Конечно, должен. Я повелеваю тебе.

— Если ты повелеваешь, я подчиняюсь. И все же такая попытка, после всех остальных, отдает высокомерием. Может быть, ты освободишь меня от нее?

— Ты все неправильно понял, — сказал Король. — Нет никакого высокомерия в том, что ты попытаешь свои силы. Если уж ты не справишься, значит, это никому не по плечу.

Сэр Уррий, к этому времени совсем ослабевший, приподнялся, опираясь на локоть.

— Прошу вас, — сказал он. — Я для того и приехал, чтобы вы сделали это.

Слезы стояли в глазах Ланселота.

— Ах, сэр Уррий, — сказал он, — если бы только я мог вам помочь, с какой охотой я сделал бы это. Но вы не понимаете, вы не понимаете.

— Во имя Господа! — сказал сэр Уррий.

Ланселот взглянул на восток, где по его понятиям обитал Господь, и мысленно произнес несколько слов. Слова были примерно такие: «Я не славы ищу, но прошу тебя, если можно, спаси нашу честь. И если ты пожелаешь исцелить этого рыцаря ради него самого, то прошу тебя, исцели». Затем он попросил сэра Уррия, чтобы тот дал ему осмотреть свою голову.

Гвиневера, во все глаза смотревшая из своего шат-

ра, увидела, как двое мужчин склонились друг к другу. Затем зашевелились люди, ближайшие к ним, и поднялся ропот, а следом и крик. Джентльмены начали вдруг подбрасывать кверху шапки, вопить и пожимать друг другу руки. Артур снова и снова выкрикивал все одни и те же слова, он вцепился в локоть грубияна Гавейна и кричал ему в ухо: «Она закрылась, как ящик! Как ящик!». Какие-то пожилые рыцари приплясывали вокруг, ударяя щитом о щит, как при игре в «горячий пудинг», и тыкая друг друга под микитки. Из оруженосцев многие хохотали, словно безумные, и лупили друг друга по спинам. Сэр Борс целовал Короля Ангвиса Ирландского, и тот не сопротивлялся. Сэр Галахальт, высокородный принц, грянулся оземь, споткнувшись о собственные ножны. Благородный сэр Беллеус, тот, что далекой ночью в шатре из красного шелка никакой не выказал злобы из-за распоротой печени, производил страшный шум, выдувая музыку из травинки, зажатой между пальцами. Сэр Бедивер, так и предававшийся ярому покаянию с той поры, как посетил Папу, гремел какими-то святыми костьми, привезенными им домой в качестве сувенира; на костях округлыми буквами было написано «С приветом из Рима». Сэр Блиант, вспоминая своего кроткого Дикого Человека, обнимал сэра Кастора, никогда не забывавшего о рыцарственной отповеди, полученной им от Кавалера Мальфет. Добрый и чувствительный Агловаль, поставивший крест на вражде Пеллиноров, обменивался с прекрасным Гаретом звучными пинками. Мордред с Агравейном кривились. Сэр Мадор, красный, словно индюк, мирился с сэром Пинелем-отравителем, который инкогнито вернулся домой. Король Пеллес обещал всем и каждому подарить новую мантию, принимая на себя все расходы. Белый, как лунь, дядюшка Скок, столь старый, что производил уже чуть ли не баснословное впечатление, пытался перескочить через свою клюку. Шатры опадали, хлопали стяги. Крики «ура» прокатывались один за

другим, словно гром или дробь барабанов, над башенками Карлайля. Все поле, все люди в поле, все башни крепости, казалось, вздымались и опадали, подобно поверхности озера под дождем.

А в середине поля, всеми забытый, один, стоял на коленях ее любовник. Одинокий и неподвижный, он знал тайну, скрытую от других. Чудо состояло в том, что ему дозволено было сотворить чудо. «И тут, — говорит Мэлори, — сэр Ланселот заплакал, словно малый ребенок, которого побили.»

EXPLICIT LIBER TERTIUS

СВЕЧА НА ВЕТРУ



После недолгого размышления он сказал:

«Я нашел, что на многих моих пациентов благотворно влияли зоологические сады. Господину Понтифику я прописал бы курс крупных млекопитающих. Только лучше бы ему не знать, что он созерцает их в лечебных целях...»

INCIPIT LIBER QUARTUS

1

Годы, накапливаясь, не проявляли доброты к Агравейну. Даже в сорок он выглядел на свой нынешний возраст, на пятьдесят пять. Трезвым он бывал редко.

Мордред же, холодный и хилый, вроде бы и вовсе возраста не имел. Подобно выражению, таящемуся в глубине его синих глаз, подобно переливам его музыкального голоса, годы Мордреда оставались неуследимыми.

Стоя в крытой галерее дворца Оркнейцев в Камелоте, эти двое смотрели на ловчих птиц, выставленных на колодках под солнце, заливавшее муравчатый дворик. Галерею украшали новомодные стрельчатые арки — наступала эпоха пламенеющей готики, — в грациозных проемах этих арок и стояли, храня благородное безразличие, птицы: самка кречета, большой ястреб, два сокола (самка с самцом) и четверка маленьких дербников, проведших в неволе всю зиму и все-таки выживших. Колодки отличала особая чистота, ибо в те дни охотники полагали, что ежели вы пристрастились к охоте, сопряженной с обильным пролитием крови, вам следует с особым тщанием стараться скрыть ее лютый характер. Алую кордовскую кожу колодок покрывало прелестное узорчатое золотое тиснение. Должики ястребов были сплетены из белой конской кожи. А кречетиху, дабы отметить высокое положение, занимаемое ею в жизни, облачили в опутенки и должики, вырезанные из заверенной авторитетами кожи единорога. Чтобы добраться сюда, кречетиха проделала долгий путь из Исландии, и это было самое малое, что могли для нее сделать владельцы.

Приятным голосом Мордред произнес:

— Ради Бога, давай уберемся отсюда. Здесь воняет.

При звуках его голоса птицы чуть шевельнулись, отчего колокольца их издали еле различимый, как бы шепчущий звон. Колокольца, не считаясь с расходами, доставляли из Индий, и пара, украшавшая самку кречета, была изготовлена из серебра. При звуках колокольцев сидевший на своем насесте в тени галереи огромный филин, которого иногда использовали для ловли приманки, открыл глаза. За миг до этого он еще мог показаться чучелом, неряшливым пуком перьев. Но стоило глазам распахнуться, и филин превратился в нечто из Эдгара Аллана По. Вряд ли вам понравилось бы смотреть в его глаза. Глаза были красные, страшные, глаза убийцы, казалось, источающие свет. Они походили на рубины, полные пламени. Филина звали Великий Герцог.

— Не чую я никакого запаха, — сказал Агравейн. Он с подозрением потянул носом воздух, пытаясь хоть что-то унюхать. Но и к вкусу, и к запаху он давно уже стал нечувствителен, да к тому же и голова у него болела.

— Здесь смердит Спортом, — сказал Мордред, произнося последнее слово как бы в кавычках, — а также Подобающим Занятием и Избранным Обществом. Пойдем лучше в сад.

Агравейн никак не мог расстаться с темой их разговора.

— Что проку опять поднимать шум вокруг этой истории? — сказал он. — Мы-то с тобой понимаем, кто тут прав, кто виноват, да ведь только мы, а больше никто. Нас и слушать не станут.

— Нет уж, придется послушать. — Крапинки, испещрявшие райки Мордредовых глаз, полыхнули лазоревым светом, ярким, как у филина. Из вяловатого человека с перекошенным плечом, облаченного в нелепый костюм, он преобразился в воплощение Правого Дела. В подобных случаях он становился полной противоположностью Артуру — безусловным недру-

гом всего, что обозначается словом «англичанин». Он обращался в несгибаемого Гаэла, отпрыска утраченной расы, более древней, чем раса Артура, и более утонченной. Когда Правое Дело вот так воспламеняло его, Артурово правосудие принимало в сравнении вид тупоумной буржуазной затеи. Поставленное рядом с варварским и темным разумом пиктов, оно представлялось проявлением пресного самодовольства. Всякий раз, как он подобным образом выказывал свое неприятие Артура, в чертах его проступали вдруг все его материнские пращуры, в основе цивилизации коих, как и в основе воззрений Мордреда, лежал матриархат: то были воины, скакавшие на неседланных конях, бросавшиеся в атаку на колесницах, искушенные в военном коварстве и украшавшие свои жуткие оплоты головами врагов. Длинноволосые и свирепые, они выходили, как сообщает один из авторов древности, «с мечом в руке навстречу рекам крови иль вздыбленному бурей океану». То была раса, олицетворяемая ныне скорее Ирландской Республиканской Армией, нежели шотландскими националистами; раса, представители которой всегда убивали лендлордов и всегда валили вину за их смерть на них же самих; раса, которая могла превратить в национального героя человека, подобного Линчагану, откусившему женщине нос, — поскольку он был из ирландцев, а она из галлов; раса, заброшенная вулканом истории в отдаленные области земного шара, где она, обуреваемая ядовитой обидой и чувством неполноценности, и поныне являет напоказ всему свету застарелую манию величия. Это из нее выходили католики, способные бросить открытый вызов любому папе или святому — Адриану, Александру или Святому Иерониму, — если политика оных этих католиков не устраивала: истерически раздражительные, терзаемые скорбями, бранчливые хранители сгинувшего наследия. То была раса, которую, при всем ее варварском, коварном, отчаянно храбром непокорстве, много веков назад поработил

чужеземный народ, олицетворяемый ныне Артуром. И это обстоятельство также разобщало отца и сына.

Агравейн сказал:

— Я хотел поговорить с тобой, Мордред. Черт, и присесть-то не на что. Садись вон на ту штуку, а я сяду здесь. Тут нас никто не услышит.

— А хоть бы и услышали. Нам именно это и требуется. Такие вещи нужно говорить громко, а не шептаться о них по укромным галереям.

— В конце концов и шепот достигает нужных ушей.

— Если бы. Ничего он не достигает. Королю не угодно слышать об этом, и пока мы тут шепчемся, он волен притворяться, что ничего не может расслышать. Как бы он пробыл столько лет Королем Англии, не научившись лицемерить?

Агравейн чувствовал себя неуютно. Его ненависть к Королю не отличалась такой определенностью, как ненависть Мордреда, в сущности, он ни к кому, кроме Ланселота, личной вражды не питал. Его озлобленность выбирала свои цели скорее наобум.

— Не думаю я, что мы добьемся чего-то, сетуя на прошлые обиды, — угрюмо сказал он. — Трудно ожидать чьей-либо поддержки в таком запутанном, да еще и Бог весть когда случившемся, деле.

— Как бы давно оно ни случилось, факт остается неизменным: Артур отец мне, и он отправил меня, еще младенца, поплавать в неуправляемой барке.

— Для тебя это факт, — сказал Агравейн, — а для других нет. Все уже так перепуталось, что никто не захочет в это вникать. Не можешь же ты ожидать, что нормальные люди станут помнить, кто кому приходится дедушкой, а кто — сводной сестрой и так далее. Во всяком случае, в наши дни из-за чьих-то частных склок люди воевать не пойдут. Для войны нужна ущемленная национальная гордость, что-нибудь связанное с политикой и требующее только повода, чтобы прорваться наружу. Нужно использовать уже готовые, подручные средства. Возьми хоть

этого мужлана, Джона Болла, — того, что верует в коммунизм, — у него тысячи последователей и все готовы посодействовать смуте ради собственной выгоды. Или те же саксы. Мы могли бы заявить, что поддерживаем национальные движения. И могли бы, коли на то пошло, слить все воедино и назвать результат национал-коммунизмом. Но в любом случае требуется нечто определенное, доходчивое, чтобы пронимало любого. И враг нужен непременно многочисленный — евреи, норманны, саксы, — чтобы каждому было на кого озлиться. Мы можем возглавить движение Древнего Люда, желающего сквитаться с саксами, или движение саксов против норманнов, или сервов против общественного устройства. Нам понадобится знамя, именно знамя, да и особая эмблема тоже. Бери, какую хочешь, — свастику, коммунизм, национализм, все что угодно. А личные твои претензии к старику, это вещь безнадежная. В любом случае у тебя уйдет самое малое полчаса, чтобы растолковать, в чем они состоят, даже если ты влезешь на крышу и будешь кричать оттуда.

— Я мог бы кричать о том, что моя мать приходилась ему сестрой и что он попытался утопить меня по этой причине.

— Ну, покричи, если хочешь, — сказал Агравейн.

Перед тем как филин открыл глаза, они разговаривали о давних обидах, причиненных их роду, — о своей бабушке Игрейне, обесчещенной отцом Артура, о давно иссякшей вражде гаэлов и галлов, известной им по рассказам матери, слышанным в древнем Дунлоутеане. Именно эти обиды холодная кровь Агравейна осознавала как слишком давние и смутные, чтобы они могли послужить оружием в борьбе с Королем. Теперь они подобрались к более свежему поводу для недовольства, — к прегрешению Артура с его сводной сестрой, завершившемуся попыткой прикончить порожденного в этом грехе бастарда. Это оружие безусловно могло оказаться более мощным, незадача, однако, состояла в том, что Мордред-то и был этим

бастардом. Малодушная осторожность старшего из двух братьев, обладавшего к тому же более изощренным умом, говорила ему, что сыну навряд ли следует превращать незаконность своего появления на свет в знамя, под которое могли бы собраться те, кто желает сбросить с трона его отца. К тому же Артур давным-давно сумел замять эту историю, и если Мордред вновь извлечет ее на свет Божий, он лишь покажет себя неумелым политиком.

Они сидели в молчании, уставившись в пол. Агравейну неможилось, под глазами у него набухли мешки. Мордред был, как и всегда, подтянут, опрятен и одет по последней моде. Вычурный наряд служил ему неплохим камуфляжем, под которым его кривое плечо оставалось почти незаметным.

— Я, собственно, не гордый, — произнес Мордред.

Он с горечью глядел на сводного брата, вкладывая в свой взгляд куда больше значения, чем брат способен был воспринять. Глаза его говорили:

— Да ты хоть на горб мой взгляни. Мне нет причины гордиться моим рождением.

Агравейн нетерпеливо поднялся.

— Как бы там ни было, а мне нужно выпить, — сказал он и хлопнул в ладоши, призывая пажа. Затем он провел по векам дрожащими пальцами и замер, чуть покачиваясь, с отвращением глядя на филина. Мордред, пока они ожидали выпивки, с презрением созерцал Агравейна.

— Начнешь копаться в старом дерьме, — сказал Агравейн, в которого пряное вино вдохнуло новую жизнь, — сам же в нем и окажешься. Ты все-таки помни, что мы не в Лоутеане. Мы в Артуровой Англии, и англичане любят его. Они либо не захотят тебе верить, либо, если поверят, обвинять станут тебя, не его, потому что ты вытащил эту гадость на свет. В таком восстании ни единый человек участвовать не станет, тут и говорить-то не о чем.

Мордред смотрел на брата. Он, подобно филину, ненавидел Агравейна и порицал его за трусость. Все,

что мешало Мордреду мечтать об отмщении, было для него нестерпимо, и оттого он мысленно изливал свою неприязнь на Агравейна, про себя называя его пьяным предателем интересов семьи.

Агравейн, понимавший это и уже утешенный половиной бутылки, рассмеялся Мордреду в лицо. Он хлопнул младшего брата по здоровому плечу, понукая его наполнить свой стакан.

— Выпей, — с ухмылкой сказал он.

Мордред пригубил вино, словно кошка микстуру.

— А вот не слышал ли ты часом, — игриво осведомился Агравейн, — о великом святом по имени Ланселот?

Он подмигнул заплывшим глазом, доброжелательно глядя на кончик собственного носа.

— И что же?

— Я так понимаю, что ты наслышан о нашем preux chevalier[1]?

— Разумеется, я знаю, кто такой сэр Ланселот.

— Полагаю, я не ошибусь, сказав, что этот непорочный джентльмен пару раз скидывал нас обоих с коня?

— Ланселот впервые спе́шил меня так давно, — сказал Мордред, — что я уже и не помню, когда это случилось. Ну, и что же с того? Даже если человек способен спихнуть тебя с коня длинной палкой, это еще не значит, что он лучше тебя.

Странное дело, теперь, когда разговор пошел о Ланселоте, оживление Мордреда сменилось равнодушием. Агравейн же, до этой поры поддерживавший разговор без особой охоты, внезапно обрел красноречие.

— Вот именно, — сказал он. — А кроме того, наш благородный рыцарь с давних пор состоит в любовниках у Королевы Английской.

— Всем известно, что Гвен была любовницей Ланселота еще с допотопных времен, да толку-то что? И

---

[1] Доблестный рыцарь (*фр.*).

Королю это известно не хуже прочих. Я знаю наверняка о трех случаях, когда ему говорили об этом. Не вижу, что мы тут можем сделать.

Агравейн, словно пьяный волынщик, прижал пальцем одну ноздрю, а затем погрозил тем же пальцем брату.

— Говорить-то ему говорили, — объявил он, — да все обиняками. Присылали разные там вещицы с намеком — то щит с двусмысленным изображением, то рог, из которого могут пить лишь верные жены. Вот только никто ни разу не сказал ему об этом в открытом суде, прямо в лицо. Мелиагранс предъявил всего лишь расплывчатое обвинение, да и то в пору, когда дела решались судебными поединками. А ты вот подумай, что бы произошло, если бы мы напрямик обличили сэра Ланселота, да еще при этих новейших законах, так что Король волей-неволей назначил бы следствие?

Глаза у Мордреда вспыхнули, словно у филина.

— Ну и?

— Ну и совершенно не представляю себе, что могло бы из этого выйти, кроме раскола. Артур зависит от Ланселота, потому что тот командует всеми его войсками. Ланселот — основа его мощи, потому что всякий же понимает, против грубой силы не больно-то попрешь. Но если мы сумеем устроить так, чтобы между Артуром и Ланселотом начались веселенькие дрязги — из-за Королевы, — тогда мощь его даст трещину. Вот тут и настанет черед для тонкой политики. Тут и придет самое подходящее время для недовольных — для лоллардов, коммунистов, националистов и прочей шушеры. А значит, и ты улучишь минуту для своей пресловутой мести.

— Мы сможем лишить их силы, потому что они уже ослаблены изнутри.

— Раскол будет означать куда как больше.

— Раскол будет означать, что корнуольцы сквитаются за нашего деда, а я за мою мать...

— ...и не тем, что силой попрут против силы, а тем, что с толком раскинут умом.

— А это значит, что я отомщу за себя человеку, который пытался меня утопить, когда я еще был младенцем...

— ...сначала свалив его головореза, а после действуя с должной осторожностью.

— Свалив нашего прославленного чемпиона...

— ...сэра Ланселота!

Суть дела состояла в том, — и возможно, следует в последний раз подробно ее изложить, — что отец Артура убил Графа Корнуольского. Он убил этого человека, потому что возжелал его жены. В самую ночь убийства бедная Графиня понесла Артура. Рожденный слишком рано с точки зрения разного рода условностей, касающихся ношения траура, супружества и всего прочего, он был тайком отправлен на воспитание к сэру Эктору из Дикого Леса. Он так и вырос в неведенье о своем происхождении и девятнадцатилетним юношей влюбился в Моргаузу, не зная, что она — одна из его сводных сестер, дочерей Графини и Графа. Сестра, уже бывшая матерью Гавейна, Агравейна, Гахериса и Гарета и вдвое превосходившая Артура годами, весьма успешно совратила его. Плодом их союза стал Мордред, одиноко взращенный матерью в варварской глуши Внешних Островов. Моргауза растила его в одиночестве, поскольку он был много младше всех прочих членов семьи. Все прочие уже упорхнули ко двору Короля, влекомые кто честолюбием, ибо то был величайший из дворов мира, а кто — желанием бежать от матери. Мордред же остался во власти этой женщины с ее наследственной враждой к Королю да еще и с личной обидой. Ибо Артур, хоть по незрелости и соблазненный Моргаузой, все-таки смог избавиться от нее и со временем женился на Гвиневере. Моргауза, засев на севере с единственным оставшимся у нее сыном,

обрушила на мальчика-калеку всю свою страшную материнскую мощь. Она поочередно то ласкала его, то о нем забывала, ненасытная в своей плотоядности, жившая, черпая силу в любви, питаемой к ней ее собачонками, детьми и любовниками. В конце концов, один из старших сыновей в припадке ревности снес Моргаузе голову, застав ее, семидесятилетнюю, в постели с молодым человеком по имени сэр Ламорак. В ту пору Мордред, раздираемый любовью и ненавистью, что бушевали в его страшной семье, оказался одним из ее убийц. Ныне, при дворе своего отца, которому хватило такта скрыть историю его рождения, несчастный сын обнаружил, что признается всеми как брат Гавейна, Агравейна, Гахериса и Гарета; обнаружил, что Король-отец, которого он по наущению матери ненавидел всем сердцем, относится к нему с любовью; обнаружил вдруг, что его, человека изуродованного, умного и критически настроенного окружает цивилизация, слишком прямолинейная для чисто интеллектуального критицизма; и, наконец, он обнаружил, что является наследником северной культуры, всегда противопоставлявшей себя ограниченной морали южан.

2

В дверях галереи возник паж, тот, что уже приносил Агравейну вино. С преувеличенной вежливостью, ожидаемой от пажей, желающих стать оруженосцами, а после и рыцарями, он склонился в низком поклоне и объявил:

— Сэр Гавейн, сэр Гахерис, сэр Гарет.

Следом вошли трое братьев, громогласных после свежего воздуха и недавних упражнений, — теперь весь клан был в сборе. У всех у них, кроме Мордреда, имелось где-то в глуши по жене, но никто этих жен не видел. Да и самих-то Оркнейцев мало кому случалось в течение долгого времени видеть поодиночке. Когда они собирались все вместе, в них проступало что-то детское, скорее даже приятное, чем наоборот. Возможно, нечто детское было присуще и всем остальным паладинам, упоминаемым в истории Артура, — если простота и детскость это одно и то же.

Первым вошел глава семейства, Гавейн, неся на кулаке самку сокола, голову которой украшал молодой хохолок. Гавейн стал грузен, в рыжей шевелюре его появились поблекшие пряди. Волосы на висках пожелтели, как у хорька, еще немного и они совсем побелеют. Гахерис приобрел сходство с Гавейном, во всяком случае большее, чем у всех остальных. Но копия вышла бледная: не такой рыжий, не такой мощный, не такой крупный и не такой упрямый. Правду сказать, был он малость глуповат. Гарет, самый младший в четверке родных братьев, до сих пор не утратил юношеского обличия. Походка его оставалась упругой — такой, словно ему нравилось ощущать себя живым.

— Ишь ты! — хрипло воскликнул Гавейн, переступая порог. — Уже пьете?

Он еще сохранял чужеземный выговор в знак пренебрежения к языку англичан, но думать по-гаэльски уже перестал. Вопреки воле Гавейна, английский язык его становился все совершеннее. Гавейн старел.

— Да ладно тебе, Гавейн.

Агравейн, знавший, что его привычка пропускать рюмочку-другую еще до полудня одобрения не вызывает, вежливо осведомился:

— Хороший выпал денек?

— Недурственный.

— Превосходный! — воскликнул Гарет. — Мы упражнялись в напуске верхом с помощью Ланселотова слетника, и она по-настоящему освирепела. Я и не думал, что она сумеет взять добычу без притравы! Гавейн управлялся с ней просто великолепно. Она пошла вниз, не помедлив и секунды, словно всю жизнь только и делала, что била сверху цапель, описала отличный круг над свежими стогами у Белого Замка и ушла над ним аккурат на южную сторону дороги пилигримов. Она...

Гавейн, заметивший, что Мордред намеренно зевает, оборвал Гарета:

— Побереги дыхание.

— Хорошая вышла охота, — неловко заключил Гарет. — И поскольку она взяла добычу, мы решили, что можно дать ей имя.

— И какое же? — снисходительно поинтересовались двое.

— Ну, раз она родом с Лёнди, а стало быть, имя должно начинаться на Л, мы решили, что неплохо будет назвать ее в честь Ланселота. Например, Ланселотта или что-нибудь наподобие этого. Из нее получится первоклассная ловчая птица.

Агравейн взглянул на Гарета из-под приспущенных век и сказал, растягивая слова:

— Тогда уж лучше пусть будет Гвен.

Гавейн, выходивший в дворик, чтобы усадить птицу на колодку, вернулся назад.

— Брось, — сказал он.

— Сожалею, если сказал неправду.

— Меня не заботит, правда это или неправда. Я только одно тебе говорю: попридержи язык.

— Гавейн, — сказал Мордред, возводя глаза горе, — Гавейн у нас такой preux chevalier, что при нем дурных речей не держи, не то нарвешься на неприятности. Он, понимаешь ли, очень сильный и во всем подражает сэру Ланселоту.

Рыжий рыцарь с достоинством поворотился к нему.

— Не такой уж я и сильный и вовсе этим не пользуюсь. Я только стараюсь держать своих родичей в достойном виде.

— И разумеется, — подхватил Агравейн, — спать с женой Короля — самое достойное дело, даже если Королевская семья порушила нашу и заделала нашей матери сына, а после пыталась его утопить.

Гахерис возразил:

— Артур всегда был к нам добр. Прекратил бы ты лучше это нытье!

— Был, потому что он нас боится.

— Не вижу я, чего Артуру бояться, когда у него есть Ланселот, — сказал Гарет. — Всякому ведомо, что он — лучший из рыцарей мира и способен одолеть кого угодно. Так ведь, Гавейн?

— Что до меня, я и говорить-то об этом не желаю.

Мордред вдруг вспыхнул, распаленный высокомерным тоном Гавейна.

— Ну и отлично, зато я желаю. Я, может, и слабоват в копейном бою, но у меня хватит смелости встать на защиту моей семьи и ее прав. Я не лицемер. Каждый при дворе знает, что Королева и главнокомандующий — любовники, и однако же предполагается, что все мы — честные рыцари, зашитники дам, и все только об одном и талдычат — о так называемом Святом Граале. Мы с Агравейном решили прямо сейчас отправиться к Артуру и в присут-

ствии двора открыто задать ему вопрос о Королеве и Ланселоте.

— Мордред, — воскликнул глава клана, — ничего такого ты делать не станешь! Грех тебе!

— Еще как станет, — сказал Агравейн, — и я с ним пойду.

Гарет испытывал изумление и боль.

— Они и впрямь решились на это, — протестующе вымолвил он.

Справясь с минутной оторопью, Гавейн взял бразды правления в свои руки и твердо произнес:

— Агравейн, во главе клана стою я, и я тебе запрещаю.

— Ах, ты мне запрещаешь!

— Да, я запрещаю тебе, ибо ты будешь обидчивым дурнем, если сделаешь это.

— Честный Гавейн, — обронил Мордред, — считает тебя обидчивым дурнем.

На сей раз огромный рыцарь, словно норовистый конь, рванулся к Мордреду.

— Помалкивай! — рявкнул он. — Ты думаешь, что я тебя из-за твоего убожества пальцем не трону, и пользуешься этим. Но если ты, дохляк, будешь тут скалиться, так я тебе врежу!

Мордред услыхал, как его собственный голос, казалось, доносившийся откуда-то сзади, холодно произносит:

— Гавейн, ты меня удивил. Ты произнес логически связную речь.

И затем, когда рыцарь-гигант пошел на него, тот же голос сказал:

— Ну, давай. Ударь меня. Покажи, какой ты храбрый.

— Ой, да перестань же ты, Мордред, — взмолился Гарет. — Ты что, и минуту не можешь не задираться?

— Мордред не стал бы, как ты выражаешься, задираться, — встрял Агравейн, — если бы Гавейн его не запугивал.

Гавейн взорвался, будто одна из недавно выдуманных пушек. Как затравленный собаками бык, он отворотил от Мордреда и заорал на обоих.

— Да дьявол задери мою душу, или умолкните, или выметайтесь отсюда! Будет у нас когда-нибудь мир в семье? Захлопни, во имя Господа, пасть и оставь эту идиотскую болтовню про сэра Ланселота.

— Это не идиотская болтовня, — сказал Мордред, — и мы ее не оставим.

Он встал.

— Ну что, Агравейн, — спросил он, — пошли к Королю? Кто еще с нами?

Гавейн встал у них на пути.

— Ты никуда не пойдешь, Мордред.

— И кто меня остановит?

— Я.

— Да ты храбрец, — отметил ледяной голос, так и звучавший откуда-то со стороны, и горбун сделал шаг вперед.

Гавейн выставил рыжую руку с золотистыми волосками на пальцах и толкнул Мордреда назад. В тот же миг Агравейн положил белую ладонь с толстыми пальцами на рукоять своего меча.

— Не двигайся Гавейн. Я при мече.

— Ты всегда при мече, — выкрикнул Гарет, — дьявол!

Вся жизнь младшего брата вдруг сошлась в знакомую картину. Убитая мать, единорог, человек, в это мгновение вытаскивающий меч, и мальчишка, размахивающий посреди темной кладовки ярким кинжалом, — все слилось в его крике.

— Ну что же, Гарет, — прорычал белый, как полотно, Агравейн, — я понял тебя, смотри, я вынимаю меч.

Ситуация вышла из-под контроля: они уже действовали, будто марионетки, будто все это происходило не в первый раз, — как оно, впрочем, и было. Гавейном, едва он завидел сталь, овладела привычная слепая ярость. Изрыгая потоки слов, он отско-

чил от Мордреда, выхватил единственное свое оружие, охотничий нож, и кинулся на Агравейна, — все это одним махом. Толстяк, которого напор братнина гнева вынудил перейти от наступления к обороне, отшатнулся, заслоняясь мечом, пляшущим в дрожащей руке.

— А-а, — ревел Гавейн, — ты отлично понял его, мой тощий мясник. Как нам не полезть с мечом на собственного брата, мы же всегда так любили убивать безоружных людей. Чтоб тебя саваном удавило! Спрячь меч, ты! Спрячь, говорю! Ты что это надумал? Мало тебе, что ты зарезал нашу мать? Спрячь меч, будь ты проклят, или наберись наглости и ударь. Агравейн...

Мордред, держа ладонь на собственном кинжале, скользнул Гавейну за спину. Миг, и сталь, освещенная глазами филина, блеснула среди теней галереи, и тут же Гарет бросился на защиту Гавейна. Поймав запястье Мордреда, он закричал:

— Хватит! Гахерис, займись остальными!

— Агравейн, убери меч! Гавейн, оставь его!

— С дороги! Я научу этого пса уму-разуму!

— Агравейн, опусти немедленно меч, он же убьет тебя! Поторопись! Не будь идиотом! Оставь его, Гавейн. Он не хотел. Гавейн! Агравейн!

Но Агравейн, целя в главу семейства, уже сделал слабенький выпад, который Гавейн презрительно отмахнул ножом. И сразу огромный старый рыцарь с хорьковой шерстью на висках устремился вперед и стиснул ручищами Агравейнову поясницу. Меч еще звенел на полу, а Агравейн уже грянул спиной о стол, на котором стояло вино, и Гавейн навалился на него сверху. Нож яростно взлетел вверх, норовя сделать свое, но подскочивший сзади Гахерис поймал его в полете. Образовалась немая и неподвижная живая картина. Гарет держал Мордреда. Агравейн, свободной рукой прикрывая глаза, пытался увернуться от ножа. А Гахерис удерживал мстительно занесенную руку.

В эту непростую минуту дверь галереи отворилась вторично, и вежливый паж со всегдашним бесстрастием провозгласил:

— Его Величество Король!

Напряжение спало. Каждый выпустил, что держал, и снова пришел в движение. Агравейн, задыхаясь, сел. Гавейн отвернулся от него и провел рукой по лицу.

— О Господи! — пробормотал он. — Опять на меня накатила эта мутная дрянь!

На пороге показался Король.

Он вступил в галерею — спокойный старик, так долго трудившийся, напрягая все силы. Он выглядел старше своих лет, ныне уже немалых. В мгновение королевского ока он уяснил происшедшее и, пересекая галерею, чтобы ласково поцеловать Мордреда, улыбнулся всем сразу.

3

Ланселот с Гвиневерой сидели у окна башенного покоя. Человек нашего времени, знакомый с Артуровской легендой лишь благодаря Теннисону и подобным ему, поразился бы, увидев прославленных любовников теперь, когда пора расцвета для них давно уже миновала. Любой из нас, с привычной легкостью строящих представление о любви на романтической истории двух детей, Ромео и Джульетты, немало бы изумился, доведись ему вернуться в Средневековье, в эпоху, когда один из поэтов рыцарства писал о мужчине, что у него есть «en ciel un dieu, par terre une déesse[1]». В те времена влюбленных набирали не из подростков и юношей, но из людей поживших, понимающих что к чему. В ту пору люди любили друг друга так долго, как жили, не прибегая к удобным выдумкам вроде бракоразводных судов и психоаналитиков. У этих людей был Бог в небесах, а на земле богиня, — и поскольку человеку, который вручает всю свою жизнь богине, поневоле приходится проявлять в выборе ее некоторую осторожность, они искали себе богинь, основываясь не на преходящих, исключительно плотских критериях, и не покидали своих избранниц играючи, едва только плоть переставала оправдывать их ожидания.

Ланселот с Гвиневерой сидели у окна высокой крепостной башни, а внизу под пологими солнечными лучами лежала Англия Короля Артура.

То была Страна Волшебства эпохи Средневековья, эпохи, которую многие привычно считают «темной», и именно Артур превратил эту страну в то, чем она

---

[1] Бог в небесах, а на земле богиня (*фр.*).

стала. Когда старый Король взошел на трон, она была Англией закованных в доспехи баронов, голодного мора и войн. Она была страной, в которой судья устанавливал истину «Божьим судом» то есть каленым железом, в которой законы для англичан и норманнов были различны, в которой звучал печальный бессловесный напев Морфа-Руддлана. В ту пору на всем побережье, куда только достигали ладьи иноземцев, не осталось в живых ни единого зверя и ни единого плодового дерева в целости. В ту пору по лесам и болотам остатки саксов сражались, противясь жестокому игу Утера Завоевателя; в ту пору слова «норманн» и «барон» означали то же самое, что ныне «сахиб»; в ту пору голова Ллевеллина ап Гриффита в короне из побегов плюща плесневела на тесно торчавших из стен Тауэра пиках; в ту пору вы могли повстречать при дороге калек-побирушек, из коих каждый тащил в левой руке свою же правую, и с ними лесных псов, тоже изуродованных, ковыляющих на трех лапах, — дабы неповадно было им охотиться в лесных угодьях своего господина. К приходу Артура сельские жители уже попривыкли каждую ночь баррикадироваться в собственных домах, как бы в ожидании осады, и просить у Бога мирной ночи, — глава семьи повторял молитвы, возносимые в открытом море при приближении шторма и завершавшиеся мольбой: «Господи, спаси и помилуй», на что все присутствующие отвечали «Аминь». В те ранние дни в баронском замке можно было видеть горемык с выпотрошенными животами, чьи кровоточащие внутренности поджаривали у них на глазах, людей, распоротых, дабы выяснить, не проглотили ль они свое золото, людей с забитыми в рот зазубренными железными клиньями, людей, подвешенных вниз головой над чадными очагами, людей, брошенных в змеиную яму, людей, чьи головы стягивали кожаные жгуты, людей, втиснутых в короба, набитые камнями, сокрушавшими несчастным кости. Достаточно об-

ратиться к посвященной тому времени литературе, повествующей о мифологических семействах вроде Плантагенетов, Капетов и прочих, чтобы понять, что творилось в этой стране. Легендарные короли, подобные Иоанну, имели обыкновение вешать перед обедом по двадцать восемь заложников; тогда как королей вроде Филиппа оберегали «сержанты-булавоносцы» — подобие штурмовиков, охранявших своего господина с кистенями в руках; короли же вроде Людовика рубили врагам головы на эшафотах, под которыми они заставляли стоять вражьих детишек, дабы кровь родителей капала им на головы. Так, во всяком случае, уверял нас Ингульф Кройлендский, покамест не выяснилось, что все его писания — сплошная подделка. Затем имелись еще архиепископы, которых называли «шкуродерами»; и церкви использовали в качестве укрепленных фортов, роя окопы прямо по кладбищам, среди мертвых костей; и существовали прейскуранты, по которым всякий мог откупиться от ответственности за любое убийство; и тела отлученных валялись непогребенными; и оголодавшие крестьяне кормились древесной корой, а то и друг другом (один такой съел сорок восемь человек). По одну сторону от вас могли поджаривать еретиков (сорок пять тамплиеров сожгли за один только день), а по другую — катапультами закидывать в осажденные крепости головы пленников. Тут извивался в цепях вождь Жакерии, коронованный раскаленным докрасна железным треножником. Там возносил жалобы Папа, сидящий в узилище в ожидании выкупа, или корчился другой, отведавший яду. В стены замков замуровывались в виде золотых брусков целые сокровища, после чего строителей отправляли на тот свет. Дети играли на улицах Парижа трупом Коннетабля, другие же — вместе с женщинами и стариками, — оказавшись в кольце осады, хоть и вне стен осажденного города, умирали голодной смертью. С шипением горели привязанные к

столбам Гус и Иероним в митрах вероотступников на головах. Плыли вниз по Сене слабоумные из Жумьежа с перерезанными подколенными жилами. В замке Жиля де Рец обнаружили не менее тонны пережженных детских костей — он убивал по двенадцать дюжин детей в год, и так целых девять лет. Герцог Беррийский лишился королевства по причине непопулярности, которую он заработал, опечалясь при известии о павших в сражении восьмистах пехотинцах. Юного графа Сен-Поль обучали искусству боя, предоставляя ему две дюжины живых узников, дабы он попрактиковался на них в различных способах убийства. Людовик Одиннадцатый, еще один выдуманный король, держал неприятных ему епископов в довольно дорогостоящих клетках. Герцог Роберт был прозван «Великолепным» своими вельможами и «Дьяволом» теми из верующих, кому привелось пожить под его рукой. И во все это время, до прихода Артура, простые люди, — из коих в одном только городе всего за неделю волки сожрали четырнадцать человек, коих третью часть унесла Черная Смерть[1], чьи трупы набивали в ямы «наподобие бекона», чьим ночным убежищем часто становились леса, болота и пещеры, коих за семьдесят лет сорок восемь раз косило голодным мором, — эти самые люди с благоговением взирали на высокородных феодальных властителей, именуемых «господами неба и земли», а будучи изувеченными каким-нибудь епископом, коему пролитие крови было заказано, по которой причине он ходил на них с железной дубиной, громко пеняли на то, что Христос и его святые спят в небесах.

«Pourquoi», — в отчаянии пели бедняги:

Pourquoi nous laisser faire dommage?
Nous sommes hommes comme ils sont.[2]

---

[1] Чума.

[2] «Почему дозволено им обижать нас? Ведь мы такие же люди, как и они.» *(фр.)*.

Такова была на удивление современная цивилизация, доставшаяся Артуру в наследство. Но не она открывалась взорам наших любовников. Ныне, освещенная яблочно-зеленой вечерней зарей, перед ними расстилалась баснословная Старая Англия Средневековья — той его поры, когда оно вовсе не было темным. В Англии, созерцаемой Ланселотом и Гвиневерой, стоял Век Индивидуальностей.

Что за чудное время — эпоха рыцарства! Каждый был собой и только собой, ревностно воплощая бесчисленные странности человеческой натуры. Лежавший под окнами башенного покоя ландшафт переполняло такое буйство людей и предметов, что и не знаешь, с какого конца взяться за его описание.

Темное Средневековье! Удивительна все-таки бесцеремонность, с какой девятнадцатый век наклеивал свои ярлыки. Ибо здесь, под этими окнами, в Артуровой Стране Волшебства, солнце пылало сотнями самоцветов в витражах монастырей и обителей, переливаясь на шпицах соборов и замков, возведенных с неподдельной любовью. В ту темную пору архитектура таким светом озаряла страстные души людей, что они наделяли свои крепости любовными прозвищами. Ланселотов Замок Веселой Стражи вовсе не был чем-то исключительным в пору, которая оставила нам Ботэ, Плезанс или Мальвозин, — дурных соседей своим врагам, — в пору, когда даже остолоп наподобие воображаемого Ричарда Львиное Сердце, страдавшего, кстати сказать, от чирьев, мог назвать свою крепость «Gaillard», сиречь «Молодчага», и говорить о ней, «моя годовалая красавица-дочка». Да что там, даже такой легендарный прохвост, как Вильгельм Завоеватель, и тот носил титул «Великого Строителя». А возьмите хотя бы стекло, окрашенное на всю глубину в пять благородных тонов. Стекло было грубее нашего, толще, вставлялось не такими большими, как ныне, пластинами. Люди той поры любили его с той же страстью, с какой давали имена своим замкам, и Виллар де Оннекур, потрясенный во

время путешествия особенной красотой одного из окон, остановился, чтобы зарисовать его, пояснив, что «я находился в пути, подчиняясь зову, пришедшему из земли Венгерской, когда зарисовал это окно, поскольку оно усладило меня более всех иных окон». Вообразите себе внутреннее убранство старинных соборов — не привычный для нас интерьер, серый и голый, но сверкание красок, фрески, писанные по сырой штукатурке, на которых все персонажи стоят на цыпочках, колыхание гобеленов или багдадской парчи. Вообразите и интерьеры тех замков, что виднелись из окна Гвиневеры. Они не походили уже на угрюмые цитадели предшественников Артура. Теперь в них стояла мебель, сработанная столяром, а не плотником; по стенам, скрывая двери, мягко спадали нарядные ткани Арраса, гобелены, подобные тому, на котором изображен турнир в Сен-Дени, и который, хоть и покрывает он более четырех сотен квадратных ярдов, был соткан менее чем за три года, — такое рвение снедало его творцов. Даже сегодня, внимательно осмотревшись в разрушенном замке, можно порой обнаружить крючья, с которых свисали эти ослепительные шпалеры. Вспомните еще о златокузнецах Лотарингии, создававших раки для мощей в виде маленьких храмов с боковыми приделами, статуями, трансептами и всем прочим, совершенные кукольные домики; вспомните лиможские и выемчатые эмали, немецкую резьбу по кости, ирландскую работу по металлу, инкрустированную гранатами. Наконец, если вам и впрямь хочется представить себе брожение творческого начала в эти наши пресловутые темные века, прежде всего избавьтесь от представления, будто письменная культура пришла в Европу лишь после падения Константинополя. В те дни каждый клирик в каждой стране был человеком культурным, ибо в этом и состояла его профессия. «Каждая написанная буква, — говорил средневековый аббат, — это рана, нанесенная дьяволу.» Библиотека Сен-Рикье уже в девятом веке содержала двести пятьде-

сят шесть томов, включая Вергилия, Цицерона, Теренция и Макробия. У Карла Пятого имелось не менее девятисот десяти книг, так что личная его коллекция была почти столь же обширной, как нынешняя «Всеобщая Библиотека».

Ну и наконец, сами люди, видные из окна, — блестящее сборище разного рода оригиналов, каждый из которых сознавал, что обладает помимо тела такой изумительной вещью, как душа, и выявлял ее на свой, порою удивительнейший манер. В лице Сильвестра Второго на папский престол взошел прославленный чернокнижник, хоть и ходила о нем дурная молва, будто бы именно он изобрел маятниковые часы. Баснословный Король Франции по имени Роберт, на свою беду отлученный от церкви, испытал ужасные затруднения в домашнем обиходе, поскольку единственная пара слуг, которых удалось уговорить стряпать для него, поставила условием, чтобы после каждой трапезы все причастные к ней кастрюли бросались в огонь. Архиепископ Кентерберийский, отлучивший под горячую руку сразу всех пребендариев собора Святого Павла, ворвался в Приорию Святого Варфоломея и прямо посреди храма вышиб дух из субприора, чем вызвал такие волнения, что на нем разодрали священническое облачение (под которым, впрочем, оказались доспехи), а самому ему пришлось лодкой удирать в Лэмбит. Графиня Анжуйская имела обыкновение при свершении таинства мессы исчезать сквозь окно. Мадам Трот де Салерно использовала собственные уши в качестве носовых платков, а брови ее свисали до самых плеч, будто серебряные цепочки. Епископа Батского (дело было при воображаемом Эдуарде Первом) по здравом размышлении сочли неподходящим для архиепископского поста по той причине, что у него было слишком много незаконнорожденных детей — не просто несколько штук, а слишком много. Но и сам этот епископ навряд ли мог потягаться с графиней Генне-

бергской, которая взяла да и родила за один присест триста шестьдесят пять младенцев.

То был век полноты, век, когда человек во всякое дело нырял с головой. Возможно, и насаждаемая Артуром идея христианского мира возникла как результат всестороннего образования, которое дал ему Мерлин.

Ибо Король, по крайней мере в истолковании Мэлори, являлся святым покровителем рыцарства. Он не был рассерженным Бриттом в раскраске из вайды, мечущимся по пятому веку, — ни даже одним из тех nouveaux riches de la Poles, которые, по-видимому, омрачили последние годы самого Мэлори. Артур был сердцем рыцарства, достигшего расцвета — столетия, может быть, за два до того, как наш не чающий души в старине автор приступил к своему труду. Он был олицетворением всего, что имелось достойного в Средневековье, и все, что он олицетворял, было создано им самим.

В представлении Мэлори, Артур Английский — это поборник цивилизации, совершенно неправильно толкуемой историческими трудами. В эпоху рыцарства серв вовсе не был рабом, лишенным всякой надежды. Напротив, у него имелось по меньшей мере три вполне законных пути для восхождения по ступеням общественной лестницы, и превосходнейший из этих путей предоставляла ему Католическая Церковь. Благодаря политике Артура, церковь эта, и поныне являющаяся величайшим из всех сообществ, открытых для образованных людей, обратилась в столбовую дорогу, доступную наинизшему из рабов. Сакс-землепашец превратился в Папу Адриана IV, сын плотника — в Григория VII. В эти столь презираемые нами Средние Века вы могли стать великим человеком, почитаемым во всем мире, просто дав себе труд учиться. Убеждение же, что цивилизация Артура отставала по части столь уважаемой нами науки, совершенно ошибочно. Ученые того времени, хоть и называли их магами, изобретали вещи невероятные,

ничуть не худшие наших, — просто мы так давно пользуемся их открытиями, что уже к ним попривыкли. Величайшие среди магов — Альбертус Магнус, брат Бэкон и Раймонд Луллий — ведали кое-какие тайны, утраченные ныне, и между делом выдумали то, что и по сей день является для цивилизации едва ли не основным продуктом потребления, а именно порох. Их чтили за ученость, а Альберта Великого и вовсе произвели в епископы. Один из них, человек по имени Баптиста Порта, судя по всему, изобрел даже кинематограф — да притом оказался настолько разумен, что решил оставить это изобретение без дальнейшего развития.

Что до самолетов, то еще в десятом веке монах по имени Этельмайер экспериментировал с ними и вполне мог преуспеть, кабы не несчастная оплошность, допущенная при креплении хвостового узла. Он разбился: «quod, — говорит Вильям Мальмсберийский, — caudam in posteriori parte oblitus fuerat adaptare».

Даже в том, что представляется нам до крайности современным, темные века не так уж и сильно от нас отстают. Во всяком случае, люди той поры давали замечательные названия некоторым из самых зверских своих коктейлей, к примеру: «Задира», «Бешеный Пес», «Отче-Шлюхин Сын», «Ангельская Снедь», «Млеко Дракона», «Лезь-на-Стену», «Шире Шаг» и «Ноги Вверх».

Вид из окна открывался прелестный, хоть отчасти и непривычный. Там, где у нас лежат разгороженные поля и парки, у них располагались крестьянские общинные земли, вересковые пустоши, огромных размеров леса и болота. Шервудский лес тянулся на сотни миль от Ноттингема до самого Йорка. Население трудолюбиво занималось бортничеством, распугивало грачей, пахало на волах, — тут вам придется заглянуть в «Люттереллов Псалтырь», замечательно изображающий эти занятия. В те дни, если вас ин-

тересовали разного рода странности, вы могли бы, при определенном везении, увидеть из окна скачущего мимо рыцаря. Ваше внимание наверняка привлекла бы его голова, обритая вкруг ушей и на затылке, — на макушке, однако, волосы торчали вверх, как у японской куклы, так что в целом голова походила на деревенский каравай с солонкой наверху. Этот пук волос, да еще прикрытый шлемом, отменно гасил удар. Следом, возможно, проехал бы (и вероятно, на иноходце) клирик, — у него с волосами дело обстояло в точности наоборот, ибо его макушка благодаря тонзуре была совершенно голой. Когда он в первый раз являлся к епископу, чтобы тот возвел его в сан, он приносил с собой ножницы. Затем, если бы вам захотелось увидеть какого-нибудь совсем уже удивительного всадника, вы могли бы дождаться крестоносца, поклявшегося освободить Гроб Господень. Вы, разумеется, ожидали бы увидеть крест на его накидке, но вряд ли вам могло прийти в голову, что он поместит этот символ практически везде, где только сможет, — до того ему было любо избранное им занятие. Подобно новопосвященному бойскауту, охваченному энтузиазмом, он лепил крест и на щит своего герба, и на кафтан, и на шлем, и на седло, и на конскую узду. Следующим проезжим мог оказаться какой-нибудь мирской брат, принадлежащий к одному из цистерианских орденов, и по его одеянию вы определенно решили бы, что он — человек ученый. Увы, он-то как раз и был неграмотен ex officio[1]. Вся его служба состояла в наложении свинцовых печатей на папские буллы, и ради сохранения тайны папской переписки на эти должности набирали людей надежных, таких, что и буквы прочесть не сумеют. Следом мог объявиться сакс — при бороде и в подобии фригийского колпака, носимого в знак непокорства, следом — рыцарь из болот, что на северной границе. Последний, поскольку он жил ночным раз-

[1] По должности (*лат.*).

боем, мог изукрасить свои одежды, запустив месяц и звезды по лазурному фону. В какой-то части пейзажа вы могли бы приметить дымок, возносящийся над мехами алхимика, пытавшегося, с похвальным прилежанием, обратить свинец в золото, — искусство, недоступное нам и поныне, хотя мы уже подбираемся к нему посредством атомного синтеза. Дальше, в окрестностях монастыря, вы, пожалуй, смогли бы различить сердитых монахов, босиком марширующих вокруг своей обители, — они, надо полагать, разругались с аббатом, ибо, насылая на него порчу, двигались против солнца. Теперь взгляните вон в том направлении, видите, там виноградник с оградою из костей, — в начале правления Артура удалось совершить открытие, согласно которому из костей получаются превосходные ограды для виноградников, погостов и даже для укрепленных фортов, — а если вы посмотрите вон туда, вам, быть может, удастся разглядеть ворота замка, сильно похожие на выставку охотничьих трофеев. Ворота сплошь покрывали прибитые к ним головы волков, медведей, оленей, ну и так далее. А там, вдали, чуть левее, вполне мог протекать — в соответствии с правилами, изложенными Жоффруа де Прейи, — рыцарский турнир, и королевские герольды тщательно, словно рефери перед боксерским матчем, осматривали бойцов, проверяя, не прикрепились ли они как-нибудь к седлам. Во времена предполагаемого короля Эдуарда III такие вот рефери перед самым началом судебного поединка, имевшего состояться между неким графом Солсберийским и Солсберийским же епископом, обнаружили, что под доспехами у бойца, выступавшего за епископа, по всему телу нашиты на одежду молитвы и волшебные заклинания — а это было все равно что боксеру засунуть в перчатку конскую подкову. Прямо под самым окном могла угрюмо проехать верхами пара мучимых запором папских нунциев, возвращающихся в Рим. Одна такая пара была как-то послана к Варнаве Висконти с буллами, в которых

он отлучался от церкви, Варнава же лишь заставил их съесть привезенные буллы — пергаменты, ленты, свинцовые печати и все остальное. Сразу за ними мог проплестись под окном пилигрим-наемник, опираясь на крепкий узловатый посох, подбитый железом, как альпеншток, и сгибаясь под бременем медалей, на коих почиет благодать, святых реликвий, черепков с таинственными надписями, нерукотворных ликов и тому подобного. Сам себя он именовал паломником и, если ему уже удалось вдоволь пострaнствовать, реликвии его могли включать перо Архангела Гавриила, несколько углей из тех, на которых поджарили Св. Лаврентия, палец Святого Духа — «целый и крепкий, каким и был он вовеки», «сосуд с потом Св. Михаила, собранным после его борений с диаволом», малую часть «куста, из коего Господь воззвал к Моисею», камзол Св. Петра или же толику молока Пресвятой Девы, что сохраняется в Уолсингеме. За паломником могла крадучись проследовать личность несколько более греховная — один из тех, кто «днем спит, ночью же бдит, ест хорошо и пьет хорошо, но имением не владеет». Это мог быть грабитель, о подобных коему в ту пору писали:

> А для воров закон таков: хватай и вяжи лиходея,
> И без жалости вешай на крепком суку,
> и пусть его ветер греет.

Но до того, как закачаться на ветру, он еще поживет свободной жизнью. Его подруга твердо ступает с ним рядом, и за ее голову также обещана награда, — она коротко остригла волосы перед тем, как уйти в леса, и зовется «разбойничьей женкой». Время от времени она оглядывается, — не кричат ли уже позади «держи вора!», не видать ли погони.

Здесь мог появиться барон, перед которым несут с осторожностью горячий пирог, ибо один раз в году он обязан приносить такой пирог Королю, дабы Король Артур понюхал его, принимая запах в виде уплаты ленной повинности. Мог показаться и другой

барон, преследующий с копьем наперевес какого-нибудь дракона, — бум! — и барон рушился наземь, а конь трусил себе дальше. Впрочем, если такое случалось, один из слуг тут же подводил ему своего коня и помогал взобраться на оного, — как и мы в наши дни поступили бы с тем, кто возглавляет охоту, — ибо таков был феодальный закон. Далеко на севере, под уже выцветающим закатным небом, мог вдруг затеплиться свет в окне деревенского дома, где некая трудолюбивая ведьма не только вылепливала из воска фигурку человека, который не пришелся ей по душе, но даже подвергала фигурку обряду крещения, — момент безусловно важный, — прежде чем утыкать ее булавками. Кстати сказать, один из ее друзей-священников, впрочем, сменивший хозяина, с охотой служил заупокойные мессы по любому, от кого вам желательно было избавиться, — и дойдя до слов «Requim aeternum dona ei, Domine»[1], — выговаривал оные истово, хотя подразумеваемый человек был еще жив. Столь же далеко на востоке вы могли бы под тем же закатом увидеть Ингерранда де Мариньи, того самого, который построил огромную виселицу в Монфальконе, теперь и сам он, повинный в занятиях Черной Магией, клацая костями, догнивает на этой виселице. По дороге могли проскакать Герцоги — Беррийский с Бретонским — два достойных человека в похожих на стальные атласных кирасах. Эти двое не пожелали воспользоваться преимуществами, какие дают доспехи, и поскольку в атласных одеждах было не так жарко, они решили ничем, кроме отваги, не отличаться от обыкновенных людей. Нечто подобное мог бы проделать и Ланселот. Над ними на склоне холма мог, оставаясь незамеченным, восседать Развеселый Уот с всегдашним своим туеском, наполненным дегтем. Он представлял собой типичнейшую фигуру Страны Волшебства, деготь же предназначался для овец — это был антисептик. Ес-

[1] Вечный покой дай ему, Господи *(лат.)*.

ли бы вы сказали ему: «У нас тут всяк сам себе барин», — он бы согласился с вами немедленно, ибо он-то эту пословицу и выдумал, а уж мы ее после переиначили, заменив барана на барина.

Еще на большем расстоянии мог обнаружиться банкрот, нещадно секомый на каком-нибудь из торжищ Московии, — не от плохого к нему отношения, но по причине жгучей надежды, что если он будет вопить достаточно громко, кто-нибудь из его друзей либо родичей, стоящих в толпе, проникнется состраданием и уплатит его долги. Далее к югу, в сторону Средиземноморского бассейна, вы могли бы увидеть моряка, караемого, согласно закону Ричарда Львиное Сердце, за пристрастие к азартной игре. Кара заключалась в том, что моряка три раза бросали с грот-мачты в море, и всякий раз, что он плюхался в воду, товарищи его ободрительно вопили «ура». А на рынке прямо под вами вполне могло совершаться третье затейливое наказание. Виноторговца, коего товар оказывался дурного качества, привязывали к позорному столбу и принуждали выпить непомерное количество его же собственного вина, а все оставшееся выливали ему на голову. И как же болела назавтра бедная голова! Посмотрев вон в ту сторону, вы могли бы, если у вас достаточно широкие взгляды, получить удовольствие, наблюдая за разухабистой Алисон, наградившей ухажера удивительным поцелуем, как о том сообщает Чосер. Посмотрев же в эту сторону, вы обнаружили бы отчаявшегося Мельника и его семейство, пытающееся разобраться в светопреставлении, случившемся прошлой ночью в их доме из-за сдвинутой с ее места колыбели, о чем повествует в своем рассказе Мажордом. На игровой площадке вон той монастырской школы несколько школяров со священным трепетом разглядывают своего однокашника, коему хватило находчивости и удачи наповал уложить из новомодной пушки Графа Солсберийского. И может быть, рядом с площадкой в вечернем свете роняют лепестки цветущие сливы, по-

явившиеся, подобно Мерлиновой шелковице, совсем недавно. Другой мальчуган, на сей раз четырехлетний король Шотландии, с грустью вручает своей няньке королевский рескрипт, дозволяющий ей шлепать короля без риска быть обвиненной в государственной измене. Весьма малопочтенного вида армия — в сущности, организованная банда, привыкшая добывать себе пропитание мечом, — могла бродить от дверей к дверям, выпрашивая куски (участь, коей достойна всякая армия); а человеку, нашедшему убежище вон в той церкви, что к востоку отсюда, вполне могли оттяпать ногу, высуни он ее на полшага за дверь. В том же самом пристанище вы обнаружили бы целое общество фальшивомонетчиков, воров, убийц и неисправных должников, которые в успокоительном уединении церкви, где никто их не арестует, старательно чеканили фальшивые деньги или острили ножи, приготовляясь к вечерней прогулке. Худшее, что могло приключиться с ними после того, как они здесь укрылись, — это изгнание из страны. В этом случае им пришлось бы пешком тащиться до Дувра, все время держась середины дороги и сжимая распятие, — если они хоть на миг выпускали его из рук, на них разрешалось напасть, — а добравшись туда, им надлежало, если корабля для них сразу не находилось, по горло зайти в воду, доказывая тем самым, что они взаправду стараются покинуть страну.

Известно ли вам, что в ту мрачную эпоху, которую мы изучаем, глядя в окно Гвиневеры, людям доставало благопристойности, чтобы подчиняться Католической Церкви, когда она налагала запрет на любые военные действия, — этот запрет назывался Божиим Перемирием, а длилось оно с пятницы до понедельника, а равно во весь Рождественский и Великий Посты? Неужели вы полагаете, что эти люди с их битвами, голодом, Черной Смертью и рабством были менее просвещенными, нежели мы с нашими войнами, блокадами, гриппом и всеобщей воинской повинно-

стью? Пусть они даже были настолько глупы, что верили, будто Земля является центром Вселенной, сами-то мы разве не верим, что человек — это цвет творения? Если рыбы потратили миллион лет на превращение в рептилий, так ли уж неузнаваемо переменился Человек за несколько прожитых нами столетий?

4

Закат рыцарства, вот что наблюдали из башенного окна Ланселот с Гвиневерой. Силуэты их темных профилей долго оставались явственными на фоне меркнущего неба. Профиль Ланселота, старого и страховидного, напоминал своими очертаниями профиль горгульи. Такой же лик, погруженный в ужасное созерцание, мог глядеть с собора Нотр-Дам, построенного при жизни Ланселота. Впрочем, лицо достигшего зрелости Ланселота исполнилось благородства, прежде ему несвойственного. Жуткие линии его углубились и успокоились, превратившись в складки, свидетельствующие о силе. Подобно бульдогу, с которым природа обошлась хуже, чем с кем бы то ни было из собак, Ланселот обрел, наконец, лицо, внушающее доверие.

Самое трогательное состояло в том, что эти двое пели. Голоса их, уже не полнозвучные, как у людей в расцвете молодых сил, еще сохранили способность уверенно вести мелодию. Пусть даже и слабые, они оставались чистыми и поддерживали друг дружку.

Как месяц Май придет, (пел Ланселот)
И солнце обольет
Лучами день младой,
Уж мне не страшен бой.

— Когда, — пела Гвиневера, —

Когда небесный свод
Вкруг солнце обойдет,
Пускай приходит мгла,
О ночь, ты мне мила.

— Но ах! — выпевали оба, —

Но ах! И день, и ночь,
Уйдут когда-то прочь,
И для души остылой
Ничто не будет мило.

Маленький настольный орган издал неожиданную трель, они прервали пение, и Ланселот сказал:

— Хороший у тебя голос. Мой, боюсь, становится скрипучим.

— А ты бы пил поменьше.

— Ну, это уже нечестно! Да я со времен Грааля, считай, спиртного почти и в рот не беру.

— Я бы предпочла, чтобы ты и вовсе не пил.

— Что ж, значит, бросаю пить — даже воду. Вот умру у твоих ног от жажды, и Артур устроит мне роскошные похороны, а тебе никогда моей погибели не простит.

— Да, и я отправлюсь за мои грехи в монастырь и буду жить счастливо до скончания дней. Что мы теперь споем?

— Ничего, — сказал Ланселот. — Мне не хочется петь. Иди сюда, Дженни, сядь рядом со мной.

— Тебя что-то гнетет?

— Нет. Я в жизни не был так счастлив. Да, думаю, и не буду.

— Отчего же ты счастлив?

— Не знаю. Оттого, что весна все же пришла, а впереди у нас веселое лето. Руки у тебя опять потемнеют, вот здесь, наверху, кожа слегка зарумянится, и порозовеют скругленья локтей. Знаешь, что я больше всего люблю в твоих руках? Изгибы, — складки над локтями, к примеру.

Гвиневера уклонилась от этих чарующих комплиментов.

— Интересно, чем сейчас занят Артур?

— Артур навещает Гавейнов, а я говорю о твоих локтях.

— Я слышу.

— Дженни, я счастлив, оттого что ты распоряжаешься мной. Вот и все объясение. Пристаешь ко мне, чтобы я пил поменьше. Мне нравится, что ты заботишься обо мне, говоришь, что я должен делать.

— По-моему, ты в этом нуждаешься.

— Нуждаюсь, — подтвердил он. И вдруг с вне-

запностью, удивившей обоих: — Можно, я сегодня приду?

— Нет.

— Почему?

— Ланс, ну что ты спрашиваешь! Ты же знаешь, Артур дома, это слишком опасно.

— Артур не против.

— Если Артур вынужден будет поймать нас, — рассудительно сказала она, — ему придется нас убить.

С этим он не согласился.

— Да Артур все про нас знает. Его и Мерлин предупреждал со всеми подробностями, и Моргана ле Фэй прислала ему два совершенно прозрачных намека, и потом еще эта история с сэром Мелиагрансом. Он никогда не станет ловить нас, если его не заставят.

— Ланселот, — сердито сказала она, — я не могу позволить тебе говорить об Артуре так, словно он какой-нибудь сводник.

— А я и не говорю о нем так. Он лучший мой друг, и я люблю его.

— Ну, значит, ты говоришь обо мне так, словно я еще и похуже.

— Вот именно так ты себя сейчас и ведешь.

— Очень хорошо! Если тебе нечего больше сказать, лучше уйди.

— Чтобы ты могла без помехи лечь с ним в постель, я так понимаю.

— Ланселот!

— Ах Дженни! — Он вскочил, легкий, как прежде, и поймал ее, не давая уйти. — Не сердись. Прости, если я обидел тебя.

— Убирайся! Оставь меня в покое!

Но Ланселот держал ее по-прежнему крепко, как человек, не дающий дикой зверушке вырваться и удрать.

— Не сердись. Прости. Ты ведь знаешь, я так не думаю.

— Животное ты все-таки.

— Нет. И я не животное, и ты не животное. Дженни, я буду тебя держать, пока ты не перестанешь злиться. Я сказал это, потому что почувствовал себя несчастным.

Ее голос, глухой и сдавленный, жалобно произнес:

— Только сию минуту ты говорил, что счастлив.

— Ну, говорил. И все равно я несчастен и весь свет мне не мил.

— Думаешь, только тебе одному?

— Нет, не думаю. Прости мне мои слова. Мне самому они радости не прибавили. Будь умницей, ладно? и не заставляй меня мучиться еще сильнее.

Гвиневера смягчилась. Годы умерили пылкость их прежних ссор.

— Ладно.

Но улыбка ее и податливость лишь заново разбередили его.

— Дженни, давай уедем отсюда вместе.

— Прошу тебя, не начинай все сначала.

— Не могу я не начинать, — отчаянно сказал он. — Я не знаю, что делать. Господи, это тянется всю нашу жизнь, но отчего-то весной всегда становится хуже. Ну почему тебе не уехать со мной в Веселую Стражу и не жить там в открытую?

— Ланс, отпусти меня и постарайся быть благоразумным. Ну-ка, садись, давай споем еще что-нибудь.

— Не хочу я петь.

— А я не хочу этих разговоров.

— Если ты уедешь со мной в Веселую Стражу, все наши мучения кончатся раз и навсегда. Мы сможем жить вместе, мы будем счастливы, нам не придется никого обманывать день за днем, и мы умрем с миром в душе.

— Ты же сам сказал, что Артур все знает о нас, — отвечала она, — и что мы вовсе его не обманываем.

— Да, но это другое дело. Я люблю Артура, и я не могу видеть, как он глядит на меня, и сознавать, что он все знает. Ты же понимаешь, Артур любит нас обоих.

— Но, Ланс, если ты так его любишь, как же ты убежишь с его женой?

— Я хочу, чтобы все было честно, — упрямо сказал он, — хотя бы под конец.

— Ну, а я этого не хочу.

— На самом-то деле, — его вновь обуял гнев, — ты просто хочешь иметь двух мужей. Женщинам всегда подавай все сразу.

Она терпеливо отвергла ссору.

— Не хочу я иметь двух мужей, и чувствую я себя так же скверно, как ты, — но что хорошего получится, если мы станем жить открыто? Нынешнее наше положение ужасно, но по крайней мере Артур знает об этом про себя, и нам можно любить друг друга и чувствовать себя в безопасности. А если я убегу с тобой, все рухнет. Артуру придется объявить тебе войну, осадить Веселую Стражу, и тогда один из вас погибнет, если не оба, и погибнут еще сотни людей, и никому от этого лучше не станет. Да и не хочу я покидать Артура. Когда я выходила за него замуж, я обещала оставаться с ним, и кроме того, я привязана к нему. Здесь я могу хотя бы заботиться о нем и помогать ему, даже если я люблю и тебя тоже. Не вижу я в этой твоей открытости смысла. Зачем нам делать Артура жалким в глазах всего света?

Ни он, ни она не заметили в густеющих сумерках, что пока она говорила, на пороге покоя появился Король. Сидя боком к окну, они почти не видели комнаты. Долю секунды Король простоял, собираясь с мыслями, витавшими далеко отсюда — погруженными в заботы об Оркнейцах или в иные дела государства. Он остановился в занавешенном проеме дверей, бледная длань его, отведшая в сторону гобелен,

еле заметно блеснула в темноте перстнем с королевской печатью, затем, не задержавшись ни на миг, чтобы послушать их разговор, он выпустил ткань и отступил. Он отправился на поиски пажа, чтобы тот объявил о его появлении.

— Самое честное, — говорил Ланселот, скручивая зажатые между коленями руки, — самое честное для меня — это уехать и не возвращаться. Но если я еще раз сделаю такую попытку, разум мой больше не выдержит.

— Бедный мой Ланс, и что бы нам было не петь дальше! Теперь ты снова впадешь в тоску, и у тебя опять будет приступ. Почему мы не можем оставить все как есть, — пусть твой замечательный Бог сам обо всем позаботится. Есть ли смысл в потугах что-то делать или придумывать исходя из того, что вот это правильно, а это неправильно? Да не знаю я, что правильно, а что нет. Разве не можем мы довериться самим себе, делать, что делается, и уповать на лучшее?

— Ты его жена, а я его друг.

— Хорошо, — сказала она, — кто заставил нас полюбить друг друга?

— Дженни, я не знаю, что делать.

— Ну, и не делай ничего. Иди ко мне, поцелуй меня по-доброму, и Бог о нас позаботится.

— Милая!

На этот раз к ним поднялся по лестнице паж, громко топая, как оно водится у пажей, и неся с собой свечи. О свечах распорядился Артур.

Вокруг поспешно отпрянувших друг от друга любовников засветилась своими красками комната. По мере того, как мальчик зажигал свечи, из темноты проступало великолепие ее драпировок. Со всех четырех стен, струясь, стекали пестрящие цветами луга и полные птиц рощи Арраса. Дверная завеса снова приподнялась, и в комнату вошел Король.

Он выглядел старым, старше их обоих. Но то

была благородная старость, исполненная уважения к себе. Даже и в наши дни можно порой повстречать человека шестидесяти или более лет, черноволосого и прямого, словно тростник. К этому разряду принадлежали и наши герои. Ланселот, теперь мы можем его как следует разглядеть, казался прямым олицетворением лучшего, что есть в людской природе, — человеком, у которого чувство ответственности стало почти фанатическим. Гвиневера, — и это могло бы, пожалуй, удивить тех, кто знавал ее в пору, когда в душе ее бушевала буря, — выглядела мягкой и миловидной. Она едва ли не вызывала желание встать на ее защиту. Но из этих троих более всех трогал сердце Артур. Он был так просто одет, так мягок, так терпелив в обхождении со своими скромными принадлежностями. Часто, когда Королева развлекала избранное общество в освещенной факелами Главной Зале, Ланселот находил Артура в маленькой комнатке, где тот сидел в одиночестве, штопая собственные чулки. Ныне он — в синей домашней мантии, синей, поскольку эта краска была в те дни весьма дорогой и предназначалась для королей, либо святых, либо ангелов на картинах, — ныне он, улыбаясь, стоял на пороге мерцающей комнаты.

— Привет, Ланс. Привет, Гвен.

Гвиневера, у которой еще не выровнялось дыхание, ответила на приветствие:

— Привет, Артур. Ты застал нас врасплох.

— Прости. Я только-только вернулся.

— Как там Гавейны? — спросил Ланселот тоном, который давно уже стал привычным и который ему так и не удалось сделать естественным.

— Когда я вошел, они дрались.

— Это на них похоже! — воскликнули Ланселот с Гвиневерой. — И что же ты сделал? Из-за чего они передрались?

Голоса их звучали так, словно речь шла о жизни

и смерти, ибо собственное их состояние мешало им верно понять состояние Короля.

Король смотрел прямо перед собой.

— Я не спросил.

— Скорее всего, — сказала Королева, — какая-нибудь семейная история.

— Скорее всего.

— Надеюсь, никто не пострадал?

— Никто не пострадал.

— Ну и прекрасно, — вскричала она, сама заметив, что звучащее в ее восклицании облегчение выглядит нелепо, — выходит, что все хорошо.

— Да, выходит, что все хорошо.

Они заметили, как искрятся его глаза. Их встревоженность забавляла его, — стало быть, все в порядке.

— Ну-с, — сказал Король, — нам непременно нужно и дальше толковать о Гавейнах? Получу я наконец поцелуй от собственной жены?

— Дорогой.

Она потянулась к мужу и поцеловала его в лоб, думая о нем, как о старом и верном друге, — как о ручном медведе.

Ланселот поднялся.

— Мне, может быть, лучше уйти?

— Останься, Ланс. Так приятно хоть немного побыть с вами наедине. Иди сюда: сядь к огню, спой нам песню. Скоро нам уже и огонь не понадобится.

— Да, — сказала Гвиневера. — Как странно, скоро уже лето.

— И все равно приятно посидеть у огня, — дома.

— Хорошо вам сидеть у себя дома, — странным тоном сказал Ланселот.

— О чем это ты?

— У меня-то дома нет.

— Не горюй, Ланс, еще будет. Подожди, пока доживешь до моих лет, а там уж и начинай тревожиться по этому поводу.

— Можно подумать, — сказала Королева, — что не каждая встречная женщина гонится потом за тобой целую милю, а то и две.

— С ищейками, — добавил Артур.

— Да к тому же половина из них напрямик делает тебе предложение.

— И ты еще жалуешься, что у тебя дома нет.

Ланселот рассмеялся, последний ледок напряжения был сломан.

— А ты, — спросил он, — женился бы на женщине, которая гоняется за тобою с ищейками?

Прежде чем ответить, Король серьезно обдумал вопрос.

— Я бы не смог, — сказал он наконец, — я, видишь ли, уже женат.

— На Гвен, — сказал Ланселот.

Странно. Казалось, они разговаривали уже не словами, но значениями, отличными от слов. Как муравьи, беседующие при посредстве антенн.

— На Королеве Гвиневере, — поправил его Король.

— Или на Дженни? — предположила Королева.

— Да, — согласился он, но лишь после долгой паузы, — или на Дженни.

Наступило еще более глубокое молчание, и в конце концов Ланселот снова встал.

— Ну ладно, мне нужно идти.

Артур положил ладонь ему на руку.

— Нет, Ланс, останься на минуту. Я хочу кое-что рассказать Гвиневере сегодня и предпочел бы, чтобы и ты послушал. Мы столько времени прожили вместе. Я хочу исповедаться в одной давней истории, а ты как-никак один из членов нашей семьи.

Ланселот сел.

— Ну, вот и хорошо. Теперь дайте мне каждый руку, а я сяду между вами, вот так. Ну что же. Моя Королева и мой Ланс, и ни один из вас не укорит меня тем, что я собираюсь вам рассказать.

Ланселот с горечью произнес:

— Не нам укорять кого бы то ни было, Король.

— Да? Ну ладно, я не знаю, что ты имеешь в виду, но я хочу рассказать вам кое о чем, сделанном мной в молодости. Это еще до того, как я женился на Гвен, и задолго до твоего посвящения в рыцари. Вы согласны меня послушать?

— Конечно согласны, если тебе это нужно.

— Только мы не верим, будто ты сделал что-либо дурное.

— Собственно говоря, все началось еще до моего рождения, когда отец полюбил Графиню Корнуольскую и убил Графа, чтобы ее получить. Она была моей матерью. Эта часть истории вам известна.

— Да.

— Возможно, вы не знаете, что я родился не в самое удачное время. Слишком скоро после бракосочетания отца и матери. Потому-то они и скрыли мое рождение и еще в пеленках отослали меня к сэру Эктору, чтобы он меня вырастил. Сам Мерлин меня и отвез.

— А потом, — весело сказал Ланселот, — когда твой отец умер, тебя привезли ко двору, и ты вытащил из камня волшебный меч и доказал, что ты — по праву рождения Король над всей землею Английской, и с той поры жил счастливо, и на том вся история и кончается. Я бы не назвал ее такой уж плохой.

— К сожалению, на этом она не кончается.

— Как это?

— Видите ли, дорогие мои, меня отобрали у матери, едва я родился, и куда меня дели, она не знала. Не знал и я, кто моя мать. Единственными людьми, осведомленными о нашем с нею родстве, были Утер Пендрагон и Мерлин. Много лет спустя, уже став королем, я познакомился с родичами моей матери, так и не зная, кем они мне приходятся. Утер уже умер, а Мерлин вечно путался в своем

ясновидении и просто забыл рассказать мне о них, поэтому мы встретились как чужие друг другу. Одну из моих родственниц я нашел очень умной и привлекательной.

— Знаменитые Корнуольские сестры, — холодно обронила Королева.

— Да, дорогая, знаменитые Корнуольские сестры. У покойного Графа было три дочери, приходившихся мне, хоть я того и не знал, сводными сестрами. Их звали Моргана ле Фэй, Элейна и Моргауза, они почитались первыми красавицами Британии.

Двое слушателей ждали, когда тихий голос Короля возобновит рассказ, что он и сделал, не дрогнув.

— Я влюбился в Моргаузу, — прибавил он, — и у нас родился ребенок.

Если кто-то из двоих и почувствовал удивление, негодование, сострадание или зависть, они их не выказали. Их больше всего удивило, что тайну удалось сохранить столь долгое время. Оба они по голосу Короля почувствовали, что он мучается, и не хочет, чтобы его прерывали, пока он до конца не облегчит свою душу.

В молчании, они долго смотрели в огонь, это была самая длинная пауза в разговоре. Наконец Артур пожал плечами.

— Так что, сами видите, — сказал он, — я отец Мордреда. Гавейн и прочие — племянники мне, а Мордред настоящий мой сын.

По глазам Короля Ланселот понял, что можно говорить.

— И все равно твоя история не кажется мне такой уж греховной. Ты же не ведал, что Моргауза приходится тебе сводной сестрой. И Гвен ты еще не знал. А судя по дальнейшей жизни Моргаузы, вина скорее всего лежит целиком на ней. Это была не женщина, а дьявол.

— Она была моей сестрой — и матерью моего сына.

Гвиневера погладила его руку.

— Какое несчастье.

— Кроме того, — сказал Король, — она была очень красива.

— Моргауза... — начал Ланселот.

— Моргауза заплатила отрубленной головой за свои прегрешения, и потому нам лучше оставить ее покоиться с миром.

— Отрубленной, — сказал Ланселот, — ее же собственным сыном, заставшим ее в постели с сэром Ламораком...

— Прошу тебя, Ланселот.

— Извини.

— Я все же не думаю, что грех лежит на тебе, Артур. В конце концов ты ведь не знал, что она твоя сестра.

Король глубоко вздохнул и продолжил рассказ, только голос его стал глуше.

— Вы еще не знаете, — сказал он, — худшего из того, что я совершил.

— Чего же?

— Понимаете, я был молод, мне было всего девятнадцать. А Мерлин явился слишком поздно, чтобы объяснить мне, что происходит. Все вокруг втолковывали мне, какой ужасный грех я совершил, и как ничего, кроме бед, из него не воспоследует, и еще много разного о том, на что будет похож Мордред, когда родится. Меня запугали жуткими предсказаниями, и я совершил нечто, с тех самых пор не дающее мне покоя. Видите ли, наша мать, как только все вышло наружу, где-то укрыла Моргаузу.

— И что ты сделал?

— Я повелел объявить, что всех детей, рожденных в определенный срок, надлежит поместить на большой корабль, и корабль пустить в море. Я хотел уничтожить Мордреда для его же блага, а где ему предстоит родиться, того я не знал.

— И это было сделано?

— Да, корабль отплыл, Мордред оказался на нем, и корабль разбило об остров. Большая часть несчастных младенцев утонула, но Мордреда Бог сохранил и привел его ко мне, чтобы вечно мучить меня стыдом. Моргауза все открыла ему спустя долгое время после того, как получила его назад. Но перед другими людьми она всегда делала вид, будто он законный сын Лота, подобно Гавейну и всем остальным. Естественно, ни ей, ни его братьям не хотелось рассказывать посторонним об этом деле.

— Ну что же, — сказала Гвиневера, — если никто об этом не знает, исключая Оркнейцев и нас, и если Мордред все-таки уцелел...

— Ты забыла про остальных младенцев, — жалко сказал Король. — Они мне снятся все время.

— Почему ты нам раньше этого не рассказывал?

— Мне было стыдно.

Тут уж Ланселота прорвало.

— Артур, — воскликнул он, — чего тебе стыдиться? Это не ты сделал, это сделали с тобой, когда ты был еще слишком молод, чтобы толком во всем разобраться. Попались бы мне в руки скоты, запугивающие детей россказнями о грехах, я бы им шеи переломал. Какая польза от таких разговоров? Сколько людей от них пострадало — и ради чего?! И те несчастные дети!

— Они все утонули.

Трое еще посидели, глядя в огонь, затем Гвиневера повернулась к мужу.

— Артур, — спросила она, — а почему ты рассказал нам об этом сегодня?

Он помолчал, подбирая слова.

— Видишь ли, я боюсь, что Мордред втайне питает ко мне неприязнь, — и, в общем, вполне заслуженную.

— Измена? — осведомился главнокомандующий.

— Да нет, Ланс, не то чтобы измена, но, по-моему, его томит недовольство.

— Ну так отруби этому слюнтяю голову, и делу конец.

— Что ты, я и подумать об этом не могу! Ты забываешь, что Мордред мой сын. Я люблю его. Я и без того причинил мальчику много зла, да и род мой почему-то вечно обижал Корнуоллов, так мне еще этого греха не хватало. Кроме того, я все же отец ему. Я вижу в нем себя самого.

— Что-то не улавливаю я особого сходства.

— Тем не менее оно существует. Мордреду присуще стремление к славе и почестям, а я и сам всегда им отличался. Просто он немощен телом и оттого не способен показать себя в наших играх, и это озлобило его, как, наверное, озлобило бы и меня, если бы мне не сопутствовала удача. Наконец, он на свой причудливый манер отважен и предан своим сородичам. Понимаешь, мать настроила его против меня, это вполне естественно, и по его разумению во мне воплотилось все, что есть дурного на свете. Я почти уверен, что в конце концов он меня убьет.

— И ты всерьез почитаешь это веской причиной, чтобы не убить его прямо сейчас?

Лицо Короля отразило вдруг удивление, если не ужас. До этой минуты он покойно сидел между ними, усталый и несчастный, теперь же встал и взглянул своему капитану прямо в глаза.

— Тебе следует помнить о том, что я — Король Англии. А король не может казнить людей, когда ему заблагорассудится. Король стоит во главе своего народа, он обязан служить народу примером и исполнять народную волю.

Испуг на лице Ланселота смягчил Короля, и он снова взял своего друга за руку.

— Ты должен понять, — пояснил он, — что когда короли ведут себя по-бандитски и верят в одну только силу, народ тоже превращается в бандитскую шайку. Если я не буду стоять на страже закона, мой народ лишится его. А я, естественно, хочу, чтобы мой

народ жил по новым законам, потому что они принесут ему процветание, а если будет благополучен народ, значит, и я буду благополучен.

Двое смотрели на него, пытаясь понять, что он им хочет внушить. Он не позволял им отвести взгляда, стараясь говорить не с ними, а с их глазами.

— Ты понимаешь, Ланс, я обязан быть абсолютно честным. Я не могу позволить, чтобы что-то еще отяготило мою совесть, довольно мне и этих младенцев. Единственный путь, на котором я могу устранить силу, это путь правосудия. Король не только не должен желать казни для своего недруга, настоящий король обязан с готовностью предать казни друга.

— В том числе и жену? — спросила Гвиневера.

— В том числе и жену, — серьезно ответил Король.

Ланселот, испытывая неловкость, шевельнулся на своей скамье и попытался пошутить:

— Я надеюсь, что ты еще не в ближайшем будущем собираешься отрубить Королеве голову.

Король продолжал держать его за руку и смотрел ему прямо в глаза.

— Если будет доказано, что Гвиневера или ты, Ланселот, повинны в причинении зла моему королевству, я буду обязан отрубить вам обоим головы.

— Силы небесные! — воскликнула Гвиневера. — Надеюсь, никто не станет это доказывать!

— Я тоже надеюсь.

— А Мордред? — помолчав немного, спросил Ланселот.

— Мордред — несчастный молодой человек, и я боюсь, что он способен прибегнуть к любому средству, лишь бы мне повредить. Если ему, к примеру, представится возможность подобраться ко мне, используя тебя либо Гвен, он, я думаю, не преминет ею воспользоваться. Ты понимаешь, что я имею в виду?

— Понимаю.

— Поэтому если вдруг наступит минута, когда кто-либо из вас окажется... когда возникнет опасность, что он сможет воспользоваться вами как средством... прошу вас, ради меня, будьте настороже, ладно? Я весь в ваших руках, мои дорогие.

— Но мне кажется совершенно бессмысленным...

— С самого первого дня, как он здесь появился, — сказал Ланселот, — ты был к нему добр. Почему же он должен желать тебе зла...

Король сидел, положив на колени руки, и казалось, смотрел на пламя из-под приспущенных век.

— Ты забываешь о том, — мягко сказал он, — что я так и не дал Гвен сына. Умри я, и Мордред сможет стать Королем Англии.

— Если он решится на измену, — стиснув кулаки, сказал Ланселот, — я сам прикончу его.

Перечеркнутая синими венами длань Короля тут же легла ему на руку.

— Вот единственное, чего ты не должен делать ни в коем случае, Ланс. Что бы не учинил Мордред, пусть он даже покусится на мою жизнь, обещай мне помнить, что по крови он мой прямой наследник. Я предавался пороку...

— Артур, — воскликнула Королева, — ты не имеешь права так говорить. Это настолько смехотворно, что мне становится стыдно...

— Ты не согласна с тем, что я — человек порочный? — удивленно спросил Король.

— Конечно же, нет.

— А я-то думал, что после рассказа об этих младенцах...

— Да никому, — с жаром вскричал Ланселот, — такое и в голову не придет!

Освещенный пламенем очага, Король встал. Вид у него был озадаченный и польщенный. Ему-то смехотворным казалось предположение, будто он не порочен, но он испытывал к ним благодарность за их любовь к нему.

— Хорошо, — сказал он, — во всяком случае, в дальнейшем я предаваться пороку не намерен. Дело короля — по возможности предотвращать кровопролитие, а не подталкивать к нему.

Он еще раз взглянул на них исподлобья.

— Ну, мне пора, дорогие мои, — весело заключил он. — Мне еще нужно заглянуть в Суд по гражданским делам, кое-что подготовить по части нашего прославленного правосудия. Останься с Гвен, Ланс, развесели ее после этой злосчастной истории, ладно? Ну, вот и умница.

5

Говоря о своем намерении подготовить кое-что по части своего прославленного правосудия, Артур не подразумевал непосредственного участия в заседании суда. Правда, средневековые короли собственными персонами восседали в судах вплоть до так называемого Генриха IV, предположительно заседавшего и в Суде Казначейства, и в Суде Королевской Скамьи. Но сегодня было уже слишком поздно для законодательной деятельности. Артур просто собирался почитать ходатайства, предназначенные к завтрашнему слушанию, что он, как человек добросовестный, возвел для себя в обычай. Закон стал ныне главным его интересом, последним усилием в одолении Силы.

В пору Утера Пендрагона вообще не существовало закона, о котором стоило бы говорить, если не считать некой разновидности этикета, — ребяческого, однобокого и предназначенного только для высших слоев общества. Даже и теперь, несмотря на содействие отправлению Правосудия со стороны Короля, имевшего целью всемерно стеснить Сильную Руку, существовало три разновидности законов, выпутаться из которых было порой весьма затруднительно. Артур старался выпарить из них нечто общее, объединив обычное, каноническое и римское право в единый кодекс, который, как он надеялся, будет называться «гражданским». Это занятие, как и чтение завтрашних ходатайств, ежевечерне призывало его к трудам, вершившимся в безмолвном уединении Судебной Залы.

Зала располагалась на другом конце дворца. На сей раз она была не так пуста, как ожидалось.

Хотя в ней и присутствовали пятеро, ожидавшие

Короля, возможно, первым, на что обратил бы внимание современный посетитель, была все же сама Зала. Прежде всего бросалась в глаза совершенная ее квадратность, которой она была обязана драпировкам. Уже стемнело, так что окна были завешены, двери же оставались завешенными во всякое время, и в итоге человек чувствовал себя в ней, как в ящике: странное ощущение симметричного замкнутого пространства, знакомое, надо думать, бабочкам, попавшим в морилку. Увидеть здесь пятерых людей, значило удивиться, как они сюда попали, ибо это отдавало китайской головоломкой. По всем стенам, от пола до потолка тянулись в два ряда истории Давида и Вирсавии, Сусанны и старцев, излагаемые на тканых картинах, веселые краски которых сияли в полную силу. Выцветшая ветошь, которую мы ныне разглядывем, утратила всякое сходство с яркими гобеленами, превращавшими Судебную Залу в расписную шкатулку.

Пламя свечей отблескивало на пятерых. Мебели, которая могла бы отвлечь от них взор, в комнате было немного — лишь длинный стол с пергаментами, разложенными на предмет просмотра их Королем, королевский трон да соединенный с сиденьем налой для чтеца в углу. Все краски этого места достались стенам да еще пятерке мужчин. Каждого из них облекал шелковый камзол с гербом, несшим в себе стропило с тремя цветками чертополоха и отличавшимся у мужчин помоложе различными знаками принадлежности к младшей ветви рода, так что вместе они походили на пятерку игральных карт, выложенных на стол. То было семейство Гавейна, по обыкновению ссорившееся.

Гавейн говорил:

— В последний раз тебя спрашиваю, Агравейн, заткнешь ты пасть или нет? Я в это дело лезть не намерен.

— И я тоже, — сказал Гарет.

Гахерис сказал:

— И я.

— Твое упрямство грозит клану расколом. Я тебе прямо говорю, ни один из нас тебе не помощник. Сам будешь выкручиваться.

Мордред взирал на них с выражением глумливого терпения.

— Я заодно с Агравейном, — сказал он. — Ланселот и тетя всех нас покрывают позором. Если никто не желает принимать на себя ответственность, значит, придется нам с Агравейном.

Гарет гневно повернулся к нему.

— Ты всегда был готов на любое недоброе дело.

— Спасибо.

Гавейн, сделал над собою усилие, стараясь, чтобы слова его прозвучали умиротворяюще. По природе своей он миротворцем не был, и потому усилие это выглядело воистину физическим, чем-то похожим на землетрясение.

— Мордред, — сказал он, — ради всего святого, прислушайся к голосу разума. Поимей храбрость отступиться и оставить все как есть. Я старше тебя и вижу, какое зло из этого выйдет.

— Что бы из этого ни вышло, я намерен обратиться к Королю.

— Пойми, Агравейн, если ты сделаешь это, начнется раздор. Ты разве не видишь, что Артуру с Ланселотом придется обратиться друг против друга, и половина королей Британии примет сторону Ланселота из-за его великой славы, а значит начнется гражданская война?

Глава клана грузно надвинулся на Агравейна, словно незлобливый зверь, показывающий заученный фокус, и похлопал его по плечу огромной лапой.

— Ну, парень, будет тебе. Забудь, что мы с тобой подрались сегодня. На каждого по временам такое накатывает, но ведь мы с тобой все же родные братья. Я в толк не возьму, как у вас рука поднимается на сэра Ланселота, от которого мы столько лет ничего, кроме добра, не видели? Ты разве не

помнишь, как он спас тебя, а заодно и Мордреда, от сэра Тарквина? Брось все это, ты же ему жизнью обязан. Да и я тоже, парень, — вспомни сэра Карадоса из Башни Слез.

— Он это сделал ради собственной славы.

Гарет обратился к Мордреду.

— В нашем кругу ты можешь говорить о Ланселоте и Гвиневере все, что тебе угодно, потому что это, к несчастью, правда, но я не желаю слышать, как ты глумишься над ними. Когда меня только приняли ко двору кухонным мальчиком, он был единственным, кто хорошо ко мне относился. Он и малейшего понятия не имел, кто я такой, но постоянно дарил мне что-нибудь, старался меня ободрить и защищал от Кэя, — и именно он посвятил меня в рыцари. Каждый знает, что он за всю свою жизнь не совершил ни единого низкого поступка.

— Когда я был еще молодым рыцарем, — сказал Гавейн, — я, да простит меня Бог, ввязывался в сомнительные поединки и часто впадал в неистовство, — да, разил человека после того, как он уже сдался. Ну, и докатился до того, что убил девицу. А вот Ланселот не причинил зла ни единому существу, которое было слабее него.

Гахерис добавил:

— Он опекает молодых рыцарей и старается помочь им добыть себе славы. Не понимаю я, с чего вы на него взъелись.

Мордред пожал плечами, встряхнул рукавами камзола и изобразил зевок.

— Что до Ланселота, — отметил он, — так это Агравейн к нему неравнодушен. Мой раздор — с нашим добрым монархом.

— Ланселот, — заявил Агравейн, — больно высоко забрался.

— Ничего подобного, — сказал Гарет. — Он и есть самый великий человек, какого я знаю.

— Я не из тех, кто влюблен в него, будто школьник...

По другую сторону гобелена скрипнули петли на двери. Заскрежетала дверная ручка.

— Угомонись, Агравейн, — мягко и настоятельно сказал Гавейн, — не устраивай шума.

— Ну уж нет.

Рука Артура приподняла завесу.

— Прошу тебя, Мордред, — прошептал Гарет.

Король был уже в Зале.

— В конце концов, — сказал Мордред, повышая голос так, чтобы его нельзя было не услышать, — Правосудию должно распространяться и на Круглый Стол, иначе будет нечестно.

Агравейн, тоже притворяясь, будто он не заметил вошедшего, громогласно добавил:

— Настало время, когда кто-то должен сказать правду.

— Мордред, молчи!

— И ничего, кроме правды! — с некоторым даже триумфом закончил горбун.

Артур, чьими помыслами целиком владела предстоявшая ему работа, постукивая каблуками, прошел по каменным коридорам дворца и теперь безо всякого удивления стоял в дверях, ожидая дальнейшего. Украшенные стропилами и четрополохом мужчины, повернувшись к вошедшему, увидели старого Короля в последние минуты его величия. Несколько мгновений они простояли в безмолвии, и Гарет с болью, всегда присущей обретению знания, увидел его таким, каков он был. Он увидел не романтического героя, но простого человека, сделавшего все, что было в его силах; не предводителя рыцарства, но ученика, постаравшегося сохранить верность своему удивительному наставнику, волшебнику, для чего ему пришлось думать и думать, не давая себе передышки; не Артура Английского, но одинокого старого джентльмена, полжизни удерживавшего корону вопреки усилиям рока.

Гарет стремительно опустился на колено.

— Мы не причастны к тому, что здесь происходит!

Гавейн, преклонивший колено гораздо медленнее, опустился на пол рядом с Гаретом.

— Сэр, я пришел сюда, надеясь совладать с братьями, но они меня не послушали. Я не желаю слышать того, что они могут сказать.

Последним на колено встал Гахерис.

— Мы хотим уйти, пока они не начали говорить.

Артур вступил в комнату и ласково поднял Гавейна.

— Конечно, уходите, дорогие мои, если вам этого хочется, — сказал он. — Надеюсь, я не стану причиной семейного разлада?

Гавейн мрачно поворотился к двум остальным братьям.

— Это разлад, — произнес он, облекая свою речь, словно в плащ, в старинные рыцарские словеса, — коему суждено сокрушить цвет рыцарства в целом свете: злая беда для нашего благородного братства, и вся причина ей — двое неудачливых рыцарей.

После того, как Гавейн, храня на лице презрительное выражение и подталкивая перед собою Гахериса, вышел из комнаты, после того, как Гарет, беспомощно махнув рукой, последовал за ним, Король молча подошел к трону. Он снял с сидения две подушки и положил их на ведущие к трону ступени.

— Ну что же, племянники, — ровным голосом сказал он, — присаживайтесь и расскажите, чего вы хотите.

— Мы лучше постоим.

— Конечно-конечно, как вам удобнее.

Такое начало расходилось с тактикой, задуманной Агравейном. Он протестующе произнес:

— Перестань, Мордред! Мы вовсе не собираемся ссориться с нашим Королем. У нас даже в мыслях этого не было.

— Я постою.

Агравейн застенчиво присел на одну из подушек.

— Может быть, на двух вам будет удобнее?

— Нет, спасибо, сэр.

Старик наблюдал за ними и ждал, — так человек, приговоренный к повешению, может покорно исполнять требования палача, не помогая ему, однако, вязать петлю. Он смотрел на них с усталой иронией, предоставляя им самим выполнять задуманное.

— Возможно, самым разумным было бы и дальше молчать об этом, — сказал Агравейн с хорошо разыгранной неохотой.

— Возможно.

Мордред, представляющий главные силы нападавшей стороны, резко вклинился в разговор.

— Это смехотворно! Мы пришли сюда, чтобы кое о чем рассказать нашему дяде, и мы обязаны это сделать.

— Все это так неприятно.

— В таком случае, дорогие мои мальчики, если вы не против, давайте оставим эту тему в покое. Весенние ночи слишком прекрасны, чтобы забивать себе голову неприятными заботами, так не лучше ли вам пойти помириться с Гавейном? Ступайте, попросите, чтобы он одолжил вам назавтра своего умницу-ястреба. Королева как раз сегодня говорила, как она любит, когда к обеду подают молодого зайца.

Он пытался спасти ее, а быть может, и всех их.

Мордред, уставя на отца пылающий взор, объявил без предисловий:

— Мы пришли рассказать вам о том, что давным-давно известно каждому при вашем дворе. Королева Гвиневера — давняя любовница сэра Ланселота и не скрывает этого.

Старик наклонился, расправляя мантию. Он обернул ее вокруг ног, чтобы сохранить их в тепле, выпрямился и вгляделся в лица племянников.

— Вы готовы доказать свое обвинение?

— Готовы.

— А известно ли вам, — мягко спросил он, — что оно уже выдвигалось прежде?

— Было бы удивительно, если б оно не выдвигалось.

— Когда подобные слухи поползли в последний раз, они были обязаны своим появлением человеку по имени сэр Мелиагранс. Поскольку никаких иных способов доказать истинность слухов не обнаружилось, пришлось прибегнуть к поединку. Сэр Мелиагранс донес на Королеву, обвиняя ее в предательстве, и готов был сразиться, чтобы отстоять свой донос. По счастью, сэр Ланселот был настолько добр, что встал на защиту Ее Величества. Результаты вы помните.

— Мы хорошо их помним.

— Когда дело дошло наконец до боя, сэр Мелиагранс лег спиною на землю и стал требовать, чтобы сэр Ланселот согласился признать его побежденным. Его ничем невозможно было поднять, пока, наконец, сэр Ланселот не предложил ему биться на тех условиях, что он, Ланселот, снимет с себя шлем, обнажит левую сторону тела и попросит, чтобы ему привязали за спину одну руку. Это предложение сэр Мелиагранс принял и был должным образом зарублен.

— Мы все это знаем, — нетерпеливо воскликнул младший из братьев. — Поединки лишены всякого смысла. Как угодно, но честным правосудием их не назовешь. В них побеждают одни головорезы.

Артур вздохнул и сложил ладони. Он продолжал говорить тихим голосом, ни разу его не повысив.

— Вы еще очень молоды, Мордред. Вам еще предстоит узнать, что правосудие, каким бы способом оно ни свершалось, почти никогда не обеспечивает полного торжества справедливости. Если вы можете предложить какой-либо иной способ решения спорных вопросов, кроме судебного поединка, я с удовольствием испытаю его.

— Если Ланселот сильнее других и всегда заступается за Королеву, то это еще не означает, что Королева всякий раз права.

— Определенно не означает. И однако, как вы понимаете, спорные вопросы необходимо как-то ре-

шать, раз уж мы с ними сталкиваемся. Если доказать утверждение невозможно, стало быть, его надлежит обосновать каким-то иным способом, а почти все эти способы оказываются по отношению к кому-то нечестными. И потом, вы же не обязаны сами сражаться с заступником Королевы, Мордред. Вы можете сослаться на недомогание и нанять сильнейшего из знакомых вам людей, чтобы он бился вместо вас, как, разумеется, и Королева может нанять сильнейшего среди известных ей людей, чтобы он сразился за нее. Это почти то же самое, как нанять наилучшего спорщика, дабы он отстаивал твою правоту. В конечном итоге выигрывает обычно тот, кто богаче, — нанимает ли он самого дорогого спорщика или самого дорогого бойца, и потому не стоит изображать дело так, будто все решает грубая сила.

— Нет, Агравейн, — продолжал он, ибо последний заерзал, желая что-то сказать, — подождите немного, не перебивайте меня. Я хочу, чтобы по части поединков у нас была полная ясность. Как я это понимаю, тут вопрос денег: денег, чистой удачи, ну и, разумеется, отчасти Божией воли. Если денег с обеих сторон поровну, следует признать, что побеждает тот, кому сильнее везет, — как при подбрасывании монеты. Так вот, уверены ли вы двое, что если вы обвините Королеву Гвиневеру в измене, сильнее повезет именно вашей стороне?

Агравейн вступил в разговор, изображая робость. Пил он в тот день с осторожностью, так что рука у него больше не дрожала.

— Если позволите, дядюшка, я хотел бы сказать следующее. Мы надеемся уладить это дело, вовсе не прибегая к судебному поединку.

Взгляд Артура тут же сосредоточился на нем.

— Вы отлично знаете, — сказал он, — что испытание «судом Божиим» отменено, что же до очищения присягой, то, боюсь, найти достаточное количество пэров, равных Королеве рождением, невозможно.

Агравейн улыбнулся.

— Мы не очень много знаем о новых законах, — плавно заговорил он, — но нам кажется, что если обвинение будет доказано в одном из ваших новых судов, то и необходимости в судебном поединке не возникнет. Конечно, мы можем и ошибаться.

— Суд присяжных, — презрительно заметил сэр Мордред, — кажется, так это у вас называется? Ярмарочное правосудие.

Агравейн, холодная душа которого ликовала, подумал: «Вот ты и подорвался на собственной мине!»

Король побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Враг теснил его, обходя с флангов, вынуждая отступить. Он медленно произнес:

— А вы изрядно знаете законы.

— Вот, например, дядюшка, если Ланселота и впрямь обнаружат в постели Гвиневеры — при свидетелях — тогда ведь и поединок окажется ненужным, верно?

— Если вы простите мне эти слова, Агравейн, я предпочел бы, чтобы вы называли вашу тетю по титулу, по крайней мере в моем присутствии, — даже в подобной связи.

— Тетей Дженни, — заметил Мордред.

— Да, я вроде бы слышал, как сэр Ланселот называл ее этим именем.

— «Тетя Дженни»! «Сэр Ланселот»! «Если вы простите мне эти слова»! А они, небось, прямо сейчас целуются!

— Либо вы будете разговаривать как воспитанный человек, Мордред, либо вам придется покинуть эту комнату.

— Дядя, я уверен, что он вовсе не желал проявить бесцеремонность. Просто он очень расстроен бесчестьем, пятнающим вашу заслуженную славу. Мы хотели просить вас о правосудии, Мордред же питает столь глубокие чувства к... ну... к своей Династии. Не правда ли, Мордред?

— Я за нее и пенса ломаного не дам.

Король, чье лицо, казалось, еще больше осунулось, вздохнул, но не утратил терпения.

— Пусть так, Мордред, — сказал он, — нам лучше не затевать сейчас препирательств на менее важные темы. У меня уже недостанет сил выслушивать новые грубости. Вы утверждаете, что моя жена — любовница моего лучшего друга, и, видимо, намереваетесь доказать это при помощи свидетелей, вот и давайте этим заниматься. Я так понимаю, что возможные последствия вам известны?

— Мне — нет.

— Ну, уж Агравейну-то — во всяком случае, я в этом уверен. Последствия таковы. Если вы настаиваете на гражданском процессе взамен обращения в Суд Чести, дело будет решаться в соответствии с гражданским законодательством. В случае, если дело выиграете вы, человеку, который спас вас обоих от сэра Тарквина, отрубят голову, а мою жену, которую я очень люблю, сожгут на костре за предательство. Если же вы не сумеете отстоять ваших обвинений, то должен предупредить, что вас, Мордред, я отправлю в изгнание, лишив тем самым всяких надежд на наследование престола, какие у вас покамест имеются, тогда как Агравейну придется в его черед взойти на костер, поскольку, предъявляя подобное обвинение, он сам совершает предательство.

— Всякий знает, что мы способны в два счета доказать наши обвинения.

— Прекрасно, Агравейн, вы проницательный толкователь закона и вы решили прибегнуть к закону. Я полагаю, напоминать вам о существовании такой вещи, как милосердие, не имеет смысла?

— Это не то ли милосердие, — спросил Мордред, — которое позволяет отпускать младенцев поплавать по морю?

— Благодарю вас, Мордред. Я едва не забыл.

— Мы не хотим милосердия, — сказал Агравейн, — мы хотим правосудия.

— Я уже разобрался в ситуации.

Артур уперся локтями в колени и прикрыл пальцами глаза. Поникший, он просидел с минуту, призывая на помощь себе чувство долга и собственного достоинства, затем заговорил, не отнимая руки.

— И как же вы намереваетесь их захватить?

Толстяк был сама благовоспитанность.

— Если вы согласитесь, дядюшка, уехать из дому на ночь, мы соберем вооруженных людей и захватим Ланселота в опочивальне Королевы. Но вам придется уехать, иначе он туда не придет.

— Не думаю, что я могу вот так взять и расставить западню для собственной жены, Агравейн. Я полагаю, будет честным сказать, что бремя доказывания следует возложить на ваши плечи. Да, я думаю это будет честным. Я же определенно обладаю правом отказаться от того, чтобы стать — ну, скажем, подобием соучастника. Намеренно уезжать из дому, чтобы помочь вам, — это не входит в круг моих обязанностей. Нет, в этом я могу отказать вам с чистой совестью.

— Но вы же не можете навсегда отказаться уезжать из дому. Вы не можете провести остаток жизни, оставаясь прикованным к Королеве и не подпуская к ней Ланселота. Вы ведь собирались на следующей неделе присоединиться к охоте, верно? Если вы не отправитесь охотиться, это будет означать, что вы преднамеренно меняете ваши планы, желая воспрепятствовать правосудию.

— Никто не в силах воспрепятствовать правосудию, Агравейн.

— Стало быть, вы уедете на охоту, дядюшка Артур, и дадите нам дозволение ворваться в опочивальню Королевы, если там окажется Ланселот?

Ликование, звучавшее в его голосе, было столь недостойным, что даже Мордред почувствовал омерзение. Король поднялся, кутаясь в мантию, словно не мог согреться.

— Мы уедем.

— И вы не станете предупреждать их заранее? —

Голос Агравейна дрожал от возбуждения. — Вы ведь не предупредите их после того, как мы предъявили им обвинение? Это было бы нечестно, ведь так?

— Нечестно?

Он взглянул на них из невероятной дали, казалось, взвешивая на неких весах истину, справедливость, зло и дела человеческие.

— Мы даем вам наше дозволение.

Глаза его вернулись издалека и, блеснув, точно у сокола, сосредоточились только на них.

— Но если вы, Мордред с Агравейном, позволите мне сказать несколько слов как частному человеку, то знайте: единственная оставшаяся у меня надежда состоит в том, что Ланселот убьет вас обоих, а с вами и всех свидетелей, — подвиг, который, говорю это с гордостью, для моего Ланселота никогда непосильным не был. А к этому могу добавить, уже как служитель правосудия, что если вы хоть в чем-то не сможете доказать вашего чудовищного обвинения, то я стану преследовать вас обоих безжалостно, всею мощью закона, который вы сами же и привели в движение.

6

Ланселот знал, что Король отправился на охоту в Нью-Форест, и потому с уверенностью ожидал зова Королевы. В спальне его было темно, лишь перед святым образом теплился свет. Облаченный в мантию Ланселот мерял шагами пол. Не считая нарядной мантии и подобия тюрбана на голове Ланселот был готов ко сну: то есть гол.

Комната была мрачноватая, без роскошеств. Голые стены, жесткая, ничем не покрытая скамья, окна без стекол. Оконные проемы затягивало промасленное, пропускающее свет полотно. У великих полководцев часто бывают такие вот простые походные спальни (говорят, и герцог Веллингтон спал в Уолмерском замке на походной кровати), в которых нет ничего, не считая, может быть, кресла или старого сундука. Сундук имелся и в комнате Ланселота — гробовидный, окованный. Кроме него и кровати, смотреть тут было не на что — разве что на огромный меч, стоявший, со свисающей перевязью, у стены.

На сундуке лежал шлем. Походив немного, Ланселот подцепил его, поднес поближе к свету у образа и несколько времени постоял с тем же озадаченным выражением, какое мы давным-давно видели на лице мальчика, — постоял, разглядывая свое отражение в стальной поверхности. Затем он вернул шлем на место и вновь принялся вышагивать по комнате.

Когда в дверь постучали, он решил, что это сигнал. Он подхватил меч и протянул руку к щеколде, но дверь вдруг отворилась сама собой. Вошел Гарет.

— Можно?

— Гарет!

Ланселот окинул его удивленным взглядом и без особого восторга сказал:

— Заходи. Рад тебя видеть.

— Ланселот, я пришел предупредить тебя.

Вглядевшись в Гарета, старик усмехнулся.

— Силы благие! — сказал он. — Надеюсь, ничего серьезного?

— Напротив, все очень серьезно.

— Так заходи же и прикрой дверь.

— Ланселот, это касается Королевы. Я не знаю, с чего начать.

— Ну, тогда и не начинай.

И взяв своего молодого друга за плечи, он принялся разворачивать его лицом к выходу.

— Очень мило, что ты хотел меня предупредить, — говорил он, стискивая плечи Гарета, — но вряд ли ты сможешь поведать что-либо, мне еще неизвестное.

— Ах, Ланселот, ты ведь знаешь, я на все готов, чтобы тебе помочь. Я и представить себе не могу, что скажут братья, когда услышат, что я побывал у тебя. Но я не мог стоять в стороне.

— Да в чем дело-то?

Он приостановился, чтобы еще раз вглядеться в Гарета.

— В Мордреде с Агравейном. Они ненавидят тебя. Вернее, Агравейн ненавидит. Зависть его заела. Мордред больше ненавидит Артура. Мы изо всех сил старались их удержать, но они не слушают. Гавейн сказал, что вообще не желает иметь с этим ничего общего, ни с той, ни с другой стороны, а Гахерису всегда было трудно принять какое-нибудь решение. Вот и пришлось прийти мне. Я не мог не прийти, даже против воли моих братьев и моего клана, потому что я обязан тебе всем и не могу допустить, чтобы это случилось.

— Мой бедный Гарет! Надо же, до какого состояния ты себя довел!

— Они были у Короля и прямо сказали ему, что ты... что ты ходишь к Королеве в опочивальню. Мы пытались им помешать и не стали задерживаться

там, не хотели их слушать, но именно это они и сказали.

Ланселот выпустил его плечо и сделал два шага по комнате.

— Не расстраивайся, — сказал он. — Многие и прежде говорили об этом, да ничего из того не вышло. Пошумят и забудут.

— Только не теперь. Я просто чувствую это, нутром.

— Чепуха.

— Это не чепуха, Ланселот. Они ненавидят тебя. На сей раз они не решатся на поединок, потому что помнят Мелиагранса. Они слишком коварны. Они попытаются заманить тебя в западню. И подберутся к тебе так, что ты и не заметишь.

Но старый воин лишь улыбнулся и похлопал его по спине.

— У тебя воображение разыгралось, — объявил он. — Отправляйся к себе, друг мой, ляг в постель и забудь обо всем. Очень мило, что ты пришел, но теперь — иди домой, успокойся, выспись как следует. Если бы Король желал скандала, он ни за что не уехал бы на охоту.

Гарет покусывал пальцы, собираясь с духом, чтобы высказаться прямо.

Наконец он решился:

— Прошу тебя, не ходи к Королеве сегодня.

Ланселот приподнял одну из своих удивительных бровей, но затем передумал — и опустил.

— Почему вдруг?

— Я уверен, что это ловушка. Я уверен, что Король нарочно уехал на ночь, чтобы ты пришел к ней, и значит, Агравейн будет там, чтобы тебя поймать.

— Артур никогда бы такого не сделал.

— Но ведь сделал же.

— Чепуха. За тобой еще нянька ходила, а я уже знал Артура, — он такого не сделает.

— И все же это рискованно.

— Если это рискованно, что ж, насладимся риском.

— Прошу тебя!

На сей раз рука Ланселота легла Гарету несколько ниже спины и уже всерьез подтолкнула его к выходу.

— Вот что, мой милый кухонный паж, послушай меня. Во-первых, я знаю Артура; во-вторых, я знаю Агравейна. Ты полагаешь, я могу испугаться его?

— Но ведь предательство...

— Гарет, однажды, когда я был еще молод, мне повстречалась дама, гнавшаяся за кречетом, который порвал поводки. Остатки их зацепились за дерево, и птица повисла на его верхушке. Дама уговорила меня влезть на дерево и снять ее кречета. Лазить по деревьям я никогда особенно не умел. А когда я долез доверху и освободил птицу, явился во всеоружии муж этой дамы, намереваясь отрубить мне голову. Вся затея с кречетом оказалась западней, они хотели вытащить меня из доспехов, так чтобы мне оставалось рассчитывать лишь на его милосердие. Я сидел на дереве в одной рубашке, даже без кинжала.

— И что же?

— Да то, что я огрел его суком по башке. А он был мужчиной почище бедного старого Агравейна, пусть даже мы оба с тех веселых времен обзавелись ревматизмом.

— Я знаю, что ты способен справиться с Агравейном. Но представь, что он приведет с собой вооруженную банду.

— Никого он не приведет.

— Приведет.

Шорох донесся от двери, кто-то легонько поскреб ее. Это могла быть и мышь, но глаза Ланселота мгновенно затуманились.

— А приведет, — коротко сказал он, — значит, придется драться с бандой. Только это воображаемая ситуация.

— Ты бы не мог сегодня остаться здесь?

Они уже подошли к двери, и слова королевского капитана прозвучали гораздо решительнее.

— Послушай,— сказал он, — если тебе так уж нужно знать, Королева послала за мной. Вряд ли я могу отказать, когда за мной посылают, верно?

— Выходит, я напрасно изменил Древнему Люду?

— Нет, не напрасно. Всякий, кто узнал бы об этом, только похвалил бы тебя за отвагу. Но Артуру мы можем верить.

— И ты пойдешь, несмотря ни на что?

— Да, мой кухонный паж, и прямо сию минуту. Боже правый, да не делай ты такого трагического лица. Предоставь это занятие мерзавцам, которые в нем поднаторели, а сам беги домой и ложись спать.

— Это значит, прощай.

— Глупости, это значит — спокойной ночи. И что самое главное — Королева ждет.

Старик перебросил мантию через плечо, — легко, словно он еще пребывал в расцвете юношеских сил. Он поднял щеколду и постоял в проеме двери, пытаясь вспомнить, что он забыл.

— Если б я только мог тебя удержать!

— Увы, этого ты не можешь.

Выбросив из головы весь разговор, он шагнул во тьму коридора и исчез. Он и вправду забыл кое-что — свой меч.

7

В пышной своей спальне окруженная горящими свечами Гвиневера ждала Ланселота, расчесывая поседевшие волосы. Она выглядела на удивление красивой, — не как кинозвезда, но как женщина, отрастившая душу. Гвиневера напевала. Это был гимн — ни больше ни меньше, — прекрасный «Veni, Sancte Spiritus»[1], написанный, как полагают, Папой.

Пламя свечей, спокойно вздымаясь в ночном воздухе, отражалось в золотых львятах, которыми было усеяно синее покрывало кровати. Узоры из граненых страз поблескивали на гребнях и щетках. Большой жестяной сундук покрывали эмалевые изображения ангелов и святых. На стенах лучились мягкими складками парчовые драпировки, а на полу — достойная порицания, безоглядная роскошь — лежал настоящий ковер. Люди, которым случалось ступать на него, робели, поскольку ковры изначально предназначались не для полов. Артур вообще обходил его стороной.

Гвиневера пела, расчесывая волосы, тихий голос ее гармонировал со спокойствием свечей. Между тем дверь тихо отворилась. Королевский главнокомандующий сбросил свой черный плащ на сундук и, переступив через него, встал у нее за спиной. Она увидела его в зеркале и не удивилась.

— А можно я?

— Если хочешь.

Он взял щетку и, держа ее в пальцах, которым долгая практика сообщила немалую сноровку, провел по серебристой лавине. Королева закрыла глаза.

Спустя некоторое время он заговорил.

---

[1] Приди, Святой Дух (*лат.*).

— Это похоже... не знаю на что это похоже. Нет, не на шелк. Скорее на льющуюся воду, но и на облако тоже. Облака ведь и состоят из воды, верно? Это как бледный туман, или зимнее море, или водопад, или стог сена, подернутый инеем. Да, сено, глубокое, мягкое и пахучее.

— Возни мне с ними, — сказала она.

— Это море, — торжественно произнес он, — море, в котором я был рожден.

Королева открыла глаза и спросила:

— Ты пришел без помех?

— Никто меня не увидел.

— Артур сказал, что вернется завтра.

— Да? А вот седой волос.

— Выдерни его.

— Бедный волос, — сказал он. — Какой он тонкий. Почему у тебя такие красивые волосы, Дженни? Мне пришлось бы сплести вместе шесть твоих, чтобы получился один толстый, такой, как у меня. Так выдернуть?

— Выдерни.

— Больно?

— Нет.

— Вот интересно, почему? В детстве я часто дергал сестер за волосы, а они — меня, и больно было черт знает как. Или, старея, мы утрачиваем восприимчивость и становимся уже неспособными испытывать боль или радость?

— Нет, это потому что ты выдернул только один, — объяснила она. — Больно, когда выдергиваешь целый клок. Смотри.

Он наклонил голову, чтобы ей было легче достать, и она, закинув назад белую руку, намотала на палец торчавший у него надо лбом вихор. И тянула, пока он не скорчил гримасу.

— Да, все еще больно. И то облегчение!

— Это так тебя сестры дергали?

— Так, а я их гораздо сильнее. Стоило мне подобраться поближе к любой из моих сестер, как она

обеими руками хваталась за косички и прожигала меня гневным взглядом насквозь.

Королева рассмеялась.

— Хорошо, что я не из твоих сестер.

— О, твоих волос я бы не тронул. Они слишком прекрасны. С ними я обошелся бы совсем по-другому.

— Как же?

— Я бы... ну, наверное, я бы укрылся ими, свернулся в клубок, как лесная соня, и уснул. Я бы с радостью проделал это прямо сейчас.

— Сначала придется их расчесать.

— Дженни, — внезапно спросил он, — как ты думаешь, долго это продлится?

— О чем ты?

— Гарет только что приходил ко мне, хотел предупредить, что Артур уехал намеренно, желая расставить нам западню, и что Мордред с Агравейном вознамерились нас поймать.

— Артур никогда такого не сделает.

— Вот и я ему так сказал.

— Если только его не заставят, — задумчиво добавила она.

— Как бы они его заставили, не понимаю?

Королева отвлеклась в сторону.

— Какой все-таки Гарет славный — надо же, пошел против братьев.

— Знаешь, по-моему, он один из самых славных людей при дворе. Гавейн благороден, но слишком вспыльчив и злопамятен.

— Он человек верный.

— Да, Артур часто повторяет, что если ты не из Оркнейцев, тебе есть чего бояться, а если из них — считай, тебе повезло. Конечно, дерутся они, как коты, но на самом-то деле обожают друг друга. Это клан.

Мысли Королевы, пройдя стороной, описали круг и вернулись в исходную точку.

— Ланс, — встревоженно спросила она, — как ты думаешь, не могли они вынудить Короля?

— Что ты имеешь в виду?

— У Артура так развито чувство справедливости.

— Я тоже думал об этом.

— И тот разговор на прошлой неделе. По-моему, он пытался нас предупредить. Постой! Ты ничего не слышал?

— Нет.

— Мне почудился какой-то шорох за дверью.

— Пойду взгляну.

Он подошел к двери и распахнул ее, но за ней было пусто.

— Ложная тревога.

— Тогда запри ее.

Ланселот запер дверь на засов — массивный дубовый брусок шириною в пять дюймов, глубоко сидевший в особом пазу, проделанном в толстой стене. Вернувшись к свету, он разделил сияющие волосы на пряди и принялся быстро их заплетать. Руки его порхали, как ткацкие челноки.

— Нервничать глупо, — заметил он.

Гвиневера, однако, продолжала размышлять и ответила ему вопросом.

— Ты помнишь Тристрама с Изольдой?

— Конечно.

— Тристрам спал с женой Короля Марка, и Король убил его за это.

— Тристрам был недотепой.

— А мне он казался милым.

— Это ему от тебя и требовалось. И все же он был корнуольским рыцарем и ничем не отличался от них.

— Но его называли вторым среди рыцарей мира. Сэр Ланселот, сэр Тристрам, сэр Ламорак...

— Обычная болтовня.

— Но почему ты считаешь его недотепой? — спросила она.

— Ну, это длинный разговор. Ты ведь не помнишь, каково было рыцарство перед тем, как Артур основал Круглый Стол, а потому и не знаешь, за какого гениального человека тебе посчастливилось выйти

замуж. Тебе не заметна разница между Тристрамом и — ну, скажем, Гаретом.

— И какая же между ними разница?

— В прежнее время каждый рыцарь стоял сам за себя. Люди бывалые, хоть тот же сэр Брюс Безжалостный, мало чем отличались от настоящих бандитов. Доспехи делали их неуязвимыми, они это знали, — вот и творили, что хотели. Резали кого ни попадя и блудили, как заблагорассудится. Поэтому, когда Артур взошел на трон, они изрядно прогневались. Он, понимаешь ли, верил в Добро и Зло.

— Он и поныне в них верит.

— По счастью, у него имелся еще и твердый характер, не одни только идеи. Ему понадобилось лет пять примерно, чтобы утвердить эти идеи, а сводились они к тому, что человек должен быть добр. Пожалуй, я одним из первых перенял у него эту мысль, а поскольку я был еще юн, он сделал ее частью моего существа. Обо мне всегда говорят, что я рыцарь добрый, — ну просто само совершенство, да только я-то тут ни при чем. Это все идеи Артура. Именно этих качеств он ждал от младшего поколения, от Гарета, скажем, а теперь они вошли в моду. И привели в итоге к Поискам Грааля.

— Но Тристрам-то почему недотепа?

— Да уж таким уродился. Артур называет его буффоном. Он жил в Корнуолле, Артурово воспитание его миновало, но веянья моды он ухватил. У него бродили в голове какие-то путаные понятия о том, что знаменитому рыцарю следует быть добрым, и он всю жизнь бросался из стороны в сторону, норовя подстроиться под моду, но толком не понимая ее и не чувствуя. Вроде нерадивого ученика — списывает, но не понимает. Настоящей-то доброты в нем и на йоту не было. С женой он себя вел отвратительно, бедного старика Паломида вечно изводил, не позволяя ему забыть, что он всего-навсего черномазый, и с Королем Марком обходился самым постыдным образом. Корнуольские рыцари принад-

лежат к Древнему Люду, и в душе они всегда питали враждебность к идеям Артура, даже если отчасти их и усваивали.

— Как Агравейн.

— Верно. Мать Агравейна из корнуольцев. Агравейн потому и ненавидит меня, что для него я олицетворяю эти идеи. Забавно, но всю нашу троицу, тех, кого обыкновенные люди называли лучшими рыцарями, — я имею в виду Ламорака, Тристрама и себя самого, — потомки Древнего Люда от души ненавидели. Когда Тристрам погиб, они с ума сходили от радости, а все потому, что он копировал нашу идею, да и Ламорак был убит, причем предательски, не кем иным, как семейством Гавейна.

— Я думаю, — сказала она, — что на самом деле все причины, по которым Агравейн тебя ненавидит, сводятся к старинной басне о зеленом винограде. Не волнует его никакая идея, он просто естественным образом терзается завистью к любому бойцу, который его превосходит. Он ненавидел Тристрама за взбучку, которую получил от него по дороге в Веселую Стражу, а в убийстве Ламорака участвовал, потому что тот его побил на турнире вблизи аббатства; что до тебя — сколько раз ты его повергал?

— Не помню.

— Ланс, ты понимаешь, что двое других ненавистных ему людей уже мертвы?

— Рано или поздно умирает каждый.

Внезапно Королева рванулась, высвобождая из его пальцев пряди своих волос. Она развернулась в кресле и, придерживая одной рукой косу, уставилась на него округлившимися глазами.

— Я уверена, что Гарет сказал правду! Я уверена — они сейчас идут сюда, чтобы захватить нас!

Она вскочила и начала подталкивать его к двери.

— Уходи. Уходи, пока еще есть время.

— Но Дженни...

— Нет. Никаких «но», я знаю, что это правда. Я чувствую. Вот твой плащ. Ах, Ланс, пожалуйста, ухо-

ди поскорее. Они закололи сэра Ламорака ударом в спину.

— Оставь, Дженни, не волнуйся так неизвестно из-за чего. Это только фантазии...

— Это не фантазии. Прислушайся. Слушай.

— Ничего не слышу.

— Посмотри на дверь.

Ручка, приподнимавшая дверную щеколду, кусок металла, выкованного в форме конской подковы, медленно сдвигалась налево. Она перемещалась, будто краб, с некоторой опаской.

— Ну, и что там с дверью?

— На ручку смотри!

Они стояли, зачарованно глядя, как она движется — вслепую, рывками, робко и неуверенно, как бы нащупывая путь.

— О Боже, — прошептала Королева, — теперь уже слишком поздно!

Щеколда упала на место, и о дерево двери звучно ударил металл. Дверь была крепкая, двуслойная, в одном слое волокна шли вдоль, в другом поперек, и снаружи в нее ударили латной рукавицей. Голос Агравейна, отдаваясь эхом в пустотах его шлема, закричал:

— Именем Короля, откройте дверь!

— Мы погибли, — сказала она.

— Рыцарь-изменник, — выкрикнул голос, похожий на ржание, и дерево содрогнулось под ударом металла. — Сэр Ланселот, теперь ты попался!

Закричало еще несколько голосов. Множество доспехов, более уже не сдерживаемых необходимостью соблюдать осторожность, залязгало по каменной лестнице. Дверь прогибалась, приникая к засову.

Не сознавая того, Ланселот тоже перешел на язык рыцарства.

— Не сыщется ли в покое каких-нибудь доспехов, — спросил он, — дабы мне прикрыть мое тело?

— Ничего нет. Даже меча.

Он стоял, глядя на дверь с озадаченным, делови-

тым выражением и покусывая пальцы. В дверь лупили уже несколько кулаков, она содрогалась, голоса, долетавшие из-за нее, вполне могли принадлежать своре гончих.

— Ах, Ланселот, — сказала она, — здесь нет ничего, чем можно биться, и ты почти гол. Их много, они при оружии. Тебя убьют, а меня сожгут на костре, и наша любовь пришла к печальному концу.

Положение казалось безвыходным, и это злило Ланселота.

— Хоть бы мои доспехи были со мной, — раздраженно сказал он, — это же смехотворно, погибнуть вот так, будто крыса в ловушке.

Он оглядел комнату, кляня себя за то, что забыл взять оружие.

— Рыцарь-изменник! — бухал голос. — Выходи из опочивальни Королевы!

Другой голос, музыкальный и хладнокровный, весело крикнул:

— Подумай как следует, нас тут четырнадцать человек при оружии, тебе от нас не уйти.

Голос принадлежал Мордреду, удары усилились.

— Ах, будь они прокляты, — сказал Ланселот. — Сколько шуму от них. Придется мне выйти, иначе они поднимут весь замок.

Он повернулся к Королеве и обнял ее.

— Дженни, я почитаю тебя благороднейшей из всех христианских королев. Достанет ли тебе силы?

— Дорогой мой.

— Моя милая старушка Дженни. Поцелуемся. Теперь послушай. Ты всегда была моей единственной прекраснейшей дамой, и мы никогда друг друга не подводили. Не страшись и на этот раз. Если они убьют меня, помни про сэра Борса. Все мои братья и племянники будут заботиться о тебе. Пошли известие Борсу или Эктору, они спасут тебя, если потребуется. Они доставят тебя невредимой в Веселую Стражу, и ты сможешь жить на моих землях Королевой, как тебе и приличествует. Ты поняла?

— Если тебя убьют, я не хочу спасения.

— Ты обязана спастись, — твердо сказал он. — Кто-то должен остаться в живых, дабы достойно объясить, что с нами случилось. Кроме того, я хочу, чтобы ты за меня молилась.

— Нет. Молиться придется кому-то другому. Если тебя убьют, я пойду на костер и приму смерть мою так же кротко, как любая христианская королева.

Он нежно поцеловал ее и опустил в кресло.

— Слишком поздно спорить, — сказал он. — Я знаю, что бы ни случилось, ты останешься той же Дженни, а стало быть, и мне надлежит оставаться пока Ланселотом.

Затем, еще раз окинув комнату озабоченным взглядом, добавил рассеянно:

— Конечно, им оно, может, и на руку, но, втянув тебя в эту распрю, они совершили недоброе дело.

Она наблюдала за ним, стараясь не расплакаться.

— Ногу бы отдал, — сказал он, — за самые простые доспехи, даже за обычный меч, чтобы им было после, о чем вспоминать.

— Ланс, если бы они убили меня, а ты бы спасся, я была бы счастлива.

— А я был бы несчастен до чрезвычайности, — ответил он и вдруг понял, что ему на удивление весело. — Ну ладно, постараемся сделать, что можем. Докука моим старым костям, однако сдается мне, удовольствие я получу!

Он составил свечи на крышку лиможского сундука, так чтобы они оказались у него за спиной, когда он откроет дверь. Он подобрал свой черный плащ, аккуратно сложил его по длине вчетверо и обмотал вокруг кисти и предплечия левой руки, чтобы их защитить. Взяв в правую руку стоявший у постели табурет, он ухватил его поудобнее и в последний раз окинул комнату взглядом. Все это время наружный шум возрастал, и какие-то двое, судя по всему, пытались даже прорубить боевыми топорами дверь — попытка, которую перекрещение древесных волокон в

двуслойной двери делало безнадежной. Ланселот подошел к двери и возвысил голос, отчего за ней сразу же стало тихо.

— Честные лорды, — сказал он, — не шумите так и не спешите. Я сейчас отопру эту дверь, и тогда вы сможете сделать со мною, что пожелаете.

— Ну давай, — закричали они, перебивая друг друга.

— Отпирай.

— Не сражаться же тебе против всех нас.

— Впусти нас в опочивальню.

— Мы сохраним тебе жизнь, если ты пойдешь с нами к Королю Артуру.

Ланселот прижал плечом ходившую ходуном дверь и неслышно втолкнул засов в стену. Затем, еще придерживая дверь, — люди по другую сторону двери перестали ее рубить в ожидании чего-то, что, как они почувствовали, вот-вот произойдет, — он крепко упер правую ногу в пол футах в двух от косяка и отпустил дверь, дав ей открыться. Дверь натолкнулась на его ногу и, дрогнув, застыла, оставив узкий проход, так что назвать ее распахнутой было нельзя, скорей приоткрытой, — и через этот проход с послушанием куклы на ниточках внутрь сразу же влез один-единственный рыцарь при полном оружии. Ланселот захлопнул за ним дверь, мгновенным ударом загнал на место засов, обмотанной левой рукой схватил меч пришлеца за головку эфеса, дернул его на себя, подставил рыцарю ногу, пока тот падал, саданул по голове табуретом и через долю секунды уже сидел у него на груди — проворность ему еще не изменила. Со стороны казалось, будто он проделал все это с легкостью и даже ленцой, словно вооруженного мужчину покинули силы. Вошедший в комнату человек, высотою и шириною доспехов напоминавший орудийную башню, человек, простоявший долю секунды, глядя на противника сквозь прорезь шлема, оставил по себе впечатление робкой покорности, — казалось, что он вошел, вручил свой меч Ланселоту и

бросился на пол. Теперь эта груда металла так же послушно лежала на полу, пока ее голоногий противник вдавливал острие ее же меча в дыхательное отверстие забрала. И когда Ланселот обеими руками нажал на рукоять, груда лишь протестующе содрогнулась раз-другой.

Ланселот поднялся, вытирая руки о мантию.

— Жаль, но пришлось его убить.

Он открыл забрало и глянул внутрь:

— Агравейн Оркнейский!

Из-за двери донесся жуткий крик, стук, треск и проклятия. Ланселот повернулся к Королеве.

— Помоги мне с доспехами, — коротко бросил он.

Она подошла к нему сразу, без отвращения, и оба они опустились на колени близ тела, сдирая с него жизненно важные части доспехов.

— Послушай, — говорил он, пока оба работали. — Мы получили честный шанс. Если мне удастся их отогнать, я вернусь за тобой, и ты отправишься в Веселую Стражу.

— Нет, Ланс. Мы и так принесли немало вреда. Если ты пробьешься, держись в стороне, пока все не успокоится. Я останусь здесь. Если Артур простит меня и если эту историю удастся замять, ты сможешь потом вернуться. А если он меня не простит, ты сможешь прийти мне на помощь. Это куда?

— Дай-ка мне.

— Вот еще одна.

— Все же гораздо лучше тебе уехать, — настаивал он, втискиваясь в кольчугу, словно футболист, надевающий свитер.

— Нет. Если я уеду, все рухнет навеки. Если же я останусь, мне, может быть, удастся все как-то уладить. Ты же всегда сможешь спасти меня, если в том будет нужда.

— Не хочется мне тебя оставлять.

— Если меня осудят и ты спасешь меня, я уеду в Веселую Стражу, обещаю.

— А если нет?

— Протри шлем плащом, — сказала она. — А если нет, ты сможешь потом вернуться, и все будет по-прежнему.

— Ну, хорошо. Так. Без остального я обойдусь.

Он выпрямился, держа в руке окровавленный меч, и взглянул на мертвого человека, когда-то убившего свою мать.

— Брат Гарета, — сказал он задумчиво. — Пьян был, наверное. Господь да упокоит его душу, — как ни абсурдно это звучит.

Старая дама развернула его лицом к свечам.

— Это означает «прощай», — прошептала она, — но ненадолго.

— Это означает «прощай».

Он поцеловал ее руку, поскольку был в доспехах, и грязь вперемешку с кровью покрывала металл. Оба одновременно подумали о тринадцати, ждущих снаружи.

— Мне бы хотелось, чтобы ты взял у меня что-нибудь, Ланс, и дал мне что-нибудь свое. Давай обменяемся кольцами.

Они обменялись кольцами.

— Бог да пребудет с моим кольцом, — сказала она, — как я с ним пребуду.

Ланселот повернулся и направился к двери. Снаружи кричали:

— Выходи из Королевиной спальни!

— Изменник Королю!

— Открывай дверь!

Они старались наделать побольше шума, чтобы вызвать скандал. Ланселот встал к источнику шума лицом, расставил ноги и ответил им на языке чести.

— Оставьте этот шум, сэр Мордред, и примите мой совет. Ступайте прочь от дверей этого покоя и не поднимайте такого крика, и не занимайтесь больше наветами. И если вы разойдетесь и перестанете шуметь, я завтра утром предстану перед Королем, и тогда мы посмотрим, который из вас — или, может быть, все вы — осмелитесь обвинить меня в измене.

И там я отвечу вам так, как надлежит рыцарю, что сюда я пришел не со злым умыслом; и это я там докажу и внушу, как должно, моими собственными руками.

— Тьфу на тебя, предатель! — прокричал Мордред. — Мы все равно захватим тебя, несмотря на твое бахвальство, и убьем тебя, если захотим.

Другой голос проорал:

— И знай, что мы от Короля Артура получили право выбора: убить нам тебя или помиловать.

Ланселот опустил забрало на затененное лицо и острием меча сдвинул засов. За распахнувшейся с грохотом крепкой деревянной дверью обнаружился узкий проход, забитый железными фигурами и мечущимся пламенем факелов.

— Ах, сэры, — зловеще произнес Ланселот, — а другого благословения нету на вас? Тогда держитесь.

8

Спустя неделю, клан Гавейна собрался в Судебной Зале. При дневном освещении комната выглядела иной, поскольку окна теперь занавешены не были. Она больше не походила на ящик, лишившись отчасти обманчивой и угрожающей ровности всех четырех стен, которая превращала ее в подобие гобеленовой западни, вроде той, что соблазнила рапиру Гамлета на поиски крыс. Свет послеполуденного солнца вливался в створчатые окна, расцвечивая тканый рассказ о Вирсавии, сидевшей, выпятив чету округлых грудей, в ванне, установленной на зубчатой стене замка, который казался сложенным из игрушечных детских кирпичиков; ярким пятном выделяя Давида на ближайшей к ней крыше — бородатого, в короне и с арфой; зыблясь на сотнях коней, копий, торчавших все в одну сторону, доспехов и шлемов, рябивших в сцене битвы, ставшей для Урии последней. Сам Урия, напоминая неопытного ныряльщика, валился с коня, получив от вражеского рыцаря удар мечом, застрявшим в области диафрагмы. Меч, дойдя до середины тела, развалил несчастного надвое, и из раны обильно извергались пугающе реалистические вермильоновые черви, по всей видимости, изображавшие Уриевы кишки.

Гавейн угрюмо сидел на одной из поставленных для просителей боковых скамеек, скрестив руки и затылком прислонясь к гобелену. Гахерис, присев на длинный стол, возился с кожаным плетением соколиного клобучка. Он пытался поменять местами стягивающие клобучок ремешки, чтобы тот садился плотнее, и, поскольку плетение было сложным, запутался. Рядом с ним стоял Гарет, испытывавший острое желание отобрать у брата клобучок, ибо был

уверен, что сможет поправить дело. Мордред с белым лицом и рукою в повязке люлькой стоял, прислонясь, в амбразуре одного из окон и смотрел наружу. Его все еще мучила боль.

— Это надо в прорезь продеть, — сказал Гарет.

— Знаю-знаю. Я хочу сначала просунуть вот этот.

— Дай я попробую.

— Погоди минуту. Прошел.

Мордред сказал от окна:

— Палач готов начать.

— Угу.

— Жестокая ее ожидает смерть, — сказал Мордред. — Дерево взяли выдержанное, дыма не будет, так что она сгорит, не успев задохнуться.

— Это ты так думаешь, — мрачно сказал Гавейн.

— Несчастная старуха, — сказал Мордред. — Даже как-то жалко ее становится.

Гарет гневно повернулся к нему.

— Мог бы раньше об этом подумать.

— А теперь верхний, — сказал Гахерис.

— Насколько я понимаю, — продолжал Мордред, ни к кому в особенности не обращаясь, — нашему сюзерену полагается наблюдать за казнью через это окно.

Гарет окончательно вышел из себя.

— Ты бы не мог помолчать хоть минуту? А то начинает казаться, что тебе нравится смотреть, как сжигают людей.

Мордред презрительно ответил:

— Как и тебе, на самом-то деле. Только ты думаешь, что говорить об этом вслух некрасиво. Ее сожгут в одной рубашке.

— Да умолкни ты, ради Бога!

Тугодум Гахерис произнес:

— По-моему, тебе нечего так волноваться.

Мордред мгновенно развернулся к нему.

— Почему это ему нечего волноваться?

— А чего ему волноваться? — сердито спросил Гавейн. — Или ты полагаешь, что Ланселот не при-

мчится ее спасать? Уж он-то во всяком случае не трус.

Мордред быстро сообразил, о чем речь. Спокойная поза его сменилась нервным возбуждением.

— Однако если он попытается спасти ее, будет бой. Королю Артуру придется сражаться с ним.

— Король Артур будет наблюдать за казнью отсюда.

— Но это чудовищно! — взорвался Мордред. — Ты хочешь сказать, что Ланселоту позволят улизнуть с Гвиневерой из-под нашего носа?

— Вот именно это самое и случится.

— Но тогда вообще никто не будет наказан!

— Силы небесные, ты человек или нет? — воскликнул Гарет. — Неужели тебе так хочется увидеть, как сжигают женщину?

— Да, хочется! Вот именно хочется! Гавейн, ты что же, намерен сидеть здесь и ждать, пока это случится, после того как убили твоего брата?

— Я предупреждал Агравейна.

— Вы трусы! Гарет! Гахерис! Заставьте его сделать что-нибудь. Этого нельзя допустить. Он же убил Агравейна, вашего брата.

— Насколько мне известна вся эта история, Мордред, Агравейн и с ним еще тринадцать рыцарей в полном вооружении вознамерились убить Ланселота, когда на нем ничего, кроме мантии, не было. А кончилось тем, что убитым оказался сам Агравейн и с ним все тринадцать рыцарей, — за исключением одного, который сбежал.

— Я не убегал.

— Ты выжил, Мордред.

— Гавейн, клянусь, я не убегал. Я сражался с ним, сколько было сил. Но он сломал мне руку, и я ничего не смог сделать. Клянусь честью, Гавейн, я честно сражался с ним.

Он почти плакал.

— Я не трус.

— Если ты не убегал, то как же вышло, — спро-

сил Гахерис, — что Ланселот отпустил тебя, перебив всех остальных? В его интересах было убить всех вас, тогда бы и свидетелей не было.

— Он сломал мне руку.

— Да, но он не убил тебя.

— Я говорю правду.

— Но он же тебя не убил.

От боли в руке и от гнева Мордред расплакался, как дитя.

— Предатели! Вот всегда так. Оттого, что я слабее других, все вы против меня. Вам подавай мускулистых болванов, а мне вы все равно не поверите, что бы я ни говорил. Агравейн мертв и отпет, а вы не хотите даже, чтобы кого-то наказали за это. Предатели! Предатели! И все останется по-прежнему!

В тот миг, когда в комнату вошел Король, голос Мордреда сорвался. Вид у Артура был усталый. Он медленно приблизился к трону и устроился на нем. Гавейн, поднявшийся было со скамьи, снова плюхнулся на нее, а Гарет с Гахерисом так и остались стоять, с жалостью глядя на Артура под аккомпанемент Мордредовых рыданий.

Артур ладонью потер лоб.

— Почему Мордред плачет? — спросил он.

— Мордред пытался нам объяснить, — ответил Гавейн, — как это вышло, что Ланселот убил тринадцать рыцарей, а потом подумал-подумал да и решил, что нашего Мордреда убивать не стоит. Причина, видать, была та, что между ними вспыхнули теплые чувства.

— Я думаю, что могу объяснить, в чем причина. Видите ли, десять дней назад я попросил сэра Ланселота не убивать моего сына.

Мордред горько сказал:

— И на том спасибо.

— Вам не меня следует благодарить, Мордред. Правильнее всего было бы сказать спасибо Ланселоту.

— Лучше бы он меня убил.

— Я рад, что он этого не сделал. Постарайтесь научиться хоть немного прощать, сын мой, теперь, когда у нас такая беда. Помните, что я ваш отец. У меня больше не осталось семьи, только вы один.

— Лучше бы мне было и не родиться.

— Я тоже так думаю, бедный мой мальчик. Но вы родились, и нам теперь остается как можно лучше исполнить свой долг.

Мордред, на лице которого выразилось как бы застенчивое коварство, поспешил подойти к нему.

— Отец, — сказал он, — известно ли вам, что Ланселот непременно явится, чтобы спасти ее?

— Я ожидал, что так это и будет.

— Но вы выставили рыцарей, чтобы ему помешать? Вы распорядились о крепкой страже?

— Стража крепка настолько, насколько это возможно, Мордред. Я старался быть честным.

— Отец, — взмолился Мордред, — пошлите им в помощь Гавейна и этих двоих. Он же приведет с собой сильный отряд.

— Как, Гавейн? — спросил Король.

— Спасибо, дядя. Только вы бы меня лучше не просили.

— Я обязан попросить вас, Гавейн, чтобы соблюсти справедливость по отношению к страже, уже находящейся там. Вы же понимаете, если я считаю, что появится Ланселот, выставить слабую стражу было б нечестно, ибо это означало бы — предать своих людей, просто пожертвовать ими.

— Станете вы меня просить или нет, но при всем уважении к Вашему Величеству, я туда не пойду. Я этих двоих наперед предупредил, что участвовать в их затее не стану. Нет у меня желания ни смотреть, как сжигают Королеву Гвиневеру, — хотя, должен сказать, и не выйдет из этого ничего, так я надеюсь, — ни помогать ее сжечь. Вот и весь сказ.

— Ваши речи пахнут изменой.

— Может, и так, но только я к Королеве всегда относился по-доброму.

— Я тоже относился к ней по-доброму, Гавейн. Это ведь я женился на ней. Но когда дело идет о государственном правосудии, обычные чувства лучше отставить в сторону.

— Боюсь, не получится у меня их отставить.

Король повернулся к другим двум братьям.

— Гарет? Гахерис? Вы окажете мне услугу, надев доспехи и укрепив собой стражу?

— Дядя, пожалуйста, не просите нас.

— Поверьте, мне не доставляет радости просить вас об этом, Гарет.

— Я знаю, но, пожалуйста, не надо нас заставлять. Ланселот — мой друг, как я могу с ним биться?

Король коснулся его руки.

— Ланселот ожидал бы, что вы пойдете туда, дорогой мой, против кого бы мы ни выставили стражу. Он тоже верит в справедливость.

— Дядя, я не могу с ним сражаться. Он посвятил меня в рыцари. Я пойду, если таково ваше желание, но я пойду без доспехов. Хотя боюсь, что и это тоже пахнет изменой.

— Я готов пойти в доспехах, — сказал Мордред, — пусть даже рука моя сломана.

Гавейн саркастически заметил:

— Для тебя, паренек, это будет вполне безопасно. Мы же знаем, что Король попросил Ланселота, чтобы он тебя не обижал.

— Предатель!

— А вы, Гахерис? — спросил Король.

— Я пойду с Гаретом, безоружный.

— Ну что же, полагаю, большего мы сделать не можем. Кажется, я постарался сделать все, чего требовал долг.

Гавейн поднялся со скамьи и с неуклюжим сочувствием протопал к Королю.

— Вы сделали больше, чем можно было от вас ожидать, — с теплотой в голосе произнес он, держа в своей лапе ладонь с набрякшими венами, — и теперь нам остается только надеяться на лучшее.

Пусть мои братья пойдут туда — без оружия. Он не тронет их, если будет видеть их лица. А я должен остаться здесь, с вами.

— Ну, значит, идите.

— Можно, я скажу палачу, чтоб начинали?

— Скажите, Мордред, если вам это нужно. Передайте ему мой перстень и возьмите у сэра Бедивера письменное распоряжение.

— Спасибо, отец. Спасибо. Это не займет и минуты.

И обладатель бледного, озаренного энтузиазмом, а на миг и странно искренней благодарностью лица поспешил прочь из Залы. С горящими глазами и нервно подергивающимся ртом он последовал за братьями, вышедшими, чтобы присоединиться к страже. Старый Король, оставшись наедине с Гавейном, уронил голову на руки.

— Он мог бы сделать это, проявив чуть больше достоинства. Или хоть постаравшись не выказать удовольствия.

Гавейн положил руку на его поникшее плечо.

— Не бойтесь, дядя, — сказал он. — Все будет как должно. Ланселот спасет ее, когда наступит определенное Богом время, и никто не причинит ей вреда.

— Я старался исполнить мой долг.

— Вы достойны восхищения.

— Я приговорил ее, потому что закон того требует, и сделал все, зависящее от меня, чтобы привести приговор в исполнение.

— Но этого не будет. Ланселот не допустит, чтобы она пострадала.

— Гавейн, вам не следует думать, будто я пытаюсь ее спасти. Я — правосудие Англии, и наша задача — без всякой жалости предать ее смерти на костре.

— Да, дядя, и всякому ведомо, как вы старались об этом. Но правда-то остается правдой, — в душе мы оба желаем, чтобы она не пострадала.

— Ах, Гавейн, — сказал Король. — Ведь я столько лет был ей мужем!

Гавейн повернулся к нему спиной и отошел к окну.

— Не мучьте себя. Вся эта смута кончится, как ей и следует.

— А как следует? — воскликнул старик, горестно глядя Гавейну в спину. — И как не следует? Если Ланселот придет к ней на помощь, он убьет множество ни в чем не повинных людей, назначенных в стражу, которую я поставил, чтобы сжечь ее на костре. Они доверились мне, и я выставил их, чтобы они его к ней не подпустили, ибо таково правосудие. Если он ее спасет, они падут. А если они не падут, сожгут ее. Она погибнет, Гавейн, в страшном, опаляющем пламени, — она, столь любимая мною Гвен.

— Да не думайте вы об этом. Ничего такого не будет.

Но Король уже не владел собой.

— Почему же тогда он сразу не объявился? Чего он так долго ждал?

Гавейн твердо сказал:

— Он должен был дождаться, когда она окажется на открытом месте, на площади, иначе ему пришлось бы штурмовать замок.

— Я пытался предупредить их, Гавейн. За несколько дней до того, как их поймали. Но ведь трудно называть вещи прямо их именами, не обижая людей. Да и я вел себя, как дурак. Старался не сознавать, что происходит. Я думал, что, если не буду вполне сознавать происходящего, все в конце концов выправится. Вам не кажется, что в случившемся виноват я сам? Что я мог бы спасти их, сделать для этого что-то еще?

— Вы сделали все, что могли.

— Я совершил в молодости бесчестный поступок, и из него выросли все мои беды. Как по-вашему, возможно уничтожить последствия злого дела, творя

вслед за ним добрые? Не думаю. С тех самых пор я пытался остановить зло добрыми делами, но оно лишь распространялось, как круги по воде. Вам не кажется, что и это — тоже его результат?

— Не знаю.

— До чего же страшно вот так сидеть и ждать! — воскликнул Король. — А Гвен, наверное, еще хуже. Почему они не вывели ее сразу, чтобы все кончилось поскорее?

— Уже скоро.

— И ведь во всем этом нет ее вины. А чья же тогда? Моя? Быть может, мне следовало отвергнуть свидетельство Мордреда и закрыть на это дело глаза? Или оправдать ее? Я мог бы пренебречь моим новым законом. Это мне следовало сделать?

— Вы могли это сделать.

— Я ведь мог поступить по своему желанию.

— Да.

— Но что бы тогда осталось от правосудия? Каковы были б последствия? Последствия, правосудие, злые дела, утонувшие дети! Каждую ночь они окружают меня.

Гавейн заговорил тихо, изменившимся голосом.

— Вам должно забыть об этом. Вам должно собрать в кулак все ваши силы, ибо предстоит самое трудное. Вы справитесь?

Король стиснул подлокотники трона.

— Да.

— Боюсь, что вам придется подойти к окну. Ее вот-вот выведут.

Старик не шелохнулся, только пальцы его намертво стиснули дерево. Он так и сидел, глядя перед собой. Затем с усилием поднялся, перенеся вес на запястья, и двинулся навстречу своему долгу. В его отсутствие казнь считалась бы незаконной.

— На ней белая рубашка.

Двое тихо стояли бок о бок, наблюдая за происходящим как люди, которые не могут позволить себе никаких чувств. В испытании, свалившемся на них,

было нечто оглушающее, низводившее их разговор до обмена краткими замечаниями.

— Да.

— Что они делают?

— Не знаю.

— Молятся, наверное.

— Да. Это епископ впереди.

Они смотрели на молящихся.

— Странный у них вид.

— Обыкновенный.

— Как по-вашему, можно мне сесть? — словно дитя, спросил Король. — Я им уже показался.

— Вы должны стоять.

— Мне кажется, я не смогу.

— Вы должны.

— Но, Гавейн, а вдруг она на меня посмотрит?

— Без вас казнь совершить невозможно, таков закон.

Снаружи, под окном, на укороченной перспективой рыночной площади, казалось, запели гимн. Разобрать отсюда слова или мелодию было невозможно. Они различали священнослужителей, хлопочущих о соблюдении приличествующих смерти формальностей, и мерцание неподвижно стоящих рыцарей, и множество людских голов, — как будто по сторонам площади расставили корзины с кокосовыми орехами. Разглядеть Королеву было делом нелегким. Она появлялась и снова скрывалась, словно вихрем, несомая сложным церемониалом: ее вели то в одну, то в другую сторону, к ней то стекалась стайка судейских чиновников и духовников, то ей представляли палача, то уговаривали встать на колени и помолиться, то увещевали подняться и произнести речь, то окропляли, то подносили свечи, кои ей полагалось держать в руках, то прощали ей все прегрешения, то упрашивали, чтобы она простила прегрешения всем окружающим, и все подвигали и подвигали поближе к костру, выталкивая из жизни обстоятельно и с достоинством. Что там ни

говори, но процедура предания смерти осужденного законом преступника в «Темные Века» отнюдь не отличалась неряшливостью.

Король спросил:

— Видите вы кого-нибудь, кто спешит ей на помощь?

— Нет.

— А ведь кажется, прошло уже много времени.

Пение за окном прервалось, наступила гнетущая тишина.

— Долго еще?

— Всего несколько минут.

— Они позволят ей помолиться?

— Да, это они ей позволят.

Старик внезапно спросил:

— Как по-вашему, может, и нам следует помолиться?

— Если желаете.

— Наверное, нам нужно встать на колени?

— По-моему, это не важно.

— Какую молитву мы прочитаем?

— Я не знаю.

— Может быть, «Отче наш»? Я только ее и помню.

— Что ж, молитва хорошая.

— Будем читать вместе?

— Если желаете.

— Гавейн, боюсь, мне все же придется встать на колени.

— Я останусь стоять, — сказал Властитель Оркнея.

— Ну вот...

Они еще только начали возносить свои безыскусные мольбы, когда из-за рыночной площади чуть слышно донесся сигнал трубы.

— Чшш, дядя!

Молитва смолкла на полуслове.

— Смотрите, там воины. По-моему, конные!

Артур, вскочив, уже стоял у окна.

— Где?

— Труба!

И теперь уже прямо в комнату ворвалось ясное, пронзительное, ликующее пение меди. Король, дергая Гавейна за локоть, дрожащим голосом закричал:

— Мой Ланселот! Я знал, он придет!

Гавейн протиснул в оконницу грузные плечи. Они толкались, боясь упустить хоть что-то из виду.

— Да. Это Ланселот!

— Смотрите, он в серебре.

— Алый пояс на серебряном поле!

— Как держится в седле!

— Вы посмотрите, что там творится!

Посмотреть, действительно, стоило. Рыночную площадь размело, словно лавиной, — то была сцена из жизни Дикого Запада. Корзины полопались, и кокосы раскатились в разные стороны. Рыцари стражи лезли на коней, подпрыгивая сбоку от своих скакунов с ногой, засунутой в стремя, меж тем как кони кружили вокруг всадников, словно вокруг осей. Псаломщики разбегались, бросая кадила. Священники посохами прокладывали себе путь через толпу. Епископа, который уходить не желал, стиснуло людскими телами и относило к церкви, а за ним плыл, словно штандарт, епископский посох, несомый высоко над смятенным людом каким-то преданным дьяконом. Балдахин о четырех столбах, под которым на площадь доставили что-то или кого-то, раскорячив колья, погружался в толпу, словно тонущий атлантический лайнер. Под медную музыку в площадь приливной волной втекал кавалерийский отряд, сверкая красками, лязгая оружием, помавая перьями, будто вожди индейских племен, и мечи воинов взлетали и опускались, как рычаги каких-то странных машин. Покинутая горсткой служек, заслонивших ее при совершении последних обрядов, Гвиневера стояла средь этой бури, словно маяк. В белой рубашке, привязанная к столбу, она оставалась недвижной в центре бешеной круговерти. Она как будто плыла над всеми. Бой кипел у ее ног.

— Как он управляется со шпорами и уздой!

— Ни у кого больше нет такого натиска, как у него.

— Ох, бедная стража!

Артур заламывал руки.

— Там кто-то рухнул.

— Это Сегварид.

— Какая схватка!

— Его натиск, — пылко промолвил Король, — всегда был неотразимым, всегда! Ах, какой выпад!

— А вон и сэр Пертилоп упал.

— Нет. Это Перимон. Его брат.

— Смотрите, как блещут мечи на солнце. Какие краски! Хороший удар, сэр Гиллимер, хороший удар!

— Нет-нет! Посмотрите на Ланселота. Смотрите, как он наскакивает и напирает. Вон Агловаль слетел с коня. Смотрите, он приближается к Королеве.

— Приам его остановит!

— Приам — чепуха! Мы победим, Гавейн, — мы победим!

Гавейн, огромный, сияющий, обернулся.

— Это какие такие «мы»?

— Ну ладно, ладно, — пусть будет «они», глупый вы человек. Сэр Ланселот, разумеется. Вот и весь ваш сэр Приам.

— Сэр Борс упал.

— Пустяки. Они в минуту посадят его на коня. Вон он, совсем близко от Королевы. Нет, вы только взгляните! Он привез ей платье и плащ.

— Еще бы!

— Мой Ланселот не позволил бы, чтобы мою Гвиневеру видели в одной лишь рубашке!

— Да ни за что на свете!

— Он набрасывает их на нее.

— Она улыбается.

— Благослови вас обоих Господь, милые вы создания! Но пешие воины, бедные пешие воины!

— По-моему, можно сказать, что бой кончен.

— Ведь он не станет убивать больше людей, чем

требует необходимость? В этом мы можем на него положиться?

— Разумеется, можем.

— Это не Дамас там под лошадью?

— Да. Дамас всегда носил красный плюмаж. По-моему, они отходят. Быстро управились!

— Гвиневера уже на коне.

Вновь пропела труба, но сигнал был другой.

— Да, должно быть отходят. Это сигнал отступления. Господи Боже мой, вы посмотрите, какая там неразбериха!

— Я только надеюсь, что пострадали немногие. Вы отсюда не видите? Может быть, нам следует выйти, оказать им помощь?

— Отсюда глядеть, так поверженных вроде немало, — сказал Гавейн.

— Моя верная стража.

— Около дюжины.

— Мои отважные воины! И это тоже моя вина!

— Вот не вижу я, кого и в чем тут можно винить, — разве братца моего, так он уже мертв. Да, это уже последние его ребята отходят. Видите Гвиневеру? Вон там, над всей этой давкой.

— Может, помахать ей рукой?

— Не надо.

— Вы думаете, это будет нехорошо?

— Нехорошо.

— Ну что же, тогда лучше, наверное, не махать. А хорошо бы все же что-нибудь сделать. Как-никак она уезжает.

Гавейн, ощутив прилив нежности, резко повернулся к Королю.

— Дядя Артур, — сказал он, — вы все-таки великий человек. Но говорил же я вам — все кончится, как следует.

— И вы великий человек, Гавейн, — хороший человек и добрый.

И радуясь, они расцеловались на старинный манер, в обе щеки.

— Ну вот, — повторяли они. — Ну вот.

— А теперь что станем делать?

— Это как скажете.

Старый Король огляделся вокруг, словно отыскивая, чем бы заняться. Бремя лет покинуло его вместе с признаками старческой дряхлости. Он распрямился. Румянец заиграл на щеках. Морщинки у глаз, казалось, лучились.

— Я думаю, что первым делом нам надлежит от души надраться.

— Отлично. Позовите пажа.

— Паж, паж! — закричал Король, высовываясь в дверь. — Куда ты, к дьяволу, запропастился? Паж! А вот ты где, шалопай, ну-ка, тащи сюда вино. Чем ты там занимался? Любовался, как сжигают твою хозяйку? Хорош, нечего сказать!

Довольный мальчишка взвизгнул и загрохотал каблуками вниз по лестнице, до середины которой он только-только поднялся.

— А потом, после выпивки? — поинтересовался Гавейн.

Весело потирая руки, Артур вернулся в залу.

— Пока не думал. Что-нибудь да подвернется. Вероятно, мы сможем уговорить Ланселота, чтобы он попросил о прощении, или придем еще к какому-нибудь соглашению с ним, — и тогда он вернется. Он мог бы сказать, что пришел к Королеве в опочивальню, потому что она призвала его, чтобы вознаградить за Мелиагранса, ибо он выступал как ее защитник, а она хотела избегнуть пересудов касательно вознаграждения. А потом ему, конечно, пришлось ее спасать, поскольку он-то знал, что она невиновна. Да, я думаю, что-то в этом роде мы и устроим. Только в будущем им придется вести себя поаккуратней.

Но восторженное состояние покидало Гавейна гораздо быстрее, чем его дядю. Он заговорил медленно, не отрывая глаз от пола.

— Сомневаюсь я... — начал он.

Король вгляделся в него.

— Сомневаюсь я, что все удастся уладить, покамест жив Мордред.

Бледной рукой подняв завесу, на пороге возникло призрачное существо, наполовину облаченное в доспехи, с незащищенным предплечьем в люльке повязки.

— Покамест жив Мордред, — сказало оно с драматической горечью, достойной мастера сценической реплики, — этому не бывать никогда.

Артур в удивлении обернулся. Он глянул в горячечные глаза сына и в тревоге шагнул к нему.

— Но Мордред!

— Но Артур.

— Да как ты смеешь так разговаривать с Королем? — рявкнул Гавейн.

— А ты вообще молчи.

Его лишенный выражения голос остановил Короля на середине пути. Но он уже снова собрался с духом.

— Войдите, Мордред, — дружелюбно сказал он. — Мы знаем, побоище было страшное. Мы видели его из окна. И все-таки хорошо ведь, что ваша тетя теперь в безопасности, а правосудие соблюдено во всех отношениях...

— Побоище было страшное.

Голос его был голосом автомата, но исполненным глубокого значения.

— Пешие воины...

— Плевать.

Гавейн, словно механизм, поворачивался к сводному брату. Он повернулся всем телом.

— Мордред, — спросил он с тяжким акцентом. — Мордред, где ты оставил сэра Гарета?

— Где я оставил их обоих?

Рыжеволосый рыцарь разразился быстрым потоком слов.

— Нечего меня передразнивать, — заорал он. — Что ты скрипишь, как попугай? Говори, где они!

— Ступай и поищи их, Гавейн, среди людей на площади.

Артур начал было:

— Гарет и Гахерис...

— Лежат на рыночной площади. Их трудно узнать, столько на них крови.

— Но ведь они невредимы, верно? Они же были без оружия. Они не ранены?

— Они мертвы.

— Чушь, Мордред.

— Чушь, Гавейн.

— На них же не было доспехов! — протестующе воскликнул Король.

— На них не было доспехов.

Гавейн произнес, с угрозой подчеркивая каждое слово:

— Мордред, если окажется, что ты солгал...

— ...то добродетельный Гавейн зарежет последнего из своих родичей.

— Мордред!

— Артур, — отозвался он. Он повернул к Королю каменное лицо, являющее безумную смесь злобы, вкрадчивости и отчаяния.

— Если это правда, это ужасно. Кому могло прийти в голову убить Гарета, да еще безоружного?

— Кому?

— Они и сражаться-то не собирались. Они пошли и встали в дозор, потому что я им приказал. К тому же, Ланселот — лучший друг Гарета. Да и со всем родом Бана мальчик был дружен. Это кажется мне невозможным. Вы уверены, что не ошиблись?

Голос Гавейна внезапно наполнил комнату:

— Мордред, кто убил моих братьев?

— Действительно, кто?

В неистовой ярости Гавейн ринулся к горбуну.

— Кто же, как не сэр Ланселот, о мой могучий друг.

— Лжец! Я должен сам их увидеть.

Тот же порыв, что бросил Гавейна к брату, вынес его, еще бурлящего гневом, из комнаты.

— Но, Мордред, вы уверены, что они мертвы?

— У Гарета снесено полголовы, — безучастно отозвался Мордред, — он кажется удивленным. А лицо Гахериса лишено выражения, поскольку голова его разрублена надвое.

Король испытывал скорее недоумение, чем ужас. С грустью и удивлением он произнес:

— Ланс не мог этого сделать... Он любил их обоих. На них не было шлемов, он должен был их узнать. Он посвятил Гарета в рыцари. Он ни за что не совершил бы такого поступка.

— Разумеется, нет.

— Но вы говорите, что он это сделал.

— Я говорю, что он это сделал.

— Должно быть, это ошибка.

— Должно быть, это ошибка.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что чистый и бесстрашный Рыцарь Озера, которому вы позволили сделать из вас рогоносца и похитить вашу жену, позабавился перед тем, как отбыть восвояси, убив двух братьев, — двух безоружных людей, питавших к нему дружескую любовь.

Артур опустился на скамью. Маленький паж, посланный за вином и вернувшийся, согнулся в низком поклоне.

— Ваше вино, сэр.

— Унеси его прочь.

— Сэр Лукан Дворецкий спрашивает, сэр, нельзя ли ему помочь в переноске раненых, сэр, и нет ли у нас льняных повязок?

— Спроси у сэра Бедивера.

— Хорошо, сэр.

— Паж, — окликнул он уходившего мальчика.

— Сэр?

— Какие потери?

— Говорят, погибло двадцать рыцарей, сэр. Сэр Белианс Надменный, сэр Сегварид, сэр Грифлет, сэр Брандиль, сэр Агловаль, сэр Тор, сэр Гаутер, сэр Гиллимер, три брата сэра Рейнольда, сэр Дамас, сэр

Приам, сэр Кэй Чужестранец, сэр Дриант, сэр Ламбегус, сэр Хермин, сэр Пертилоп.

— А Гарет и Гахерис?

— Я о них ничего не слышал, сэр.

Захлебываясь словами и еще продолжая свой бег, в комнату ворвался огромный рыжий рыцарь. Словно ребенок, он устремился к Артуру. Мешаясь с рыданиями, изо рта его вылетали слова:

— Это правда! Правда! Я нашел человека, он видел, как все случилось. Бедный Гахерис и наш младший брат, Гарет, — он убил их обоих, безоружными.

И упав на колени, он зарылся рыжевато-белесой, словно осыпанной песком, головой в мантию старого Короля.

9

Через шесть месяцев, ярким зимним днем, началась осада Замка Веселой Стражи. Солнце сияло, посылая лучи под острым углом к северному ветру, обливая белизной заиндевелые восточные скаты борозд на пашне. Снаружи замка шныряли в жесткой траве чибисы и скворцы. Лишенные листьев деревья стояли подобно скелетам, подобно схемам кровотока или нервной системы. Коровьи лепешки, попадаясь под ногу, гудели, как деревянные. Зима окрасила все в блеклую лишайниковую зелень, какую видишь на подушке зеленого бархата, много лет пролежавшей под солнцем. Стволы оголенных деревьев, совсем как подушку, устилал белесый пушок. А похоронные одеяния елей были покрыты им сверху донизу. В лужах потрескивал лед, и сам Замок Веселой Стражи возвышался над промерзлым рвом, как на картинке, освещенный бессильным солнцем.

Замок Ланселота не производил грозного впечатления. Старомодные твердыни Артуровых пращуров сменились сооружениями настолько нарядными, что ныне их и воображаешь с трудом. Не следует представлять их себе подобными тем разрушенным крепостям с крошащейся между камней известкой, какие мы видим сегодня. На самом деле, стены их покрывала штукатурка. В нее подмешивали желтую краску, отчего она слегка отливала золотом. Крытые черепицей, остроконечные, во французском вкусе, башенки замка теснились, возносясь над зубчатыми стенами во множестве самых неожиданных мест. Там были фантастические мостики, крытые наподобие Моста Вздохов, шедшие от часовни к какой-нибудь башне. Там были наружные лестницы,

ведшие Бог весть куда, — может быть, в небеса. Каминные трубы, неожиданно воспаряли над навесными стрельницами. Стекленные настоящим витражным стеклом окна, вознесенные повыше, туда, где им не грозила опасность, мерцали в сплошных некогда стенах. Флажки, распятия, горгульи, водостоки, флюгеры, шпили и звонницы усеивали покатые крыши, спадавшие то в одну, то в другую сторону, крытые где красной черепицей, где замшелой каменной плиткой. Это был не замок, а город. Легкое печенье вместо тяжелого пресного хлеба древнего Дунлоутеана.

Вокруг веселого замка раскинулся лагерь осаждающих. В те дни короли, снаряжаясь в очередную кампанию, брали с собой гобелены, украшавшие их дома, что служило мерой основательности их становища. Шатры были красные, зеленые, клетчатые, полосатые. Некоторые — из шелка. Здесь, среди мешанины веревок и красок, шатровых столбов и высоких копий, шахматистов и маркитантов, гобеленовых интерьеров и золотой посуды, и обосновался Артур Английский, намереваясь взять своего друга измором.

Ланселот с Гвиневерой стояли в замковой зале у пылающего очага. Теперь огонь уж не разводили в середине покоя, предоставляя дыму самостоятельно выбираться сквозь верхние окна. В зале имелся настоящий камин, богато изукрашенный вырезанными по камню гербами и геральдическими щитодержателями Бенвика, на решетке его тлела половина дерева. Мороз сделал землю слишком скользкой для коней, и потому в тот день стояло хоть и необъявленное, но перемирие.

Гвиневера говорила:

— Я не в состоянии представить себе, как ты мог это сделать.

— Да и я не в состоянии, Дженни. Я даже не

помню, чтобы я это сделал, но только все говорят, что так оно и было.

— Ты совсем ничего вспомнить не можешь?

— Видимо, я распалился, да и за тебя испытывал страх. Вокруг была толчея, все махали оружием, рыцари пытались меня задержать. Пришлось прорубаться.

— Это так на тебя не похоже.

— Ведь не думаешь же ты, что я это сделал намеренно? — с горечью спросил он. — Гарет любил меня больше, чем родных братьев. Я был ему едва ли не крестным отцом. Ох, давай оставим это, ради всего святого.

— Не мучай себя, — сказала она. — По крайней мере бедному мальчику не приходится участвовать в том, что у нас происходит.

Ланселот задумчиво пнул тлеющий ствол. Он стоял, положив одну руку на каминную полку, и смотрел на мерцающие уголья.

— У него были голубые глаза.

Он помолчал, уставясь в огонь.

— Когда он явился к Артуру, он не сказал, чей он сын, потому что ему пришлось убежать из дому, чтобы вообще попасть ко двору. Мать Гарета враждовала с Артуром и даже думать не могла о том, чтобы его отпустить. Но и он не мог держаться в стороне. Он мечтал о рыцарстве, жаждал почестей, романтических приключений. Вот он и сбежал к нам и не назвал своего имени. Он даже не просил, чтобы его посвятили в рыцари. Ему достаточно было находиться в центре великих событий, пока не представится случай показать свою силу.

Ланселот подпихнул на место отвалившуюся ветку.

— Кэй отправил его работать на кухню и дал ему прозвище: «Прекрасные Руки». Кэй всегда был грубияном. А потом... как давно это было.

В тишине — оба стояли, опершись локтем о полку и выдвинув одну ногу поближе к огню, — сквозь решетку спадал невесомый пепел.

— Я время от времени давал ему разную мелочь, чтобы он себе купил что-нибудь. Кухонный паж Бомейн. Он по какой-то причине привязался ко мне. Я своею рукой посвятил его в рыцари.

Он с удивлением посмотрел на свои пальцы, двигая ими, словно никогда не видел их прежде.

— Потом он сражался во время приключения с Зеленым Рыцарем, и мы узнали, какой он великолепный воин...

— Добрый Гарет, — сказал он почти с изумлением, — и этой же самой рукой я убил его, потому что он не пожелал выйти против меня в доспехах. До чего все-таки жуткие создания — люди! Стоит нам, гуляя в полях, увидеть цветок, как мы палкой сшибаем ему головку. Именно так и погиб Гарет.

Гвиневера в расстройстве коснулась виноватой руки.

— Ты не мог этого предотвратить.

— Я мог это предотвратить. — Ланселота охватили его всегдашние религиозные терзания. — То была моя вина. Ты права, это было на меня не похоже. Да, то была моя вина, моя вина, моя горестная вина. Все потому, что я в этой давке рубил направо и налево.

— Но ты же должен был спасти меня.

— Да, но я мог рубиться только с рыцарями в доспехах. А я вместо того разил полубезоружных пеших ратников, и защититься-то не способных. Я был укрыт с головы до ног, а у них — всего-то навсего кожаные латы да пики. Но я разил их, и Бог наказал нас за это. Именно из-за того, что я забыл рыцарские обеты, Бог заставил меня убить бедного Гарета, да и Гахериса тоже.

— Ланс! — резко сказала она.

— А теперь над нами обоими разразились адские бедствия, — продолжал он, отказываясь слушать. — Теперь я вынужден биться с моим Королем, который посвятил меня в рыцари и научил всему, что я знаю. Как мне биться с ним? Как мне биться даже с

Гавейном? Я убил трех его братьев. Разве могу я добавить к ним еще одного? А Гавейн теперь вцепится в меня мертвой хваткой. Он уже никогда меня не простит. И я его не виню. Артур простил бы нас, но Гавейн ему не позволит. И мне приходится сидеть, словно трусу, осажденным в этой норе, — никто, кроме Гавейна, не хочет сражаться, но они то и дело выходят под стены с фанфарами и поют:

Рыцарь, чье имя Измена,
Выйди сражаться за стены.
Гей! Гей! Гей!

— Так ли уж важно, что они там поют. От этого пения ты не становишься трусом.

— А вот мои же собственные воины начинают так думать. Борс, Бламур, Блеоберис, Лионель, — они постоянно упрашивают меня выйти из замка на бой. Но если я выйду, что тогда будет?

— Насколько я в состоянии судить, — сказала она, — будет то, что ты разобьешь их, а после отпустишь, попросив Оернуться домой. Все только уважают тебя за твою доброту.

Он спрятал лицо за изгибом локтя.

— Ты знаешь, что случилось во время последнего боя? Борс схватился на копьях с самим Королем и выбил его из седла. Он спешился и стоял над Артуром с обнаженным мечом. Я увидел, что происходит, и поскакал туда, как безумный. Борс сказал: «Не положить ли мне конец этой войне?» — «Не смей, — закричал я, — под страхом смерти, не смей.» И после я подсадил Артура обратно в седло и умолял его, на коленях умолял отправиться восвояси. Артур заплакал. Глаза его наполнились слезами, он смотрел на меня и молчал. Он постарел. Он не хочет воевать с нами, но не может противиться Гавейну. Гавейн был прежде на нашей стороне, но я в моей греховности перебил его братьев.

— Забудь ты свою греховность. Всему виной ярость Гавейна и коварство Мордреда.

— Если бы дело было только в Гавейне, — пожаловался он, — еще оставалась бы надежда на мир. Он человек внутренне благородный. Достойный человек. Но рядом с ним все время стоит Мордред, растравляет его намеками и не дает ему забыть о своем несчастье. А тут еще вечная ненависть между галлами и гаэлами и Мордредов Новый Порядок. И конца этому я не вижу.

В сотый раз Королева предложила:

— Может быть, мне стоит вернуться к Артуру и отдаться ему на милость?

— Мы же предлагали им это, и они ответили отказом. И какой в этом смысл? Скорее всего, они в конце концов просто сожгут тебя на костре.

Оставив камин, она отошла к амбразуре большого окна. Внизу за окном лежал погруженный в свои заботы лагерь осаждающих. Какие-то крошечные солдаты играли на льду пруда в «Лису и гусей». Их ясный смех долетал сюда, отделенный расстоянием от кувырков, которые его вызывали.

— А война все идет и идет, — сказала она, — и убивают на ней пеших солдат, а не рыцарей, и никто на это не обращает внимания.

— А война все идет.

Не поворачиваясь, она заметила:

— Пожалуй, я все же рискну и вернусь, мой милый. Пусть даже меня сожгут, это все-таки лучше, чем смута.

Он перешел за нею к окну.

— Дженни, я бы отправился с тобой, если бы в этом был хоть какой-то смысл. Мы могли бы поехать вместе, позволить им отрубить нам головы, если бы это давало хоть крошечную надежду остановить войну. Но все уже обезумели. Пусть мы с тобою сдадимся, все равно Борс, Эктор и остальные продолжат раздор, — даже если мы будем убиты. Ныне все поднялось на поверхность, сотни поводов для вражды — вспомни тех, кто погиб на рыночной площади, и тогда, на лестнице, вспомни полвека правления

Артура. Скоро я уже не смогу их удерживать, даже при нынешнем положении. Эб Достославный, Вилар Доблестный, Уррий Венгерский — они станут мстить за нас, и будет только хуже. Уррий страх как мне благодарен.

— Похоже, вся наша цивилизация сошла с ума, — сказала она.

— Да, и похоже, мы сами ее до этого довели. Борс, Лионель и Гавейн ранены, и все вокруг жаждут крови. Мне приходится совершать с моими рыцарями вылазки и носиться по полю, делая вид, что я наношу удары, и в конце концов на меня либо выталкивают Артура, либо налетает Гавейн, и тогда приходится прикрываться щитом и обороняться, ведь разить их в ответ мне невозможно. А мои люди видят это и говорят, что, не утруждая себя, я лишь затягиваю войну, отчего они терпят урон.

— То, что они говорят, — правда.

— Разумеется, правда. Но если не это, остается только убить и Артура, и Гавейна, а как я могу это сделать? Если б Артур позволил тебе вернуться и сам отошел бы отсюда, все было бы лучше, чем теперь.

Лет двадцать назад Гвиневера вспылила бы, услышав столь бестактное предположение. Ныне же, в их осеннюю пору, она лишь улыбнулась.

— Дженни, то, что я говорю, ужасно, но это правда.

— Конечно, правда.

— И выходит, что мы обращаемся с тобой, будто с марионеткой.

— Все мы марионетки.

Он прислонил голову к холодному камню амбразуры и стоял так, пока она не взяла его за руку.

— Не думай об этом. Просто оставайся в замке и будь терпелив. Может быть, Бог о нас позаботится.

— Ты уже говорила это однажды.

— Да, за неделю до того, как они нас поймали.

— А не захочет Бог, — с горечью сказал он, — так останется уповать на Папу.

— На Папу!

Он поднял взгляд.

— Что это ты?

— Послушай, Ланс, то, что ты сказал... А ну как Папа вынужден будет прислать обеим сторонам буллы, угрожая нам отлучением, если мы не придем к соглашению? Что если мы попросим о папском решении? Борсу и прочим придется его принять. И тогда, конечно...

Он не отрывал от нее глаз, пока она подыскивала слова.

— Он может назначить епископа Рочестерского, чтобы он выработал условия мира...

— Да, но какие условия?

Однако идея уже захватила Гвиневеру и воодушевила ее.

— Ланс, какими бы они ни были, нам с тобой их придется принять. Пусть даже низкие... пусть даже позорные для нас, для народа они будут означать мир. И у наших рыцарей не найдется извинений для продолжения раздора, потому что они обязаны будут подчиниться Церкви...

Ланселот не мог найти нужных слов.

— Ну и?..

Она обратила к нему лицо, исполненное покоя и облегчения, — деятельное, лишенное всего показного, лицо, какое видишь у женщины, когда она нянчит ребенка или занимается чем-то еще, требующим умения и сноровки. Он не знал, что можно возразить такому лицу.

— Мы можем завтра же отправить гонца.

— Дженни!

Ему казалась невыносимой мысль о том, что она, уже далеко не девочка, позволяет им передавать себя из рук в руки, мысль о том, что он должен ее потерять, как и о том, что терять ее он не должен. От всего, что наполняет людские жизни, от их любви,

от всех его прежних верований, у него не осталось ничего, кроме позора. Она поняла и это и в этом тоже ему помогла. С нежностью она поцеловала его. Снаружи ежедневный хор затянул свое:

Рыцарь, чье имя Измена,
Выйди сражаться за стены.
Гей! Гей! Гей!

— Ну их, — сказала она, гладя его белые волосы. — Не слушай. Мой Ланселот должен остаться в замке, и все закончится хорошо.

10

— Итак, Его Святейшество заключил между ними мир без всякого их участия, — со злостью сказал Мордред.

— Угу.

Они сидели в Судебной Зале, Гавейн и Мордред, ожидая начала последней стадии переговоров. Оба были в черном, но с тем странным различием, что Мордред выглядел в нем великолепно, напоминая Гамлета, тогда как Гавейн больше походил на могильщика. С подобной театральной простотой Мордред начал одеваться, когда возглавил популярную ныне партию. Целью ее было установление некоего подобия национального правления плюс гаэльская автономия и избиение евреев — в виде отмщения за смерть мифического святого по имени Хью Линкольнский. В партии, распространившей свое влияние по всей стране, состояли уже тысячи членов, носивших партийный значок с изображением алого кулака с зажатой в нем розгой и называвших себя «хлыстунами». Старшего же брата, надевшего партийную форму лишь для того, чтобы сделать приятное младшему, облекало домотканое черное сукно — беспросветный мрак искреннего траура.

— Смешно сказать, — продолжил Мордред, — но если б не Папа, мы бы тут никогда не увидели такого красивого шествия — у всех по оливковой ветви в руке, а целомудренные влюбленные сплошь в белых одеждах.

— Да, хорошее было шествие.

Гавейн, чей разум на извилистых путях иронии чувствовал себя неуверенно, принял насмешку за честное описание события.

— Это верно, спектакль удался на славу.

Старший брат шевельнулся, словно испытывая неловкость и пытаясь расположиться поудобнее, но вместо того просто вернулся к началу разговора.

Он произнес неуверенно, как бы задавая вопрос или излагая просьбу:

— Ланселот говорит в письме, будто убил нашего Гарета по ошибке. Говорит, что не видел его.

— Это вполне в духе Ланселота — рубить безоружных направо-налево, не вглядываясь, кто они и что они. Он всегда этим славился.

На сей раз ирония была настолько увесистой, что даже Гавейн ее ощутил.

— Вот и я мыслю, что это на него не похоже.

— Не похоже? Разумеется, не похоже. Он же вечно изображал preux chevalier, щадившего людей, — ни разу не убившего человека, который не устоял против него. Тем и прославился. И ты полагаешь, что он вдруг ни с того ни с сего отбросил притворство и принялся крушить безоружных?

С трогательной потугой на беспристрастность Гавейн произнес:

— Вроде, не было ему причины их убивать.

— Причины? А разве Гарет не брат нам? Он убил его из мести, чтобы отплатить нам, всей нашей семье, потому что это мы застукали его с Королевой.

И с особым тщанием выбирая слова, Мордред добавил:

— Все потому, что Артур любит тебя, и Ланселот завидует твоему влиянию. Ему хотелось ослабить Оркнейский клан, он все отлично продумал.

— Он ослабил и свое положение тоже.

— А кроме того, он завидовал Гарету. Боялся, что наш брат начнет наступать ему на пятки. Наш Гарет ему подражал, а это не устраивало preux chevalier. Нельзя же позволить, чтобы существовало целых два безупречных рыцаря.

Судебную Залу уже подготовили к пышной заключительной церемонии. Сейчас в ней находились лишь двое мужчин, и Зала казалась голой. Братья

сидели немного странно — один позади другого — на ступеньках, ведущих к трону, то есть не видя лиц друг друга. Мордред смотрел Гавейну в затылок, Гавейн смотрел в пол. Сдавленным голосом он произнес:

— Гарет был лучшим из нас.

Если бы он сейчас резко обернулся, его удивила бы напряженная пристальность, с какой Мордред вглядывался в него. Выражение Мордредова лица вовсе не сочеталось с музыкой, звучавшей в его голосе. Человек, внимательно приглядевшийся к Мордреду, мог бы заметить, что в повадках его появилась в последние шесть месяцев некая странность.

— Гарет был славный малый, — произнес Мордред, — и угораздило же его пасть от руки именно того человека, которому он так верил.

— Это научит меня никогда не верить южанам.

Мордред повторил, почти неуловимо подчеркнув замену местоимения:

— Да, это нас научит.

Старый деспот обернулся. Он схватил белую руку брата, стиснул ее и, запинаясь, заговорил.

— Я все время думал, что весь вред от Агравейна, — от Агравейна и от тебя. Я думал, что вы предубеждены против сэра Ланселота. Мне стыдно за эти мысли.

— Кровь — не водица.

— Это так, Мордред. Можно болтать про идеалы, про правое и неправое и про все такое, — а под конец все сводится к тому, кто чей сородич. Я ругал Гарета, когда он забирался в огородик святого отца, там, у обрыва...

Голос его задрожал и прервался, братья молчали, пока худосочный Мордред не сказал, возвращая Гавейна на прежний путь:

— В детстве волосы у него были такие светлые, что казались белыми.

— Кэй прозвал его «Прекрасные Руки».

— Кэй хотел обидеть его.

— Хотел, а все же сказал правду. Руки у Гарета были красивые.

— А теперь он лежит в могиле.

Лицо Гавейна вспыхнуло так, что брови стали на нем незаметны. На висках его вздулись вены.

— Да проклянет их Господь! Я не приму этого мира. Я их не прощу. Почему Король Артур норовит загладить содеянное? И зачем в это лезет Папа? Не их братьев убили — моих, и клянусь всемогуществом Божиим, я отомщу!

— Ланселот проскользнет у нас между пальцев. Он человек изворотливый, его не ухватишь.

— Не проскользнет. На этот раз он у нас в руках. Корнуоллы слишком долго и много прощали.

Мордред поерзал на ступеньках.

— Ты когда-нибудь размышлял о том, что принес Стол Оркнею и Корнуоллу? Отец Артура убил нашего деда. Сам Артур совратил нашу мать. Ланселот убил трех наших братьев, не считая Флоренса и Ловеля. А мы с тобой торчим здесь, торгуя нашей честью, чтобы примирить двух англичан. Тебе это не кажется трусостью?

— Нет, это не трусость. Папа может заставить Короля принять Королеву обратно, но о сэре Ланселоте в его буллах нету ни слова. Мы обещали ему неприкосновенность, чтобы он мог привезти сюда женщину, и мы также позволим ему уйти отсюда. Но после...

— А зачем же сейчас-то его отпускать?

— Затем, что ему обещана охранная грамота. Господь запрещает трогать его, Мордред, мы все-таки рыцари!

— Да, и мы не должны прибегать к нечистому оружию, даже если наши враги прибегают к нему.

— Вот, правильно. Пусть кабан побегает, дадим ему это право, а сами будем гнать его и загоним до смерти. Артур слабеет: он исполнит нашу волю.

— Печально видеть, — вымолвил сэр Мордред, — до чего ослабла хватка несчастного Короля с тех пор, как началась вся эта история.

— Да, это печально. Но он понимает различие между правым и неправым.

— Это для него что-то новое.

— Ты говоришь о слабости?

— Как быстро ты все схватываешь.

Быть саркастичным с Гавейном не составляло ему труда — все равно, что передразнивать слепого.

— Нельзя сидеть на всех стульях сразу. Ему вообще не стоило водиться с этим предателем.

— Как и брать в жены Гвен.

— Да уж, тут оба они виноваты. Не мы искали ссоры.

— Что верно, то верно.

— Король обязан отстаивать правосудие. Даже если Его Святейшество заставит Короля снова принять эту женщину на свое ложе, у нас остаются наши права на сэра Ланселота. Он совершил великое предательство, когда увез Королеву, так же как и когда убил наших братьев.

— Любые права.

Грузный рыцарь снова схватил своего брата за руку, казавшуюся еще бледнее в заскорузлой лапе могильщика, и сказал, с трудом подбирая слова:

— Это так горько и больно, когда остаешься совсем один.

— Мы дети одной матери, Гавейн.

— Да!

— И Гарету она тоже была матерью...

— А вот и Король.

Торжественная церемония примирения достигла завершающей стадии. В замковом дворе запели трубы, и по лестнице дворца потекли вверх сановники Государства и Церкви. Придворные, епископы, герольды, пажи, судьи и просто зрители, беседуя, вливались в Залу. С их появлением гобеленовый куб наполнился красками, словно пустая ваза цветами. Его украсили дамы, чьи казавшиеся голыми лица венчались уборами в виде полумесяцев или длинных конусов или куафюрами, столь же удивительными,

как у Герцогини из «Алисы в Стране Чудес». В ярких корсажах с талиями где-то под мышками, с руками, укрытыми в спадающие складками рукава, в достающих до полу юбках, в одеяниях из триполитанской верблюжьей шерсти, тафты или домодельного красного сукна, нежные существа проплывали к своим местам, вея ароматами мирра и меда (которым они полоскали рты). Их кавалеры, молодые оруженосцы, одетые по последней моде (многие из них уже состояли в «хлыстунах» и носили значок Мордреда), меленько перебирали ногами в долгоносых туфлях, в коих совершенно невозможно было взойти по ступеням. У подножия лестницы туфли приходилось снимать, и дальше наверх их уже подносили пажи. Первое, что в этих молодых людях бросалось в глаза, — это их ноги в высоких чулках: пришлось даже принять особый закон, регулирующий покрой их кафтанов, каковым предписано было иметь длину, достаточную для сокрытия ягодиц. За ними последовали более респектабельные члены Королевского совета в удивительных шляпах, из коих иные походили на стеганые колпаки, под которыми настаивается завариваемый чай, иные на тюрбаны, иные на птичьи крылья, а иные и на муфты. Советников облекали складчатые стеганые мантии с высокими плоеными воротниками, с оплечьями и поясами в драгоценных камнях. Тут были и клирики в аккуратных шапочках, согревавших тонзуры, в простых одеяниях, столь непохожих на наряды мирян. Тут был и заезжий кардинал в замечательной шляпе с кисточкой, и по сию пору украшающей писчую бумагу Вулзи-Колледжа в Оксфорде. Тут были меха и опушки всех сортов, включая красивый ромбовидный узор, составленный из кусочков меха белых и черных ягнят. Шум от разговоров стоял такой, как от стаи скворцов.

Но то была лишь первая часть торжественного шествия. О начале второй предупредили все те же трубы, на сей раз пропевшие ближе. Затем в Залу

вошло некоторое число цистерианских монахов, секретарей, дьяконов и прочих служителей церкви, — сплошь обремененных чернилами, кои получали посредством вываривания терновой коры, пергаментами, тонким песком, буллами, перьями и перочинными ножиками, каковые всякий писец, работая, обыкновенно держит в левой руке. Также имелись у них счетные палочки и протоколы последних переговоров.

Следом в Залу вступил епископ Рочестерский, облеченный званием папского нунция. Он явился во всем подобающем нунцию великолепии, хоть и оставил внизу свой паланкин. Это был пожилой господин в шелковистых власах, в ризах, с епископским посохом, в стихаре и с перстнем епископа, — учтивый, сознающий свою духовную власть священнослужитель.

И вот наконец трубы прозвучали у самых дверей, и в Залу вступила Англия. В тяжелой горностаевой накидке, покрывавшей его плечи и левую руку и спускавшейся узкой полоской вдоль правой, в бархатном синем плаще и ошеломительного вида короне, обремененный величием и поддерживаемый, буквально поддерживаемый под руки особо назначенными для того чиновными лицами, Король прошествовал к расположенному на возвышении, накрытому золотым балдахином с вышитыми по нему драконами вставшими красными трону, на ступенях которого завиделись сквозь расступившуюся толпу встречающие его Гавейн и Мордред. Доставленный к трону, Король тяжело осел на него. Стоявший до этого времени нунций также уселся на белый с золотом трон, что стоял насупротив королевского. Гул затих.

— Можем ли мы начать?

Благозвучный, словно в храме, голос Рочестера разрядил напряжение:

— Церковь готова.

— Государство тоже.

Это громыхнул Гавейн — несколько вызывающим тоном.

— Осталось ли что-либо, что надлежит уладить прежде, чем они войдут?

— Все улажено по-честному.

Рочестер обратил взгляд к Властителю Оркнея.

— Этим мы обязаны сэру Гавейну.

— К вашим услугам.

— В таком случае, — произнес Король, — я полагаю, мы можем известить сэра Ланселота, что Двор ожидает его.

— Бедивер, будьте любезны послать за подсудимыми.

Все уже заметили, что у Гавейна появилось обыкновение говорить от имени трона, и что Артур ему не препятствует. Однако папский посланник подобной смиренности не питал.

— Одну минуту, сэр Гавейн. Я обязан указать, что Церковь не считает этих людей подсудимыми. Миссия Его Святейшества, каковую я представляю, это миссия мира, но не мщения.

— Церковь может рассматривать этих людей, как ей представляется верным. Мы здесь для того, чтобы исполнить повеление Церкви, но исполняем мы оное так, как умеем. Приведите сюда подсудимых.

— Сэр Гавейн...

— Протрубите сигнал ко входу Ее Величества. Заседание Суда начинается.

Зазвучала музыка, ей, словно в дурном спектакле, ответила музыка снаружи, и все головы повернулись к дверям.

С шелестом шелков и колыханием мехов в середине Залы образовался проход. За открывшейся аркой дверей стояли, ожидая своего выхода, Ланселот с Гвиневерой.

Было что-то трогательное в пышности их одеяний — словно они нарядились для участия в шараде, не вполне для нее подходя. Облачения их были белыми с золотым шитьем, и Королева, уже больше не юная и прекрасная, держала оливковую ветвь без всякой грациозности. Они неловко шли по проходу,

словно старательные актеры, старательные, но лишенные актерских способностей. Дойдя до трона, они преклонили колени.

— Мой достославный Король.

Едва ощутимый проблеск взаимного расположения был мгновенно уловлен Мордредом.

— Очаровательно!

Ланселот взглянул на старшего брата.

— Сэр Гавейн.

Оркнеец показал ему спину.

Ланселот повернулся к Церкви.

— Господин мой Рочестер.

— Добро пожаловать, сын мой!

— По Королевскому повелению и по повелению Папы я привез Королеву Гвиневеру.

Наступила опасная тишина, которую никто не решался нарушить своими речами.

— И стало быть, долг мой, раз никто не желает мне отвечать, состоит в том, чтобы подтвердить невиновность Королевы Английской.

— Лжец!

— Я явился сюда сам, дабы заявить, что Королева блага и нелжива, верна Королю Артуру и чиста перед ним, и это я готов доказать всякому, кто оспорит меня, исключая только Короля или сэра Гавейна. И это мой долг перед Королевой — сделать подобное предложение.

— Святой Отец повелел нам принять ваше предложение, сэр Ланселот.

И во второй раз воодушевление, нараставшее в Зале, было разрушено Оркнейской партией.

— Тьфу на твои хвастливые речи! — крикнул Гавейн. — Что до Королевы, то пусть она получит прощение и живет здесь. Но ты, коварный и трусливый рыцарь, за что было тебе убивать моего брата, который любил тебя сильнее, нежели весь род наш?

Оба великих воина, не заметив того, перешли на высокий язык, отвечающий и этому месту, и страстям, которые ими владели.

— Бог видит, сэр Гавейн, что извинения мне не помогут. Я предпочел бы скорее убить моего племянника, сэра Борса. Но я не видел их, Гавейн, и заплатил за это!

— Ты совершил это из ненависти ко мне и к Оркнею!

— Сердце мое, — ответил Ланселот, — скорбит о том, что вас заставили думать так, господин мой сэр Гавейн, ибо я знаю, что пока вы против меня, между мною и Королем согласию не бывать.

— Истинно сказано, Ланселот. Ты явился сюда с охранным ручательством, дабы привезти назад Королеву, но отсюда уйдешь как убийца, каков ты и есть.

— Если я убийца, господин мой, тогда да простит меня Бог. Но я никогда не убивал коварными ухищрениями.

Ланселот прибегнул к этому доводу без какой-либо задней мысли, но Гавейн усмотрел в нем больше того, нежели он содержал. Стиснув кинжал, Гавейн воскликнул:

— Я понял твой намек! Ты разумеешь сэра Ламорака...

Епископ Рочестерский поднял руку в перчатке.

— Гавейн, не могли бы мы отложить эти пререкания до другого раза? Наша прямая задача — восстановить Королеву в ее правах. Не сомневаюсь, что сэр Ланселот желал бы объяснить причины возникновения раздора, так чтобы Церковь могла скрепить ее возвращение на престол.

— Благодарю вас, господин мой.

Гавейн свирепо взирал на Ланселота, пока усталый голос Короля не побудил разбирательство двигаться дальше. Как-то неуклюже оно продвигалось, рывками.

— Вас застали у Королевы.

— Сэр, я был зван к госпоже моей, Королеве, а для чего, я не знал; но едва только я закрыл за собой дверь Королевиных покоев, как тотчас же сэр

Агравейн и сэр Мордред стали бить в нее, называя меня рыцарем-изменником и трусом.

— Они правильно называли тебя.

— Господин мой сэр Гавейн, в той схватке им не удалось выказать себя правыми. Я же ныне говорю в защиту Королевы, но не моей чести.

— Хорошо, сэр Ланселот, хорошо.

Рыцарь, Совершивший Проступок, со спокойной грацией повернулся к своему старейшему другу, к первому человеку, которого он полюбил. Он оставил язык рыцарства, перейдя на простую речь:

— Разве нельзя нас простить? Разве не можем мы вновь стать друзьями? Мы вернулись сюда в раскаянии, Артур, хотя и не имели нужды возвращаться. Неужели ты не помнишь прежних дней, когда мы сражались бок о бок и были друзьями? Если ты явишь нам милосердие, все содеянное зло удастся исправить, буде сэр Гавейн покажет к тому добрую волю.

— Король являет нам правосудие, — ответил рыжий рыцарь. — И разве ты явил милосердие моим братьям?

— Я являл милосердие всем вам, сэр Гавейн. И смело скажу, что я ничуть не хвастаюсь, говоря, что многие в этой зале обязаны мне свободой, если не жизнью. Я и прежде, из-за иных наветов, сражался за Королеву, как же было мне не сразиться, когда беда грозила ей из-за меня? И за вас я также сражался, сэр Гавейн, и спас вас от постыдной смерти.

— И при всем при том, — промолвил Мордред, — ныне из всех Оркнейцев уцелели лишь двое.

Гавейн резко вскинул голову.

— Король пусть решает, как ему угодно. Я же принял решение шесть месяцев назад, когда нашел сэра Гарета, залитого кровью — и безоружного.

— Видит Бог, я желал бы, чтобы он был в доспехах, ибо тогда он мог бы выстоять против меня. Он мог бы убить меня и спасти нас всех от этих несчастий.

— Великодушная речь.

Старый рыцарь воскликнул с внезапной страстностью, обращаясь ко всем, кто согласен был его выслушать:

— Почему же вам так хочется верить, что я желал его смерти? Я посвятил Гарета в рыцари. Я любил его. В тот миг, как я услышал о его смерти, я понял, что вы меня никогда не простите. Я понял, что всем моим надеждам конец. Убивать сэра Гарета было не в моих интересах.

Мордред прошептал: «Не от души, стало быть, убивал».

Ланселот сделал последнюю попытку образумить Гавейна.

— Гавейн, простите меня. От того, что я сделал, сердце мое обливается кровью. Я знаю, как вам больно, потому что и мне больно тоже. Может быть, если я принесу покаяние, вы позволите миру вернуться в нашу страну? Не вынуждайте меня сражаться для спасения моей жизни, но позвольте мне совершить паломничество во имя Гарета. Я выйду из Сандуича в одной рубахе и пройду босой до Карлайля, закладывая часовню в память о нем через каждые десять миль.

— Мы полагаем, — ответил Мордред, — что кровь Гарета не искупается сооружением часовен, сколь бы ни были они милы сердцу епископа Рочестерского.

Терпение старого рыцаря лопнуло.

— Придержите язык!

И тут же взъярился Гавейн.

— Веди себя вежливо, ты, убийца, или мы заколем тебя прямо у ног Короля!

— Для этого потребуется больше...

Снова вмешался нунций.

— Сэр Ланселот, прошу вас. Что бы ни происходило, но пусть хоть кто-то из нас сохранит должное терпение и достоинство. Сядьте, Гавейн. За кровь сэра Гарета было предложено искупление, посредст-

вом которого, возможно, удастся положить конец войне. Мы ждем вашего ответа.

Наступило выжидательное молчание, и седой гигант заговорил еще более резко:

— Я выслушал речи сэра Ланселота и его щедрые посулы, но он убил моих братьев. Этого я ему никогда не прощу, и в особенности его предательства по отношению к моему брату сэру Гарету. И если мой дядя, Король Артур, пожелает помириться с ним, тогда Король лишится моей службы и службы всех гаэлов. Сколько бы мы тут не толковали, мы знаем правду. Этот человек отъявленный изменник и Королю, и мне.

— Никто из назвавших меня изменником, Гавейн, не пережил своего обвинения. Что до Королевы, я все объяснил.

— С этим покончено. Я не позволяю себе выпадов против женщины, если могу без этого обойтись. Я говорю сейчас о приговоре, который вынесен будет тебе.

— Если это приговор Короля, я его принимаю.

— Король уже согласился со мной, до твоего прихода.

— Артур...

— Обращайся к Королю по титулу.

— Сэр, это правда?

Но старик лишь поник головой.

— По крайней мере дайте мне услышать об этом из уст Короля!

Мордред произнес:

— Говорите, отец.

Артур помотал головой, словно затравленный медведь. Он двигал ею по-медвежьи тяжко, но не отрывал глаз от пола.

— Говорите.

— Ланселот, — услышали все произносимые Королем слова, — тебе известно все, что было и есть между нами. Мой Стол разрушен, мои рыцари разделились или погибли. Я никогда не искал раздора с тобою, Ланс, как и ты со мной.

— Но неужели нельзя с этим покончить?

— Гавейн говорит... — слабо начал он.

— Гавейн!

— Правосудие...

Гавейн поднялся на ноги, рыжий, плотный, неистовый.

— Мой Король, мой господин и мой дядя. Согласен ли суд, чтобы я произнес приговор этому трусливому предателю?

Тишина стала полной.

— Знайте же все вы, что таково Королевское Слово. Королева возвратится к нему свободной, и ничто из того, в чем она была заподозрена доныне, никакой опасностью ей не грозит. Такова воля Папы. Но ты, сэр Ланселот, тебе надлежит не долее чем в пятнадцать дней удалиться из этого королевства в изгнание, как ты есть явный изменник; и клянусь Богом, мы последуем за тобою по истечении этого срока, чтобы обрушить крепчайший из замков Франции на твои уши.

— Гавейн, — с мучительным трудом произнес Ланселот, — не преследуй меня. Я принимаю изгнание. Я стану жить в моих французских замках. Но не преследуй меня, Гавейн. Не заставляй войну длиться вечно.

— Оставь это тем, кто почище тебя. А замки твои принадлежат Королю.

— Если ты пойдешь на меня войною, Гавейн, не вызывай меня на бой и не позволяй Артуру выходить против меня. Я не могу сражаться с друзьями. Гавейн, ради Господа, не заставляй нас сражаться.

— Хватит твоих речей. Вручи Королю Королеву и поспеши вон от этого Двора.

С чем-то вроде завершающей скрупулезности Ланселот собирал воедино все свои душевные силы. Он перевел взгляд с Англии на своего мучителя. Медленно он поворотился к Королеве, так и не сказавшей ни слова. Он увидел ее, неповоротливую в дурацких одеждах с шутовской оливковой ветвью в руках. Он

высоко поднял голову, сообщая их трагедии серьезность и благородство.

— Ну что же, госпожа моя, видно, нам должно расстаться.

Он взял ее за руку и повел к середине Залы, дорогою обращая ее в ту женщину, которую помнил всегда. Что-то в пожатии его руки, в походке, в полноте его голоса заставило ее вновь расцвести, обратившись в Розу Англии, — ибо в последний раз выступали они заодно. Она опять была высшей наградой тому, кто ее завоюет, — состояние, которое оба они призабыли. Величаво, как в танце, рыцарь-горгулья вывел ее на самую середину Залы. Здесь он установил ее, ослепительную, замковым камнем державы, и здесь простился с ней навсегда. В последний раз были вместе сэр Ланселот, Король Артур и Королева Гвиневера.

— Мой Король и старые друзья мои, одно слово, прежде чем я уйду. Приговор мой требует, чтобы я покинул наше содружество, коему прослужил всю жизнь. Мне должно оставить страну, и война последует за мной по пятам. Стало быть, я в последний раз стою здесь перед вами заступником Королевы. Я стою здесь, чтобы сказать вам, госпожа моя и дама, перед всем этим двором, что если в будущем вам станет грозить какая-либо беда, то хотя бы один бедный рыцарь придет вам на помощь из Франции, — и пусть каждый помнит об этом.

Неторопливо он перецеловал ее пальцы, чопорно развернулся и в тишине зашагал к дверям длинной-длинной залы. Он шел навстречу своему будущему, и будущее смыкалось вокруг него.

В то время любому злодею, заручившемуся правом неприкосновенности, давалось пятнадцать дней, чтобы добраться до Дувра. Добираться же следовало предписанным для злодеев образом: «непрепоясанным, необутым, главы не покрывая, в одной рубахе, аки висельнику быть надлежит». Идти полагалось серединой дороги, сжимая в руке маленький крест,

символ неприкосновенности. Вероятно, по пятам за Ланселотом, таясь, следовал бы Гавейн или кто-то из его присных, в надежде, что он на миг выпустит из рук талисман. И все же, в рубахе ли, в кольчуге, он все равно остался бы их старым Командующим. Вот так он и шел бы — твердо, без спешки, глядя прямо перед собой. Когда он шагнул за порог, в облике его уже проступило долготерпение, потребное в дальней дороге. Люди, оставшиеся в Судебной Зале, покинутой старым воином, вдруг ощутили безвкусицу своих ярких одежд, и многие с тайной боязнью скосили глаза на алую розгу.

11

Гвиневера сидела в Королевской опочивальне Замка Карлайль. Огромное ложе, застлав, приспособили под диван, отчего оно приобрело вид столь опрятный и строгий, что на него боязно было присесть. В опочивальне имелись также — камин, снабженный всем необходимым для подогрева небольшого котла, высокое кресло и налой для чтения. Имелась здесь и книга, быть может, тот самый Галеот, о котором упоминает Данте. Стоила она не меньше, чем девяносто быков, но поскольку Гвиневера прочла ее уже семь раз, книга больше не возбуждала в ней интереса. Отсвет недавно выпавшего снега вливался в спальню снизу, — озаряя более потолок, нежели пол, и смещая привычные тени. Тени лежали синие и не там, где обычно. Высокородная леди коротала время за шитьем, чинно сидя в высоком кресле, пообок от книги, а на ступенях, ведущих к ложу сидела одна из ее камеристок и также вышивала.

Гвиневера клала стежок за стежком, и разум ее, как у всякой рукодельницы за работой, был наполовину пуст, — другая его половина неторопливо перебирала заботы, одолевавшие Гвиневеру. Ей не хотелось оставаться в Карлайле. Слишком близко к северу, — то есть к графству Мордреда, — слишком далеко от хранительных удобств цивилизации. Она бы с удовольствием оказалась сейчас, ну, скажем, в Лондоне, может быть, даже в Тауэре. Куда приятнее было бы смотреть не на эти унылые снега, а на суматошное оживление столицы, видное из окон Тауэра: на Лондонский мост, сплошь утыканный шаткими домами, которые то и дело кувыркались в реку. Она вспоминала этот мост, как суще-

ство, наделенное индивидуальностью, — со всеми его постройками, и с головами мятежников на пиках, и с тем местом, где сэр Давид в полных доспехах сражался на поединке с лордом Уэллсом. Погреба домов располагались в опорах моста, а еще у моста имелась своя собственная часовня и башня для его обороны. То был совершенный в своем роде игрушечный город с хозяйками, выставляющими из окон головы, спускающими в реку бадьи на длинных веревках, плещущими туда же помои, развешивающими стираное белье, визгливо призывающими детей, когда наступает пора подтягивать кверху подъемную часть моста.

Да что говорить, и просто в самом Тауэре находиться сейчас было бы гораздо приятней. Здесь, в Карлайле, царил мертвенный покой. А там морозный ландшафт оживляло бы непрестанное мельтешение лондонцев вокруг башни Завоевателя. Даже Артуров зверинец, который он ныне держал прямо в Тауэре, и тот вносил бы в жизнь приятное разнообразие своим шумом и запахами. Последним его прибавлением был взрослый слон, подаренный Королем Франции и специально зарисованный на предмет отображения в летописи неутомимым хроникером Матфеем Парижским.

Добравшись до слона, Гвиневера отложила шитье и принялась растирать пальцы. Пальцы онемели. И согревались они теперь не так быстро, как прежде.

— Вы выставили крошки для птиц, Агнес?

— Да, госпожа. Зарянка сегодня такая нахальная. Там один из дроздов разжадничался, так она ему целую песню пропела, и громкую!

— Бедняжки. Все-таки я надеюсь, что через несколько недель они уже все запоют.

— Кажется, так давно все нас покинули, — сказала Агнес. — И при дворе стало совсем как у птиц, все тихие и какие-то ожесточенные.

— Они вернутся, не сомневайся.

— Да, госпожа.

Королева снова взялась за иглу и задумчиво проколола ею ткань.

— Говорят, сэр Ланселот выказал большую отвагу.

— Сэр Ланселот всегда был отважным джентльменом, госпожа.

— В последнем письме сказано, что Гавейн бился с ним один на один. Должно быть, он чувствовал себя несчастным, сражаясь с Гавейном.

Агнес заговорила с горячностью:

— Нипочем я не пойму, как это Король смог пойти с этим сэром Гавейном против своего лучшего друга. Ведь всякий видит, что того просто гнев ослепил. Да потом еще разорять землю французскую, просто чтобы досадить сэру Ланселоту, и погубить столько народу, и повторять все эти гадости, которые говорят хлыстуны. Если и дальше так пойдет, никому от этого не будет добра. Что прошло, то прошло, и почему они не могут с этим смириться, хотела бы я знать?

— Я думаю, Король отправился с сэром Гавейном, потому что он пытается соблюсти справедливость. Он считает, что Оркнейцы вправе требовать правосудия за смерть Гарета, — да я и сама так считаю. А кроме того, если Король не будет держаться сэра Гавейна, у него совсем никого не останется. Больше всего на свете он гордился Круглым Столом, а теперь Стол распался, и Король хочет сохранить от него хоть что-то.

— Не больно это удачный способ сохранить Стол, — сказала Агнес, — воевать с сэром Ланселотом.

— Закон на стороне сэра Гавейна. Так, во всяком случае, говорят. А Король в своем выборе все равно не свободен. Его же собственные подданные тянут Короля за собой, — те, кто хочет завоевать во Франции какие-нибудь владения и потом присвоить захваченное, и те, кому опротивел мир, который ему удавалось так долго поддерживать, и те, кто жаж-

дет военной карьеры или хочет пролить побольше крови в отместку за убитых на Рыночной Площади. Тут и молодые рыцари из партии Мордреда, которым внушили, будто мой муж выжил на старости лет из ума, и родичи тех, кто пал на лестнице, и Оркнейский клан с древней враждой в душах. Война — как пожар, Агнес. Начало ей может положить один-единственный человек, но после она распространяется вширь, пока не охватит всех. И сказать, из-за чего она ведется, уже невозможно.

— Ах, госпожа, это все высокие материи, нам, бедным женщинам, их не понять. Но расскажите же, о чем еще говорится в письме?

Несколько времени Гвиневера просидела, глядя в письмо и не видя его, ибо мысли ее вращались вокруг затруднений мужа. Затем она медленно произнесла:

— Король любит Ланселота так сильно, что вынужден проявлять несправедливость к нему, — из опасения оказаться несправедливым к другим людям.

— Да, госпожа.

— А здесь, — сказала Королева, вдруг заметив письмо, которое держала в руке, — здесь говорится, как сэр Гавейн что ни день выезжал к замку и выкликал сэра Ланселота, называя его изменником и трусом. Рыцари же Ланселота гневались и выходили один за одним, но он сокрушил их всех и многих сильно покалечил. Он едва не убил Борса и Лионеля, пока наконец не пришлось сэру Ланселоту выйти к нему. Люди, засевшие в замке, настояли на этом. Он сказал сэру Гавейну, что тот принудил его биться, как зверя, загнанного в засаду.

— А сэр Гавейн что?

— А сэр Гавейн сказал: «Оставь твои пустые речи и выходи, и мы отведем душу.»

— И они сразились?

— Да, они сразились в поединке перед воротами замка. Прочие все обещали не вмешиваться, и они начали биться в девять часов утра. Вы ведь знаете,

насколько лучше сэр Гавейн сражается поутру. Потому они так рано и начали.

— Хорошо еще, что Господь наделил сэра Ланселота троекратной силой! Потому как я слышала разговоры, будто у Древнего Люда в жилах примешана кровь эльфов, недаром ведь они рыжие, госпожа, и от этого ихний властитель до полудня владеет силой трех человек, потому что за него сражается солнце!

— Должно быть, это очень страшно, Агнес. Но сэр Ланселот слишком горд, чтобы не дать ему этого преимущества.

— Надеюсь, сэр Гавейн его не убил.

— Едва не убил. Но он прикрывался щитом и все время уклонялся и медлил, и отступал перед сэром Гавейном. Здесь сказано, что он получил много жестоких ударов, но сумел оборонить себя до полудня. А затем, конечно, мощь эльфов пропала, и он нанес Гавейну такой удар по голове, что тот рухнул и не сумел подняться.

— Увы, бедный сэр Гавейн!

— Да, он мог бы убить его прямо на месте.

— Но не убил.

— Нет. Он отступил и оперся на меч. Гавейн молил его о смерти. Он неистовствовал как никогда и взывал к Ланселоту: «Зачем ты отступаешь от меня? Вернись и убей меня насмерть! Я не сдамся тебе. Убей меня сразу, ибо если ты сохранишь мне жизнь, я только буду биться с тобою снова». Он плакал.

— Уж на сэра-то Ланселота можно положиться, — рассудительно сказала Агнес, — что он нипочем не станет разить поверженного рыцаря.

— Да, можно.

— Он всегда был достойным и добрым джентльменом, хоть красавцем его и не назовешь.

— Никто и ни в чем не мог его превзойти.

Они примолкли, смутившись охвативших их чувств, и снова взялись за шитье. Наконец Королева сказала:

— Свет меркнет, Агнес. Как вы думаете, не зажечь ли нам свечи?

— Конечно, госпожа. Я тоже подумала об этом.

Она принялась разжигать от пламени камина свечи с тростниковыми фитилями, что-то ворча об отсталости и нищете северных варваров, у которых и свечей-то порядочных нет, а Гвиневера между тем еле слышно запела. То был дуэт, который она часто певала с Ланселотом, и, осознав это, она сразу умолкла.

— Ну вот, госпожа. А день-то, похоже, прибавился.

— Да, скоро снова весна.

Усевшись и возобновив при дымном свете шитье, Агнес вернулась к расспросам, — с того места, на котором они прервались.

— А что сказал про это Король?

— Король заплакал, увидев, как Ланселот поцадил Гавейна. Его одолели воспоминания, и он так расстроился, что даже заболел.

— Это, наверное, то, что называют нервным срывом, госпожа?

— Да, Агнес. Король занемог от горя, а Гавейн лежал с сотрясением мозга, так что обоим было худо. Но рыцари по-прежнему держали осаду.

— Что ж, госпожа, не очень-то веселое письмо, верно?

— Да, не очень.

— Я, помню, тоже раз получила письмо, — ну, да что там, как говорят, чем хуже весть, тем скорее доходит.

— Все, что у нас теперь есть, — это письма. Двор опустел, мир раскололся, и никого, кроме Лорда-Протектора, при нас не осталось.

— Ах, уж этот мне сэр Мордред: вот сроду я таких терпеть не могла. Чего он добивается, разглагольствуя перед народом? Да еще и шляпу перед ним снимает, только людей смешит! И почему он не может одеться повеселее, слоняется тут весь в черном, будто он и не человек, а светопреставление Господне?

Это он, если позволите, от сэра Гавейна одежку-то перенял.

— Их форма задумана как траур по Гарету.

— Да никогда он к сэру Гарету добрых чувств не питал, этот-то. Не верю я, что он их вообще питал хоть к кому-нибудь.

— Он питал их к своей матери, Агнес.

— Ага, а ей в конце концов перерезали глотку за то, что она была не лучше, чем ей полагалось. Вся их шатия со странностями.

— Королева Моргауза, — задумчиво произнесла Гвиневера, — наверное, и впрямь была странной женщиной. Теперь, после назначения сэра Мордреда Лордом-Протектором, все уже знают об этом, так что скрывать тут особенно нечего. Наверное, она была сильной женщиной, если смогла увлечь нашего Короля, когда у нее уже было четверо сыновей. Да что там, она и сэра Ламорака-то завлекла, уже будучи бабушкой. Должно быть, она имела страшную власть над своими сыновьями, если один из них испытывал к ней столь яростное чувство, что даже убил ее. А ведь ей было уже под семьдесят. Я думаю, она просто сожрала Мордреда, Агнес, как паук.

— Одно время поговаривали насчет того, что все эти Корнуольские сестры — ведьмы. Оно, конечно, хуже всех из них была Моргана ле Фэй, но и эта Моргауза недалеко от нее ушла.

— От этого лишь проникаешься жалостью к Мордреду.

— Вы, госпожа моя, поберегите эту вашу жалость для себя, потому что от него вы жалости не дождетесь.

— С той поры, как страну оставили на его попечение, он всегда был вежлив со мной.

— Ага, вежлив-то он был. От таких вот тихонь главный и вред.

Гвиневера, держа шитье поближе к свету, задумалась над ее словами. И спросила с некоторой тревогой:

— Ты ведь не думаешь, что сэр Мордред задумал что-то недоброе, Агнес, правда?

— Темный он человек.

— Но он же не станет делать зла после того, как Король доверил ему заботу о стране и о нас?

— Я этого вашего Короля, госпожа, если вы простите мне такие вольные речи, никак понять не могу. Сначала он отправляется воевать со своим лучшим другом, потому что ему сэр Гавейн так велел, а потом оставляет Лордом-Протектором самого своего злого врага. Почему он ведет себя так безрассудно?

— Мордред ни разу не нарушил законов.

— Это оттого, что он слишком хитер.

— Король говорил, что Мордреду предстоит стать наследником трона, а одновременно покинуть страну и Королю, и наследнику невозможно, поэтому он, естественно, должен был остаться наместником. Это лишь справедливо.

— Из этой вашей справедливости, госпожа, никогда еще ничего путного не выходило.

Они вновь взялись за шитье.

— Если уж правду сказать, — добавила Агнес, — так это Королю нужно было остаться, а Мордред пусть бы себе уехал.

— И я бы того хотела.

Чуть позже она пояснила:

— Я думаю, Король захотел отправиться с сэром Гавейном, надеясь, что ему удастся их примирить.

Они все шили с тяжестью на сердце, и иглы, длинно поблескивая, гасли в темной ткани, словно падучие звезды.

— А вы боитесь сэра Мордреда, Агнес?

— Да, госпожа, правда ваша, боюсь.

— И я тоже. Он в последнее время ходит так неслышно и... как-то странно смотрит на людей. И потом все эти его речи насчет гаэлов, саксов и евреев, и все эти крики, истерики. Я на той неделе слышала, как он засмеялся наедине с собой. Очень страшно.

— Он такой пронырливый. Может, он и сейчас нас слушает.

— Агнес!

Гвиневера, словно ударенная, уронила иглу.

— Ой, ну что вы, госпожа, не надо так расстраиваться, я просто пошутила.

Но Королева как замерла, так и не шелохнулась.

— Подойдите к двери. Я уверена, что вы правы.

— Ох, госпожа, я не могу.

— Немедленно откройте ее, Агнес.

— Госпожа, а вдруг он там стоит!

Ее тоже заразил страх. Хилых свечей явно недоставало. Он мог находиться и в самой опочивальне, где-нибудь в темном углу. Агнес вспорхнула, будто куропатка, завидевшая над собой ястреба, и оправила юбку. Замок вдруг стал для обеих женщин слишком темным и безлюдным, слишком одиноким, слишком полным ночи и зимы.

— Если вы откроете ее, он уйдет.

— Но надо же дать ему время уйти.

Каждая старалась справиться со своим голосом, чувствуя, как темное крыло накрывает ее.

— Тогда встаньте поближе к двери и скажите что-нибудь громко, прежде чем ее отворить.

— А что мне сказать, госпожа?

— Скажите: «Не открыть ли мне дверь?». И тогда я скажу: «Да, по-моему, пора спать».

— По-моему, пора спать.

— Давайте же.

— Хорошо, госпожа. Начинать?

— Начинайте, да, только скорее.

— Я не знаю, как у меня получится.

— Ох, Агнес, пожалуйста, поскорее!

— Ладно, госпожа. Надеюсь, получится.

И глядя на дверь так, словно та могла на нее наброситься, Агнес сообщила ей во весь голос:

— Я собираюсь открыть дверь!

— Спать пора!

Ничего не случилось.

— Ну, открывайте, — сказала Королева.

Агнес подняла щеколду и распахнула дверь, и Мордред улыбнулся им из дверного проема.

— Добрый вечер, Агнес.

— Ох, сэр!

Бедная женщина, затрепетав, присела в реверансе, прижимая руку к груди, и прыснула мимо него по лестнице. Он вежливо посторонился. После того, как Агнес исчезла, он вступил в опочивальню, великолепный в своем черном облачении с единственным холодным бриллиантом, блеснувшим на алом значке в тусклом свете свечей. Любой, кто не видел его месяц или два, мгновенно понял бы, что Мордред лишился рассудка, — однако разум его распадался с такой постепенностью, что люди, жившие рядом, ничего не заметили. За ним вперевалку вошел черный мопсик, поводя яркими глазками и помахивая загнутым хвостом.

— Что-то наша Агнес нынче нервна, — сказал Мордред. — Добрый вечер, Гвиневера.

— Добрый вечер, Мордред.

— Развлекаетесь вышиванием? А я думал, вы станете вязать носки для солдат.

— Зачем вы пришли?

— Так, вечерний визит. Простите мне театральность моего появления.

— Вы всегда ожидаете за дверью, пока она отворится?

— Как-то же нужно в нее проникнуть, мадам. Это удобнее, чем входить в окно, — хотя мне приходилось слышать о людях, которым удавалось и это.

— Понятно. Присядете?

Мордред уселся, тщательный в каждом движении, мопс запрыгнул к нему на колени. Зрелище он являл, пожалуй, трагическое, ибо вся повадка его была повадкой матери. Он разыгрывал роль, утрачивая остатки реальности.

Сколько написано трагедий, в которых роковые блондинки доводят своих любовников до погибели, в которых Крессиды, Клеопатры, Далилы, а порой даже скверные дочери, вроде Джессики, причиняют страдания своим возлюбленным или родителям: и все же в основе настоящей трагедии лежат отнюдь не эти поступки. Эти — не более чем жалкая мишура, в которую рядится человеческая душа. Ну, пал Антоний на собственный меч — и что с того? Меч убил его — и только. Не вожделение любовника, но вожделение матери — вот что растлевает сердце и душу. Оно-то и обрекает трагического героя на смертный путь. В самой потаенной из комнат обитает Иокаста, не Джульетта. Гамлета толкает в объятья безумия не глупышка Офелия, но Гертруда. Сущность трагедии состоит не в отъятии и не в краже. Украсть сердце по силам любой вертихвостке. Сущность трагедии в том, чтобы давать, навязывать, добавлять, душить без всяких подушек. Дездемона, лишенная жизни или чести, ничто для Мордреда, лишенного собственной личности, Мордреда с душой украденной, втихомолку удавленой, иссохшей, между тем как жизнь его матери продолжалась по-прежнему — в торжестве, в изобилии, в излиянии на Мордреда любви, удушающей, пусть и без явственного злого намерения. Мордред был единственным из сынов Оркнея, кто так и не женился. Он был единственным, кто двадцать лет прожил наедине с матерью, когда его братья упорхнули в Англию, — он был ее живой кладовой. Теперь, когда она умерла, он обратился в ее могилу. Она продолжала существовать в нем, словно вампир. Когда он двигался, когда он сморкался — это были ее движения. Действуя, он становился таким же нереальным, какой была она, когда изображала девственницу перед единорогом. Он баловался той же жестокой магией. Он даже завел, подобно ей, комнатных собачонок, — хотя всегда ненавидел ее любимиц с той же жгучей мукой, с какой ненавидел ее любовников.

— Как-то нынче в воздухе холодком потянуло, нет?

— Февраль всегда холоден.

— Я разумею нежные токи наших с вами личных отношений.

— Лорд-Протектор, назначенный моим мужем, по необходимости должен встречать у Королевы теплый прием.

— Но не мужнин ублюдок, а?

Она опустила иглу и взглянула ему прямо в лицо.

— Я не понимаю, зачем вы приходите ко мне с такими речами, и не могу догадаться, чего вы хотите.

Она не собиралась выказывать ему враждебность, но он сам вынуждал ее к этому. К тому же она никогда никого не боялась.

— Да вот, решил поболтать с вами о политической ситуации — просто поболтать, не более.

Она сознавала, что приближается некий кризис, и от этого сознания ее охватывала слабость. Она была уже слишком стара, чтобы тягаться с безумцем, да к тому же и подозрений касательно состояния его рассудка еще не имела. До этой поры лишь обременительная ироничность его тона вызывала у нее чувство собственной нереальности и делала ее неспособной к простому и естественному выбору слов. Но уступать ему она не желала.

— Я буду рада выслушать то, что вы хотите сказать.

— Вы чрезвычайно великодушны... Дженни.

Это было чудовищно. Он претворял ее в одну из своих фантазий и разговаривал с этой фантазией, а не с живым человеком.

Она сказала разгневанно:

— Не соблаговолите ли вы, обращаясь ко мне, использовать мой титул, Мордред?

— О да, разумеется. Я обязан извиниться, если я вторгся в охотничьи угодья сэра Ланселота.

Издевка подействовала на нее, как тонизирующее средство, придав ей осанку царственной дамы, какой

она и была, несгибаемой аристократки со сверкающими на ревматических пальцах перстнями, полвека успешно правившей миром.

— Я уверена, — сказала она наконец, — что попытайся вы сделать это, вас ожидали бы немалые затруднения.

— Однако! Впрочем, боюсь, я сам напросился на это. Вы всегда были несколько вспыльчивы... Королева Дженни.

— Сэр Мордред, если вы не будете вести себя, как подобает джентльмену, я лучше уйду.

— И куда же?

— Куда угодно: в любое место, где женщина, достаточно старая, чтобы годиться вам в матери, может чувствовать себя защищенной от подобных выходок.

— Вопрос только в том, — задумчиво заметил он, — где такое место находится? Если учесть, что все ушли во Францию, и что правителем королевства остался именно я, план ваш, кажется, утрачивает даже остатки основательности. Конечно, вы могли бы отправиться во Францию... да только доберетесь ли вы до нее?

Она поняла или начала понимать.

— Я что-то никак не вникну в смысл ваших слов.

— Ну что же, значит, вам нужно основательно поразмыслить над ними.

— С вашего позволения, — сказала она, вставая, — я позову мою камеристку.

— Отчего не позвать, позовите. Правда, мне придется ее отослать.

— Агнес будет делать то, что прикажу ей я.

— Сомневаюсь. Давайте попробуем.

— Мордред, не могли бы вы оставить меня?

— Нет, Дженни, — ответил он. — Мне хочется побыть с вами. Но если вы согласитесь посидеть минуту спокойно и выслушать меня, я обещаю вести себя как совершеннейший джентльмен, — а именно, как один из ваших preux chevaliers.

— Вы не оставляете мне выбора.

— Весьма незначительный.

— Чего же вы хотите? — спросила она и села, сложив на коленях руки. Жить среди опасностей ей было не внове.

— Ну вот еще, — сказал Мордред, совершенно безумный. Он пребывал в отличном расположении духа, упоенно играя с ней, словно кошка с мышью. — К чему такая неприкрытая спешка? Нужно, чтобы отношения между нами стали непринужденными, прежде чем мы приступим к нашей беседе, иначе она покажется натянутой.

— Я слушаю.

— Нет-нет. Вы должны назвать меня «Морди» или еще как-нибудь ласково. Тогда и мое «Дженни» приобретет естественный вид. И мы с тем большим удовольствием станем продвигаться вперед.

Она не ответила.

— Гвиневера, вы хотя бы отчасти представляете себе свое положение?

— Мое положение — это положение Королевы Англии, так же, как ваше — ее Лорда-Протектора.

— Между тем как Артур и Ланселот дерутся друг с другом во Франции.

— Свершенно верно.

— А если предположить, — спросил он, поглаживая мопса, — что я пришел рассказать вам о полученном мною утром письме? Касательно смерти Артура и Ланселота?

— Я бы вам не поверила.

— Они убили друг друга в сражении.

— Это неправда, — тихо сказала она.

— Ну, в общем-то, нет. А как вы догадались?

— И если это неправда, говорить так — жестоко. Зачем вы это сказали?

— Очень многие поверили бы в это, Дженни. Я ожидаю, что очень многие и поверят.

— С чего бы? — спросила она, еще не успев понять, куда он клонит. И умолкла, затаив дыха-

ние. В первый раз она ощутила страх: не за себя, за Артура.

— Не можете же вы...

— Ну, как не могу? Могу, — воскликнул он весело. — И даже сделаю. Что, по-вашему, произойдет, если мы объявим о смерти бедного Артура?

— Но, Мордред, вы не можете так поступить! Они же живы... Вы всем обязаны... Король назначил вас своим наместником... Ваша вассальная клятва... Это будет нечестно! Артур всегда проявлял по отношению к вам такую скрупулезную справедливость...

Он ответил, и глаза его были холодны:

— Разве я когда-нибудь просил у него справедливости? Справедливость — это то, что он преподносит людям, чтобы потешиться.

— Но ведь он ваш отец!

— Если на то пошло, я не просил, чтобы он меня породил. Полагаю, и это тоже он сделал потехи ради.

— Понятно.

Она сидела, скручивая пальцами шитье, стараясь думать спокойно.

— Почему вы так ненавидите моего мужа? — спросила она почти с изумлением.

— Я не ненавижу его. Я его презираю.

— Он же не знал, — тихо объяснила она, — когда все случилось, что ваша мать — сестра ему.

— И, как я полагаю, он не знал, что я ему сын, когда засунул меня в тот корабль?

— Ему едва исполнилось девятнадцать, Мордред. Его запугали пророчествами, и он сделал то, что его заставляли сделать.

— Моя мать, пока она не повстречала Короля Артура, оставалась порядочной женщиной. У нее и у Лота Оркнейского был счастливый дом, она родила ему четырех отважных сыновей. А что с ней сталось потом?

— Но она же была вдвое старше него! Как тут не подумать...

Он остановил ее, подняв руку.

— Вы говорите о моей матери.

— Простите, Мордред, но право...

— Я любил мою мать.

— Мордред...

— Король Артур вошел к женщине, хранившей верность своему мужу. А когда он оставил ее, она была уже распутницей. Она закончила свою жизнь голой, в постели с сэром Ламораком, убитая — и поделом — собственным сыном.

— Мордред, весь наш разговор не имеет смысла, если вы не можете понять... если вы не можете поверить, что Артур добр, что он раскаивается, что он сейчас в беде. Он любит вас. Он говорил об этом лишь за день-два до того, как начались эти несчастья...

— Пусть оставит эту любовь себе.

— Он был так честен с вами, — взмолилась она.

— Справедливый и благородный король! Да, легко быть честным, когда все уже позади. Есть чем утешиться! Справедливость! Ее он тоже может оставить себе.

Стараясь, чтобы не дрогнул голос, она произнесла:

— Если вы провозгласите себя королем, они вернутся из Франции, чтобы сражаться с вами. Тогда вместо одной войны у нас будет две, и вторая — в Англии. Рыцарское содружество окажется перечеркнутым.

Он улыбнулся, испытывая живейшее наслаждение.

— Все это кажется невероятным, — сказала она, стискивая шитье.

Она сделала все, что могла. На миг у нее мелькнула мысль, что если она унизится перед ним, если преклонит перед ним свои старые, негнущиеся колени и станет молить его о милосердии, он, может быть, и смягчится. Но нет, совершенно ясно, что безнадежно и это. Он назначил себе определенный путь и катил по нему, будто шар по желобу. Даже все то, что он говорил, было, так сказать, текстом выбран-

ной роли. И завершиться ей полагалось так, как записано в пьесе.

— Мордред, — беспомощно сказала она, — пожалейте хоть простолюдинов, если нет у вас жалости ни ко мне ни к Артуру.

Он спихнул с колен мопса и встал, улыбнувшись ей с безумным удовлетворением. Глядя на нее сверху вниз, но вовсе не видя ее, он потянулся.

— Пусть не Артура, — произнес он, — но вас пожалеть я, безусловно, обязан.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я тут обдумывал некий узор, Дженни, незамысловатый такой узорчик.

Она вглядывалась в него, не говоря ни слова.

— Да. Мой отец совершил кровосмешение с моей матерью. Вам не кажется, Дженни, что если я — в ответ — сочетаюсь браком с женой отца, рисунок выйдет прелестный?

12

Тьма стояла в палатке Гавейна, лишь плоская жаровня, в которой тлел древесный уголь, подсвечивала ее снизу. В сравнении с роскошными шатрами английских рыцарей палатка его казалась жалкой и ветхой. Несколько клетчатых оркнейских пледов устилали жесткую кровать, а единственными украшениями были — снабженная надписью «Optimus egrorum, medicus fit Thomas bonorum»[1] свинцовая бутыль со святой водой, принимаемой им вместо лекарства, да привязанный к колу палатки пучок сухого вереска. То были его домашние боги.

Гавейн ничком лежал на пледах. Гавейн плакал, медленно и безнадежно, между тем как сидевший рядом Артур гладил его по руке. Это рана лишила Гавейна сил, иначе бы он плакать не стал. Старый Король пытался его успокоить.

— Не стоит горевать об этом, Гавейн, — говорил он. — Вы сделали все, что могли.

— Второй раз он меня пощадил, второй раз за один-единственный месяц.

— Ланселот всегда был могуч. Его и годы не берут.

— Так почему же тогда он меня не убил? Я же молил его об этом. Я сказал ему, что если он оставит меня живым и меня залатают, я, как только поправлюсь, стану биться с ним снова.

— И Боже ты мой! — добавил он со слезами. — Как болит голова!

Артур со вздохом сказал:

---

[1] Наилучшего качества снадобье от Святого Фомы (*лат.*).

— Все оттого, что вы получили оба удара по одному и тому же месту. Это злое везение.

— Мне стыдно, что я так болею.

— А вы не думайте об этом. Лежите спокойно, а то у вас снова начнется горячка и вы еще долго не сможете биться. И что тогда с нами станется? Без нашего Гавейна, ведущего армию в бой, мы совсем потеряемся.

— Пустой я человек, Артур, — сказал Гавейн. — Остервенелый буян и только, и убить его мне не по силам.

— Самые лучшие люди всегда говорят, что они никуда не годятся. Давайте переменим тему и поговорим о чем-нибудь приятном. Об Англии, например.

— Не видеть нам больше Англии, никогда.

— Глупости! Увидим, и прямо этой весной. А весна вот-вот наступит. Вон еще когда подснежники вылезли, а у Гвиневеры, я думаю, уже и крокусы того и гляди зацветут. Она замечательно управляется с садом.

— Гвиневера была добра со мной.

— Моя Гвен со всеми добра, — с гордостью произнес старик. — Знать бы, что она сейчас делает. Наверное, спать ложится. А может быть, засиделась допоздна, беседуя с вашим братом. Как подумаешь, что они, возможно, прямо в эту минуту говорят о нас, сердце согревается: быть может, они восхваляют доблести Гавейна, или Гвен говорит о том, как ей хочется, чтобы ее старик вернулся домой.

Гавейн беспокойно заерзал на ложе.

— И я уж подумывал, не вернуться ли нам домой, — пробормотал он. — Если Ланселот так ненавидит Оркнейский клан, как уверяет Мордред, чего же он тогда щадит его главу? Может быть, он все-таки по несчастной случайности убил Гарета.

— Я уверен, что по несчастной случайности. Если бы вы помогли нам остановить эту войну, мы бы с ней быстро покончили. Вы сами знаете, мы воюем сейчас, чтобы соблюсти справедливость по отношению

к вам. В конечном счете, и я, и все остальные, кто желает сражаться, обязаны будут склониться перед вашим решением. Что до меня, то вы никого не найдете счастливее, если согласитесь прекратить войну.

— Да, но я поклялся биться с ним до смерти.

— Вы уже сделали две добрых попытки.

— И оба раза получил добрую взбучку, — горько сказал он. — Он уже два раза мог бы покончить с войной. Нет, если я сейчас примирюсь с ним, я буду выглядеть трусом.

— Самые отважные среди людей — это те, кто не боится выглядеть трусом. Вспомните, как Ланселот месяцами отсиживался в Веселой Страже, пока мы пели под стенами песенки.

— Я не могу забыть лицо нашего Гарета.

— Смерть его была горем для всех нас.

Гавейн пытался думать — то были тяжкие усилия, которые не могла для него облегчить и долгая практика. В этот темный вечер они казались тяжкими вдвойне из-за состояния, в котором пребывала его голова. Еще со времени поисков Грааля, когда Галахад нанес ему страшный удар по черепу, его стали мучить головные боли, а теперь Ланселот в двух поединках подряд сокрушал его и — по странному совпадению — ударами, наносимыми по тому же самому месту.

— Почему я должен отступиться? — спросил Гавейн. — Потому лишь, что он побил меня? Это будет похоже на бегство. Если бы мне удалось свалить его в третьей стычке, тогда да, тогда может быть. И пощадить... Тогда мы были бы квиты.

— Поля в Англии скоро покроются лютиками и ромашками, — задумчиво сказал Король. — Как было б славно добиться мира.

— Да, а какая по весне соколиная охота!

Воспоминания заставили лежащего на едва различимом ложе Гавейна повернуться, но боль, пронзившая череп, вынудила его замереть.

— Силы небесные, как дергает голову!

— Хотите, я приложу к ней влажную ткань, или, может быть, выпьете молока?

— Нет. Потерплю. Все равно не поможет.

— Бедный Гавейн. Надеюсь, он вам ничего не сломал.

— Он сломил мой дух. Давайте поговорим о другом.

Король с сомнением произнес:

— Я и так слишком разговорился. Думаю, мне лучше уйти, а вы поспите.

— Ах нет, не уходите. Не оставляйте меня наедине с самим собой. Одиночество изнуряет меня.

— Но доктор сказал...

— К дьяволу доктора. Побудьте еще чуть-чуть. Подержите меня за руку. Расскажите об Англии.

— Завтра должна прийти почта, тогда мы сможем даже почитать об Англии. Получим самые свежие новости. Молодой Мордред пришлет письмо, и, может быть, Гвен мне тоже напишет.

— Почему-то в письмах Мордреда ничего, кроме холодных приветствий, нету.

Артур поспешил оправдать сына.

— Это только из-за того, что жизнь его не баловала. Но поверьте, сердце его воистину сгорает от любви. Гвен всегда говорила, что все тепло своей души он отдал матери.

— Он был привязан к нашей матери.

— Может быть, даже влюблен в нее.

— Вот причина, почему он так завидует вам.

Эта мысль, впервые пришедшая Гавейну в голову, поразила его, будто открытие.

— Возможно, по этой же причине он и позволил сэру Агравейну убить ее, когда она вступила в любовную связь с сэром Ламораком... Бедный мальчик, жизнь обошлась с ним круто.

— Он единственный брат, какой у меня остался.

— Я знаю. Эта несчастная оплошность Ланселота — истинная трагедия.

Властитель Лоутеана лихорадочно схватился за свою головную повязку.

— Какая уж там оплошность. Я еще мог бы в нее поверить, кабы на них были шлемы, но они стояли с непокрытыми головами. Он должен был их узнать.

— Мы уже столько раз говорили об этом.

— Да. И все впустую.

С трагической робостью старик спросил:

— Не кажется ли вам возможным, Гавейн, пересилить себя и простить Ланселота, что бы там ни произошло? Я не пытаюсь заставить вас забыть о вашем долге, но если не умерять правосудия милосердием...

— Я умерю его, когда жизнь Ланселота будет зависеть только от моего милосердия, не раньше.

— Ну что же, вам решать. А вот и доктор идет, сейчас скажет мне, что я слишком у вас засиделся. Входите, доктор, входите.

Но вместо доктора в палатку шумно вступил епископ Рочестерский с пакетами и железным светильником в руках.

— Это вы, Рочестер. А мы думали — доктор.

— Добрый вечер, сэр. И доброго вечера вам, сэр Гавейн.

— Добрый вечер.

— Как голова нынче?

— Спасибо, господин мой, понемногу проходит.

— Ну, это прекрасная новость.

— А я, — лукаво прибавил он, — тоже принес неплохие новости. Почта пришла раньше ожиданного!

— Письма!

— Одно вам, — и он вручил его Королю. — Длинное.

— А для меня что-нибудь есть? — спросил Гавейн.

— На этой неделе, увы, ничего. В следующий раз повезет.

Артур пододвинулся с письмом поближе к светильнику и взломал печать.

— Вы извините меня, я-почитаю.

— Конечно. Какие могут быть церемонии, когда

приходят вести из Англии. Боже ты мой, сэр Гавейн, вот уж не думал, что на старости лет подамся в паломники и стану слоняться по иным...

Трескотня епископа вдруг замерла. Артур не сделал ни единого жеста. Он не покраснел и не побледнел, не уронил письма, не уставился перед собой неподвижным взором. Он тихо читал письмо. Но Рочестер замолк, а Гавейн приподнялся, опираясь на локоть. Приоткрыв рты, они смотрели, как он читает.

— Сэр...

— Ничего, — сказал он, отмахиваясь. — Простите меня. Новости.

— Я надеюсь...

— Прошу вас, позвольте мне дочитать. Поговорите с сэром Гавейном.

Гавейн спросил:

— Дурные вести? Могу я взглянуть?

— Нет, прошу вас, подождите минуту.

— Мордред?

— Нет. Пустяки. Доктор просил... Господин мой, мне нужно переговорить с вами снаружи.

Гавейн с трудом попытался сесть.

— Вы должны мне сказать.

— Вам не о чем тревожиться. Ложитесь. Мы сейчас вернемся.

— Если вы уйдете, ничего не сказав, я последую за вами.

— Здесь ничего важного. Вы потревожите рану.

— Что случилось?

— Ничего. Просто...

— Ну?

— Ладно, Гавейн, — сказал он, внезапно сдаваясь, — похоже, Мордред провозгласил себя Королем Англии и установил этот его Новый Порядок.

— Мордред!

— Понимаете, он объявил своим хлыстунам, что мы мертвы, — объяснил Артур, словно излагая условия задачи, — и...

— Мордред сказал, что мы мертвы?

— Он сказал, что мы мертвы, и...

Ему никак не удавалось выразить это словами.

— И что?

— Он вознамерился жениться на Гвен.

Наступило мертвое молчание, рука епископа неуверенно повлеклась к нагрудному кресту, а Гавейнова смяла ткань, покрывавшую ложе. Затем оба заговорили одновременно.

— Лорд-Протектор...

— Не может этого быть. Это шутка. Мой брат не сделал бы такого.

— К несчастью, это правда, — терпеливо промолвил Король. — Письмо от Гвиневеры, Бог весть как она управилась переслать его нам.

— Но возраст Королевы...

— Провозгласив себя Королем, он предложил ей свою руку. Помочь ей было некому. Королева приняла его предложение.

— Приняла предложение Мордреда!

Гавейн ухитрился перекинуть ноги через край ложа.

— Дядя, дайте мне письмо.

Он принял письмо из машинально расставшейся с ним нетвердой руки Короля и стал читать, наклонив лист к свету.

Артур продолжал объяснения:

— Королева приняла предложение Мордреда и попросила его разрешения отправиться в Лондон за приданым. Оказавшись в Лондоне, она с немногими, кто остался ей верен, неожиданно бросилась в Тауэр и затворилась там. Слава Богу, это крепкий форт. Сейчас они осаждают ее в Лондонском Тауэре, и Мордред использует пушки.

Рочестер ошеломленно переспросил:

— Пушки?

— Он использует пушки.

С этим разум старого священника справиться просто не смог.

— Это невероятно! — сказал он. — Объявить о

нашей смерти и жениться на Королеве! А потом еще использовать пушки...

— Теперь, когда дело дошло до пушек, — сказал Артур, — Столу конец. Мы должны поспешить домой.

— Стрелять из пушек по людям!

— Мы обязаны немедленно отправиться к ней на помощь, господин мой. Гавейн может остаться здесь...

Но Властитель Оркнея уже выбирался из постели.

— Гавейн, что вы делаете? Лягте немедленно.

— Я отправляюсь с вами.

— Гавейн, ложитесь. Рочестер, помогите мне справиться с ним.

— Последний из моих братьев нарушил вассальную клятву.

— Гавейн...

— А Ланселота... О Господи, моя голова!

Он стоял в тусклом свете, покачиваясь, обеими руками держась за повязку, и тень его шутовски металась вокруг палаточного кола.

13

Ангвису Ирландскому приснился однажды ветер, сдувший все его замки и города: нынешний ветер, похоже, пытался проделать то же самое. Ветер задувал вокруг Замка Бенвик на всех органных регистрах. Шум от него стоял такой, словно между древесных стволов продирало бессчетные нити сырого шелка, как мы продираем расческою волосы, словно груды гравия сыпались из ковша землечерпалки на прибрежный песок, словно рвались колоссальные простыни, словно били барабаны далекой битвы, словно бесконечный змей несся по миру через прорость домов и деревьев, словно тяжко вздыхали старцы, и выли женщины, и мчались куда-то стаи волков. Ветер свистел, гудел, ухал и бухал в каминных трубах. Над трубами же он завывал, как живая тварь: некое примитивное чудище, оплакивающее свое окаянство. То был дантовский ветер, сметающий журавлей и погибших любовников: не знающий отдыха Сатана, в его тяжких и гремучих трудах.

К западу от замка он терзал и утюжил море, отрывая от него целые груды воды и унося ее пеной. На суше он гнул перед собою деревья. Узловатые деревца боярышника стенали и горестно вскрикивали, их сдвоенные стволы терлись друг о друга. Птицы, оседлав с треском хлещущие воздух ветви деревьев, приникали к ним, вытянув головы к ветру и обратив свои изящные коготки в якоря. На утесах стоически восседали сапсаны, бакенбарды их, свалявшиеся от дождя, торчали сосульками в стороны, мокрые перья топорщились на головах. Дикие гуси, пробиваясь в сумерках к своим ночным становищам,

с трудом отвоевывали у воздушных струй по ярду в минуту, их нестройные клики срывало и относило назад, так что они достигали ушей, когда гуси, пролетевшие всего в нескольких футах над вами, уже скрывались из виду. Кряквы и свиязи, высоко занесенные ураганом, исчезали, еще не успев появиться.

Проникая под двери замковых покоев, порывы ветра терзали плещущее пламя расставленных по полу тростниковых свечей. Они, будто в трубах, гудели в круглых пролетах винтовых лестниц, грохали деревянными ставнями, визгливо скулили в окошках бойниц, тормошили безучастные гобелены, проходя по ним жесткими волнами, пронизывали замок насквозь. Каменные башни трепетали под ветром, содрогаясь целиком, словно басовые струны музыкального инструмента. Черепицы летели с кровель и с отрывистым треском разбивались в куски.

Борс с Блеоберисом, съежась, сидели у яркого пламени, похоже, наученного злым ветром отбрасывать свет, не давая тепла. Даже огонь казался замерзшим, словно бы нарисованным. Мучительный ветер путал их мысли.

— Но почему же они ушли так поспешно? — жалобно спрашивал Борс. — Где это видано, чтобы так вот взять да и снять осаду? Всего за одну ночь. Исчезли, будто их сдуло.

— Должно быть, дурные вести пришли. Не иначе, как в Англии что-то неладно.

— Может быть.

— Если бы они надумали простить Ланселота, они бы ему сообщили об этом.

— Все-таки странно — хвать, и уплыли, ничего не сказав.

— Как ты думаешь, может быть, Корнуолл восстал — или Уэльс, или Ирландия?

— От Древнего Люда только того и жди, — согласился закоченевший Блеоберис.

— Хотя навряд ли это мятеж. Я полагаю, Король занемог, вот и пришлось его спешно отправить домой. Или на Гавейна напала хворь. Может, у него от второго удара Ланселота ум за разум зашел?

— Может быть.

Борс пнул пламя ногой.

— Исчезнуть таким манером, без единого слова!

— А почему Ланселот ничего не предпримет?

— Да что же он может сделать?

— Не знаю.

— Король-то его изгнал.

— Да.

— Ну, и ничего тут не поделаешь.

— И все-таки, — сказал Блеоберис, — я бы хотел, чтобы он что-нибудь сделал.

В подножии башенной лестницы с треском открылась дверь. Гобелены скрутило винтом, пламя свечей взметнулось кверху, очаг выдохнул клуб дыма, и голос Ланселота, несомый ветром, позвал: «Борс! Блеоберис! Эктор!»

— Здесь.

— Где?

— Здесь, наверху.

Далекая дверь захлопнулась, и тишина воротилась в комнату. Пламя свечей снова легло, и там, где только что с трудом различался крик Ланселота, отчетливо зазвучали его шаги по каменным ступеням. Он поспешно вошел, с письмом в руке.

— Борс. Блеоберис. Я вас искал.

Они встали.

— Письмо из Англии. Гонцов выбросило на берег в пяти милях отсюда. Мы должны немедля отправляться туда.

— В Англию?

— Да, да. Конечно, в Англию. Я приказал Лионелю взять на себя транспорт, а ты, Борс, позаботься о фураже. Мы не можем ждать, пока кончится буря.

— Но зачем мы туда поплывем? — спросил Борс.

— Что за известия, объясни?

— Известия? — неопределенно сказал Ланселот. — На это нет времени. На корабле расскажу. Вот, прочитайте письмо.

Он вручил его Борсу и вышел, прежде чем они успели ответить.

— Однако!

— Прочитай, что там?

— Я даже не знаю, от кого оно.

— Может, в письме сказано.

Они еще не справились с датой, как снова вошел Ланселот.

— Блеоберис, — сказал он. — Совсем забыл. Займись лошадьми. Ну-ка, давайте сюда письмо. Если вы двое начнете его читать, вам и за ночь не управиться.

— О чем оно?

— Большую часть новостей сообщил мне гонец. Похоже, Мордред восстал против Артура, провозгласил себя Вождем Англичан, и предложил Гвиневере руку.

— Так ведь она уже замужем, — запротестовал Блеоберис.

— Потому-то они и сняли осаду. Затем Мордред, судя по всему, собрал в Кенте армию, чтобы не дать Королю высадиться. Он объявил, что Артур погиб, осадил Гвиневеру в Лондонском Тауэре и обстреливает его из пушек.

— Из пушек!

— Он встретил Артура в Дувре и дал сражение, чтобы воспрепятствовать высадке. Бой был тяжелый, наполовину на суше, наполовину на море, но Король его выиграл. Он пробился на сушу.

— А кто написал письмо?

Ланселот неожиданно сел.

— Письмо от Гавейна, от несчастного Гавейна. Он мертв.

— Мертв!

— Как же он тогда писал... — начал Блеоберис.

— Ужасное письмо. Гавейн был достойным человеком. Вы все заставляли меня сражаться с ним, не понимая, какое сердце билось у него в груди.

— Да прочти же письмо-то, — нетерпеливо сказал Борс.

— Видимо, последний удар по голове, который он от меня получил, оказался опасен. Ему вообще не следовало трогаться с места. Но он томился одиночеством, отчаянием и чувствовал себя преданным. Последний из его братьев обернулся изменником. Он настоял на том, чтобы возвратиться в Англию и помочь Королю, — и во время высадки ринулся в бой. К несчастью, он вновь получил удар по старой ране и через несколько часов умер.

— Я не понимаю, почему тебя-то это расстраивает.

— Послушайте, что здесь написано.

Ланселот поднес письмо к окну и молча просмотрел его еще раз. Было в письме что-то трогательное — почерк Гавейна так не походил на него самого. В таком человеке, каков был Гавейн, вряд ли кто-нибудь мог заподозрить литературный талант. На самом деле, более натуральным казалось, что и он, подобно большинству остальных, неграмотен. И однако же исписанный лист заполняли не заостренные буквы готики, бывшей в то время в ходу, но прелестные старогаэльские минускулы, оставшиеся такими же опрятными, округлыми и мелкими, какими были они, когда престарелый святой обучал им Гавейна в сумрачном Дунлоутеане. С той поры он писал так нечасто, что искусство, обретенное им, сохранилось во всей его красоте. То был почерк старой девы или мальчика давних времен, пишущего со тщанием, высунув язык и зацепившись ступнями за ножки стула. Несмотря на все беды и мучения старости, почерк сохранил и присущую ему

целомудренную опрятность, и изящество давно уж не модных завитков. Казалось, что из черных доспехов выступил вдруг смышленый мальчишка: совсем еще маленький, с капелькой на кончике носа, с посинелыми босыми ступнями, с корешком ламинарии в крохотном пучке моркови, на который походила его ладошка.

«Тебе, сэр Ланселот, цвет благородного рыцарства, лучший изо всех, кого только видел я и о ком слышал за всю мою жизнь, я, сэр Гавейн, сын Короля Лота Оркнейского и сын сестры благородного Короля Артура, шлю приветствие.

И я хочу, чтобы весь мир узнал, что я, сэр Гавейн, рыцарь Круглого Стола, искал смерти от твоей руки, — и умираю не по твоей вине, но по моей. И потому я заклинаю тебя, сэр Ланселот, возвратиться в это королевство и посетить мою могилу и прочитать молитву-другую за упокой моей души.

И в этот самый день, когда я пишу тебе это послание, я был смертельно ранен, но рану эту еще прежде нанес мне ты, сэр Ланселот, и я не мог бы принять смерть от руки, благороднее той, что убила меня.

Ты же, сэр Ланселот, ради всей прежней любви, что была некогда между нами...»

Ланселот прервал чтение и бросил письмо на стол.

— Нет, — сказал он, — я не могу продолжать. Он просит меня прибыть со всей поспешностью и помочь Королю в борьбе против его брата: последнего его родича. Гавейн любил свою семью, Борс, но под конец у него никакой семьи не осталось. И все же он прислал мне свое прощение. Он заявил даже, что во всем виноват он сам. Бог свидетель, он воистину был добрым братом.

— Что же нам делать, чтобы помочь Королю?

— Мы должны добраться до Англии так скоро, как только сможем. Мордред отступил к Кентербери и готовится к новой битве. Возможно, все уже кончено. И эти-то вести были задержаны штормом. Теперь все зависит от нашей быстроты.

Блеоберис сказал:

— Пойду, займусь лошадьми. Когда отплываем?

— Завтра. Сегодня. Сейчас. Едва лишь затихнет ветер. Не копайся там.

— Хорошо.

— А за тобой, Борс, фураж.

— Да.

Ланселот вышел с Блеоберисом на лестницу, но в дверях обернулся.

— Королева в осаде, — сказал он. — Мы должны ее выручить.

— Да.

Оставшийся наедине с ветром Борс с любопытством поднял письмо. Он наклонил его к гаснущему свету, любуясь z-образными g, кудрявыми b, искривленными подобно лезвиям плуга t. Каждая крохотная строка была словно борозда с вывернутым пластом земли, от нее веяло свежестью, как от распаханной нови. Но на краю листа борозда обрывалась. Борс перевернул лист, рассмотрел бурую подпись и по складам прочитал заключение, шевеля губами, пока трепетали свечи, клубился дым и выл ветер

«А время написания этого письма — всего лишь за два с половиной часа до моей смерти, и писано оно моею собственной рукой и подписано кровью моего сердца.

Гавейн Оркнейский»

Борс дважды выговорил это имя и стиснул зубы. Гавейн.

— Небось, — с сомнением произнес он, — они там, на Севере, произносят его имя как-нибудь вроде

Кухулина. Ничего в этих древних языках не поймешь.

Он положил письмо, отошел к мрачному окну и принялся напевать песенку, называвшуюся «Дым, дым на холме», слова которой унесло от нас волнами времени. Быть может, они походили на нынешние, на те, что гласят:

И все еще Шотландия в сердцах,
Кровь горяча, и снятся нам Гебриды.*

---

* Перевод С. Степанова.

14

Тот же заунывный ветер дул и в Солсбери, над шатром Короля. В шатре стояла покойная тишь — сравнительно с буйством снаружи. Его отличала роскошь убранства, создаваемая царственными гобеленами (Короля сопровождал Урия, по-прежнему рассеченный надвое), покрытым пышными мехами ложем, ярким блеском свечей. Шатер был просторный. В глубине его тускло поблескивала на вешалке королевская кольчуга. Дурно воспитанный сокол, имевший порочное обыкновение время от времени пронзительно вскрикивать, неподвижно стоял, вцепившись, как попугай, в жердочку, накрытый клобучком и погруженный в какие-то унаследованные от предков кошмары. Гончая, белая, словно слоновая кость, настороженно лежала, опираясь на все четыре лапы и с жалостью глядя на Короля ласковыми глазами оленихи. У постели виднелась чудесная эмалевая шахматная доска с фигурами из яшмы и хрусталя, стоявшими в матовой позиции. Всюду лежали бумаги. Они покрывали стол секретаря, налой для чтения, стулья, — скучные правительственные документы, которыми он, несмотря ни на что, продолжал заниматься, документы, касавшиеся так и не сведенных в единый кодекс законов, интендантства, вооружения и распорядка дня. Огромная учетная книга лежала раскрытой на справке, посвященной бедняге по имени Вильям-с-Лужайки, не явившемуся в суд и приговоренному к повешению (suspendatur) за грабеж. На полях опрятным почерком секретаря была проставлена краткая эпитафия: «*susp.*», вполне отвечавшая общему трагическому настроению. Налой покрывали бесчисленные стопы прошений и выписок с уже обозначенными на них решениями и подписью Короля. На тех, с кото-

рыми Король был согласен, он старательно надписывал «Le roy le veult»[1]. Отвергнутые прошения помечались уклончиво-вежливой формулой, к которой всегда прибегают царствующие особы: «Le roy s'advisera»[2]. Читальный налой вместе с креслом был вырезан из одного куска дерева, в этом-то кресле, понурясь, и сидел Король. Голова его лежала среди документов, приведенных ею в беспорядок. Казалось, Король уже умер, — да он и близок был к этому.

Артур устал. Две выигранных им битвы — одна под Дувром, другая в Бархем-даун, — надломили его. Жена его лишилась свободы. Самый старый из друзей находился в изгнании. Собственный сын пытался его убить. Гавейна похоронили. Круглый Стол распался. В стране шла война. И все же он смог бы выстоять так или этак, если бы не было уничтожено главное, во что он верил всем сердцем. Давным-давно, когда разум его еще принадлежал шустрому мальчишке по имени Варт, он попал в обучение к доброму и благожелательному старику с развевающейся белой бородой. Мерлин научил его верить, что человек способен к совершенствованию, что в целом ему свойственна скорее порядочность, чем скотство, что добро стоит усилий, что никакого первородного греха не существует. И из мальчика выковали оружие, способное помочь человеку, — в предположении, что человек добр. Его заблуждавшийся старый наставник создал из него некое подобие Пастера или Кюри, или терпеливого открывателя инсулина. Служение, для которого он был предназначен, состояло в противлении Силе, умственному расстройству человечества. Его Круглый Стол, его идея Рыцарства, его Святой Грааль, его приверженность Правосудию — все они были последовательными шагами в борьбе, для которой он был сформирован. Он походил на ученого, всю свою жизнь отыскивающего возбудителя рака. Покончить с Силой, сделать человека счастливее. Но в

---

[1] Такова королевская воля (*фр.*).
[2] Король подумает (*фр.*).

основе всей постройки лежала исходная предпосылка: человеку присуща порядочность.

Когда он оглядывался на свою жизнь, ему начинало казаться, что все это время он пытался преградить путь половодью, а оно, едва обузданное, прорывалось в новом месте, заставляя его снова браться за работу. То был разлив неодолимой Силы. В начальные дни, еще до женитьбы, он норовил — в битвах с Гаэльской конфедерацией — сломить силу силой и обнаружил лишь, что злом зла не поправишь. Однако ему удалось сокрушить романтические феодальные представления о том, что такое война. Затем, с помощью Круглого Стола, он попытался обуздать жестокость в ее сравнительно слабых проявлениях, чтобы можно было использовать силу для достижения полезных целей. Он отправлял могучих мужей спасать угнетенных, исправлять содеянное зло, — смирять индивидуальную мощь баронов, как сам он смирил мощь королей. И они занимались этим, пока по прошествии времени цель не оказалась достигнутой, — но сила так и осталась у него на руках не усмиренной. Ему пришлось отыскивать новый канал, и он поставил своих бойцов на службу Богу, отправив их на поиски Святого Грааля. Но и это кончилось поражением, поскольку преуспевшие в Поиске достигли совершенства и оказались для мира утраченными, а потерпевшие неудачу, как вскоре выяснилось, лучше не стали. В конце концов он счел необходимым начертать как бы карту силы, опутав последнюю сетью законов. Он попытался систематизировать злонамеренное применение силы отдельными личностями, чтобы можно было поставить ему пределы в безличностном государственном правосудии. Он готов был принести в жертву этому правосудию жену и лучшего друга. И когда сила отдельных людей, казалось, была обуздана, Принцип Силы снова замаячил у него за спиной, обернувшись коллективным насилием, взаимосвязью жестокости, многолюдными армиями, неподвластными установленным для отдельных людей законам. Он стеснил единич-

ную силу, но для того лишь, чтобы оказаться лицом к лицу со множественной. Победив убийство, он столкнулся с войной. А на нее законы не распространялись.

Войны его ранней поры, те, что он вел против Лота или Диктатора Рима, имели целью подорвать феодальные представления о войне, как о лисьей охоте или спортивных играх с выкупом в виде приза победителю. С этой целью он ввел в обращение идею тотальной войны. И вот, когда он достиг старости, эта же самая тотальная война воротилась к тому, кто ее породил, в облике тотальной ненависти, столь похожей на современные виды вражды.

И сейчас, упокоив чело на бумагах и сомкнув веки, Король изо всех сил старался не думать. Ибо если первородный грех все-таки существует, если человек по природе своей — злодей, если Библия права, утверждая, что человек прежде всего лжив и безнадежно порочен, тогда целью всей его жизни была тщета. Рыцарство и правосудие оборачиваются детскими мечтаниями, если главный ствол, к которому он пытался привить их, — это хлыстун, и никто иной, Homo ferox[1] вместо Homo sapiens[2].

Однако за этой мыслью стояла другая, еще худшая, на которую он не осмеливался и замахнуться. Возможно, человек не добр и не дурен, возможно, он просто машина, работающая в неодушевленной вселенной, и доблесть его есть не более, чем рефлекторный отклик на опасность, — сродни машинальному подскоку при булавочном уколе. Возможно, и не существует никаких добродетелей, если только не считать добродетелью этот самый подскок, и человечество — это всего лишь механический ослик, вовлеченный железной морковкой, которую именуют любовью, в бессмысленно однообразный труд воспроизведения рода. Возможно, Сила — это просто закон Природы, потребный для поддержания в нужной

---

[1] Человек свирепый (*лат.*).
[2] Человек разумный (*лат.*).

форме тех, кто выживает после столкновения с ней. Возможно, и сам он...

Но он не решался глубже вникать в эту мысль. Он чувствовал себя так, словно что-то отмерло у него между глаз, там, где нос соединяется с черепом. Он не мог спать. Ему снились дурные сны. Завтра решающая битва. А ему еще нужно прочитать и подписать все эти бумаги. Но и читать или подписывать их он тоже не мог. Не мог оторвать голову от стола.

Почему сражаются люди?

Старик всегда старался оставаться честным в своих размышлениях, не испытывая, впрочем, особенных озарений. Ныне его утомленный мозг то и дело норовил соскользнуть на ставшие уже привычными круги: проторенные пути, вроде того, по которому кружит мельничный ослик. Артур уже тысячи раз проходил ими и никуда не пришел.

Виной ли тому безнравственные вожди, влекущие невинные народы к уничтожению, или безнравственны сами народы, выбирающие себе вождей по душе? Казалось бы, маловероятно, что один-единственный Вождь способен принудить к чему-то целый миллион англичан. Если бы, к примеру, Мордреду приспичило заставить всех англичан до единого носить детские юбочки или стоять на головах, — вряд ли они устремились бы в его партию, сколь бы умны, убедительны, соблазнительны или даже угрожающи ни были доводы, коими он их стал бы приманивать. Уж наверное, вождь вынужден предлагать тем, кого он ведет, нечто для них привлекательное? Он может, конечно, подтолкнуть рушащееся здание, но и само здание, видимо, должно зашататься, прежде чем рухнуть? А если так, то значит и войны вовсе не являются бедствиями, в которые злые люди вовлекают добреньких простаков. Они представляют собой национальные движения, по происхождению своему куда более загадочные и глубокие. Да, собственно, и не было у него ощущения, будто это он или Мордред довели страну до нынешнего несчастного состояния. Если бы водить страну туда-сюда было так же лег-

ко, как свинью на веревке, почему же тогда он не смог привести ее к рыцарству, правосудию и миру? А ведь он старался.

Но тогда, — он пошел по второму кругу, все это сильно смахивало на дантовский Ад, — если на самом деле не он и не Мордред вызвали нынешние несчастья, кто же был их причиной? Как вообще начинаются войны? Ибо любая новая война, похоже, является следствием предыдущих. Мордред ведет к Моргаузе, Моргауза к Утеру Пендрагону, Утер к собственным предкам. Как если бы Каин убил Авеля и захватил его земли, и с тех пор род Авеля все старается отвоевать свои наследственные владения. Безумие длится за веком век, отвечая злом на зло и резней на резню. Никто от этого не выигрывает, поскольку потери всегда несут обе стороны, но и выпутаться из этого никому не по силам. В нынешней войне можно винить его или Мордреда, но в ней повинны и миллион хлыстунов, и Ланселот, и Гвиневера, и Гавейн — все и каждый. Тем, кто живет мечом, суждено от меча и погибнуть. И видимо, все пути будут вести к беде до той поры, пока человек не желает забыть о прошлом. Зло, сотворенное Утером, и зло, сотворенное Каином, можно исправить, но только если, благословясь, забыть и то, и другое.

Сестры, матери, бабушки: все коренится в прошлом! Любые деяния, совершенные при жизни одного поколения, могут привести к непредсказуемым последствиям при жизни другого, так что даже чихая, мы кидаем в пруд камушек, круги от которого способны достичь и самого дальнего берега. И видимо, единственная надежда состоит в том, чтобы вообще ничего не делать, пребывать в покое, подобно камушку, которого никто никуда не бросал. Однако ведь и это противно.

Что справедливо, что несправедливо? Чем отличается деяние от недеяния? Если бы мне пришлось начинать сначала, думал старый Король, я бы укрылся в монастыре, страшась Деяния, способного накликать беду.

Благословенное забвение — вот что существеннее всего. Если всему, что содеяно тем или иным человеком или пращурами его, суждено в дальнейшем порождать кровопролитие, следовательно, нужно стереть прошлое и все начать заново. Человек обязан быть готов к тому, чтобы сказать: да, несправедливость существовала со времен Каина, но если мы примем status quo, мы лишь продлим наши бедствия. Земли наши будут разграблены, люди убиты, народы унижены. Чем жить, глядя и вперед, и назад, давайте-ка лучше начнем все сначала. Мстя за прошлое, мы будущего не построим. Присядем рядом, как братья, и примем Божий мир.

Увы, в каждой новой войне именно это и говорилось. Люди вечно твердили, что уж эта-то война, точно, последняя, а после нее настанет райская жизнь. Они всегда норовили выстроить новый мир — такой, какого никто еще не видел. Однако, когда приходило время строительства, оказывалось, что они для него слишком глупы. Будто дети, с криком требующие, чтобы им разрешили построить дом, — однако стоит им приступить к строительству, сказывается отсутствие практических навыков. Никак им не удается правильно выбрать строительные материалы.

Мысли старика прилежно подвигались вперед. Они никуда его не вели: они возвращались на собственные пути и проходили их дважды, но он свыкся с ними и остановиться не мог. Он вступил на следующий круг.

Возможно, главная причина войны это обладание собственностью, как и уверял этот коммунист, Джон Болл. «Дела английские идут худо, — заявил он, — и идти им так до поры, пока всякая вещь не станет общей и не будет уже ни виллана, ни господина.» Возможно, войны разражаются из-за того, что люди вечно твердят: *мое* королевство, *моя* жена, *мой* любовник, *мои* владения. И он, и Ланселот, и все остальные всегда втайне сознавали это. Возможно, до тех пор, пока люди пытаются владеть хоть чем-то по отдельности друг от друга, пусть даже душой и

честью, им так и предстоит воевать. Голодный волк будет вечно нападать на нагулявшего жирок оленя, бедняк — грабить банкира, серв — восставать против высших классов, а нищие народы — биться с богатыми. Возможно, войны только и ведутся между имущими и неимущими. Тут, правда, есть одно возражение: никому еще не удавалось определить, что такое «иметь». Рыцарь в серебряных доспехах, стоит ему повстречаться с рыцарем в золотых, тут же объявляет себя неимущим.

Но предположим на миг, думал он, что «имение», как бы мы ни определили его, что оно-то и есть корень зла.

Я имею, а Мордред не имеет. Из чувства противоречия он возразил сам себе: представлять дело так, будто Мордред или я вызвали эту бурю, — нечестно. Мы лишь подставные лица, за которыми стоят куда более сложные силы, действующие, судя по всему, под влиянием каких-то иных побуждений. Выглядит это так, словно некий импульс продирает все общество. Сейчас уже и Мордред почти беспомощен, его понукают люди, слишком многочисленные, чтобы их сосчитать: те, кто верит в истинность сказанного Джоном Боллом и надеется, утверждая всеобщее равенство, подобраться к власти, или те, кто видит в любом перевороте возможность протолкнуться вперед, прибегая к силе. Похоже, что этот импульс идет снизу. Последователи Болла и Мордреда — это желающие возвыситься неудачники, или рыцари, не игравшие заметной роли при Круглом Столе и оттого ненавидящие его, или бедняки, желающие богатства, или безвластные, рвущиеся к власти. А мои люди, для которых я не более чем талисман или знамя, — это рыцари, возглавлявшие Круглый Стол, богачи, защищающие свои владения, обладатели власти, не желающие с ней расставаться. Это силовая борьба имущих с неимущими, безумное столкновение множества людей, и вожди их тут почти ни при чем. Но ладно, пусть. Согласимся со смутной идеей о том, что войну вызывает «имение» как таковое. В таком слу-

чае, правильным был бы полный отказ от владения чем бы то ни было. Именно его, как время от времени напоминал Рочестер, и рекомендовал нам Господь. Говорено ведь было и богатому об игольном ушке, и о ростовщиках тоже. Вот почему, по словам Рочестера, Церковь не может слишком часто вмешиваться в скорбные дела мира сего, ибо нации, классы и отдельные личности вечно кричат «мое, мое» там, где Церковь учит говорить «наше».

Если это верно, тогда вопрос не только в том, чтобы разделить имущество. Тогда делить следует все — даже мысли, чувства, жизни. Господь повелел людям отказаться от жизни, в которой каждый — сам по себе. Господь сказал, что лишь те, кто сможет отбросить свои ревнивые я, пустые индивидуальные представления о счастье и горе, лишь те почиют в мире и войдут в число избранных. Тому, кто хочет спасти свою жизнь, следует ее потерять.

И однако же нечто в старой седой голове не могло принять правоверную точку зрения. Очевидно, конечно, что лучшее целебное средство от рака матки состоит в том, чтобы матки и вовсе не иметь. Быстродействующие радикальные снадобья могут избавить вас от чего угодно — в том числе и от жизни. Идеальный совет, которому, правда, никто не в силах последовать, состоит в том, чтобы не принимать никаких советов. Небесные советы для земли бесполезны.

Новый истоптанный круг поплыл, вращаясь, в его голове. Возможно, войны ведутся из страха — из опасений за свою безопасность. Если истины не существует, если истина не поведана людям, тогда во всем, что лежит вовне отдельного человека, таится опасность. Да и поведав истину себе самому, все равно остаешься неуверенным в ближнем. Эта неопределенность способна в конце концов привести к тому, что начнешь видеть в ближнем угрозу. Так, во всяком случае, объяснял причину войн Ланселот. Он говорил, что самым насущным из всего, чем человек обладает, является его Слово. Бедный Ланс, он свое

слово нарушил, и все же не много существовало на свете людей, чье слово было бы столь же надежным.

Возможно, войны случаются потому, что народы не верят в Слово. Напугавшись, они лезут в драку. Народы, как люди, — им тоже присущи чувства неполноценности или превосходства, мстительности или страха. И рассматривать отдельного человека как олицетворение целой нации — дело вполне разумное.

Подозрительность и страх, обладание и жадность, негодование по поводу сотворенного предками зла — все это составные части единого целого. И все-таки, перебирая их, решения не отыщешь. К настоящему решению Королю подобраться не удавалось. Он был слишком стар, изнурен и несчастен, чтобы додуматься до чего-либо нового. Он был всего только человеком, возжелавшим лучшего и пошедшим в своих размышлениях путем, на который его толкнул чудаковатый волшебник, питавший слабость к роду людскому. Последней его попыткой стала идея о справедливости, состоявшая в том, чтобы не совершать ничего несправедливого. Но и она привела к неудаче. Выснилось, что делать что-либо вообще — до крайности трудно. Хотя себя-то он умудрился отделать весьма основательно.

Но, как видно, не до конца — и Артур доказал это, подняв голову от стола. В душе его присутствовало нечто непобедимое — величие, настоенное на простоте. Он выпрямился и потянулся к железному колокольчику.

— Паж, — сказал он, когда в шатер, спотыкаясь и протирая кулаками глаза, вошел мальчуган.

— Мой господин.

Король пригляделся к нему. Даже в крайних его обстоятельствах он сохранял способность замечать других людей, особенно новых или достойных. Когда он в палатке утешал сломленного Гавейна, более всех в утешении нуждался он сам.

— Бедное дитя, — сказал он. — Тебе бы сейчас спать крепким сном.

Он вглядывался в мальчика с напряженным и утомленным вниманием. Давно уже не сталкивался он лицом к лицу с невинной ясностью отрочества.

— Послушай, — сказал он, — ты не мог бы доставить эту записку епископу? Только не буди его, если он спит.

— Мой господин.

— Спасибо.

Мальчик уже выходил, когда Король окликнул его.

— Обожди, паж.

— Мой господин?

— Как твое имя?

— Том, мой господин, — почтительно ответил он.

— Где ты живешь?

— Близ Уорвика, мой господин.

— Близ Уорвика.

Казалось, старик пытается представить себе это место, как если б оно было Раем Земным или страной, описанной Мандевиллем.

— В местечке, называемом Ньюболд Ривел. Там красиво.

— Сколько тебе лет?

— В ноябре будет тринадцать, мой господин.

— А я продержал тебя на ногах целую ночь.

— Нет, мой господин. Я поспал на одном из седел.

— Том из Ньюболд Ривел, — с удивлением сказал Король. — Сколько же людей мы в это втянули. Скажи мне, Том, что ты собираешься делать завтра?

— Я буду сражаться, сэр. У меня есть добрый лук.

— И ты будешь убивать из этого лука людей?

— Да, мой господин. Я надеюсь убить многих.

— А если убьют тебя?

— Тогда я умру, мой господин.

— Понимаю.

— Так я отнесу письмо?

— Нет. Погоди немного. Мне хочется с кем-нибудь поговорить, только в голове у меня все как-то спуталось.

— Принести вам вина?

— Нет, Том. Сядь и постарайся выслушать меня. Сними эти шахматы с табурета. Ты хорошо все понимаешь, когда тебе рассказывают о чем-нибудь?

— Да, мой господин. Я понятливый.

— А поймешь ты меня, если я попрошу, чтобы ты не сражался завтра?

— Мне хочется сражаться, — решительно сказал мальчик.

— Всем хочется сражаться, Том, но никто не знает — почему. Допустим, я попрошу тебя не сражаться, в виде особой услуги Королю? Ты это сделаешь?

— Я сделаю то, что мне прикажут.

— Тогда слушай. Присядь на минуту, я расскажу тебе одну историю. Я человек очень старый, Том, а ты юн. Когда ты состаришься, ты сможешь пересказать другим то, что я расскажу тебе этой ночью, и я хочу, чтобы ты это сделал. Это тебе понятно?

— Да, сэр. Я думаю, да.

— Расскажи об этом так. Жил некогда король и звали его Король Артур. Это я. Когда он взошел на английский трон, он обнаружил, что все короли и бароны дерутся друг с другом, как сумасшедшие, и поскольку им были по карману дорогие доспехи, не существовало практически ничего, способного помешать им поступать как вздумается. Они творили много дурного, ибо жили, полагаясь на силу. И вот королю пришла в голову мысль, что силу должно использовать, если ею вообще стоит пользоваться, ради справедливости, а не ради самой силы. Слушай внимательно, мальчик. Он думал, что если ему удастся заставить баронов сражаться за правду, помогать слабым, исправлять злые дела, то все их драки могут оказаться не столь дурными, какими они некогда были. И он собрал вместе всех честных и добрых людей, каких только знал, и произвел их в рыцари, и научил их тому, что придумал, и усадил их за Круглый Стол. В те счастливые дни их было сто пятьдесят человек, и Король Артур всем сердцем любил Круглый Стол. Он гордился им больше, чем

своей любимой женой, и новые рыцари его многие годы убивали страшных великанов, питавшихся человечиной, и спасали девиц, и выручали несчастных из заточения, и старались наставить мир на праведный путь. Такова была мысль Короля.

— По-моему, это была добрая мысль, мой господин.

— И добрая и недобрая вместе. Один Бог ведает.

— А что случилось с Королем под конец? — спросил мальчик, решив, что рассказ Короля завершен.

— По некоей причине, дела пошли худо. Стол раскололся на части, началась злая война, и в ней все были убиты.

Мальчик уверенно перебил его.

— Нет, — сказал он, — не все. Король победил. Мы победим.

Артур неопределенно улыбнулся и покачал головой. Ему нужна была только правда.

— Все были убиты, — повторил он, — кроме одного пажа. Я знаю, о чем говорю.

— Мой господин?

— Этого пажа звали Томом из Ньюболд Ривел, что близ Уорвика, и перед битвой старый Король отослал его под страхом ужасного бесчестья. Видишь ли, Король желал, чтобы остался кто-то, кто будет помнить про его славную мысль. Ему очень хотелось, чтобы Том вернулся в Ньюболд Ривел, и вырос мужчиной и прожил в Уорвикшире мирную жизнь, — и хотелось, чтобы Том рассказал всем, кто пожелает слушать, об этой старинной мысли, которая им обоим показалась когда-то доброй. Как ты думаешь, Томас, ты сможешь сделать это, чтобы порадовать Короля?

Глядя на Короля чистыми глазами безукоризненно честного человека, мальчик сказал:

— Для Короля Артура я все готов сделать.

— Вот храбрый малый. Теперь послушай меня. Постарайся, чтобы в голове у тебя не перепутались герои всех известных тебе легенд. Это я пересказал тебе мою мысль. Это я собираюсь повелеть тебе взять

коня и не медля отправиться в Уорвикшир и не встревать со своим луком в завтрашнее сражение. Ты все понял?

— Да, Король Артур.

— Ты пообещаешь мне впредь соблюдать осторожность? Помнить, когда дела в стране пойдут плохо и надеяться останется лишь на то, что ты уцелеешь, помнить о том, что ты — своего рода сосуд, в котором хранится наша мысль?

— Я обещаю.

— Это кажется проявлением эгоизма с моей стороны — использовать тебя таким образом.

— Это честь для бедного пажа, добрый господин мой.

— Томас, моя мысль о рыцарстве — это все равно что свеча, вот вроде этих. Я нес ее долгие годы, защищая рукой от ветра. Нередко она норовила погаснуть. Ныне я вручаю свечу тебе, — ты понесешь ее дальше?

— Она будет гореть.

— Добрый Том. Светоносец. Сколько тебе лет, говоришь?

— Почти тринадцать.

— Быть может, еще лет шестьдесят. Половина столетия.

— Я передам ее другим людям, Король. Англичанам.

— Ты скажи им там, в Уорвикшире: что, не чудесной ли красоты свечу он нес?

— Скажу, приятель, уж это я им скажу.

— Ну, значит, так. Давай, Том, двигай, пора тебе поторапливаться. Возьми себе лучшего сына кобылы, какого найдешь, и дуй в Уорвикшир да так, чтобы тебя и кроншнеп не догнал.

— Я поскачу во весь дух, дружище, чтобы свеча не погасла.

— Ну что ж, добрый Том, благослови тебя Бог. Да про епископа не забудь, про Рочестера-то, как мимо поедешь.

Мальчик встал на колени, чтобы поцеловать руку

своего господина, — накидка на его худых плечах, с гербом Мэлори, казалась до нелепости новой.

— Господин мой Властитель Англии, — сказал он.

Артур ласково поднял его, чтобы поцеловать в плечо.

— Сэр Томас из Уорвика, — сказал он, — и мальчик исчез.

Мгла стояла в пустом величавом шатре. Ветер выл, оплывали свечи. В ожидании епископа старый, старый человек присел за читальный налой. Время шло, и голова его никла к бумагам. Глаза следившей за ним гончей, поймав отблеск свечей, горели призрачным блеском, словно янтарные чаши с погребальным огнем. Снаружи забухали пушки Мордреда — им предстояло палить во тьме до самой утренней битвы. Король, опустошенный последним усилием, отдался печали. Даже когда рука его гостя отвела полог шатра, тихие капли продолжали стекать по носу и падать на пергамент с ударами, мерными, как у древних часов. Он отвернул в сторону голову, — он не желал, чтобы его видели, но большего сделать не мог. Полог упал, и в шатер медленно вступила странная фигура в плаще и шляпе.

— Мерлин?

Но у входа не было никого: Мерлин привиделся ему в старческой дреме.

Мерлин?

Он вновь начал думать, но теперь так ясно, как никогда. Он вспомнил престарелого некроманта, который учил его, — учил на примере животных. Существует, припомнил он, что-то около полумиллиона различных животных видов, и человек — всего лишь один из них. Конечно, человек тоже животное, не растение же и не минерал, верно? И Мерлин научил его при посредстве животных тому, что отдельный вид может узнать очень многое, вникая в проблемы, стоящие перед тысячами других видов. Он вспомнил воинственных муравьев, проводивших границы, и мирных гусей, не проводивших границ. Он вспомнил урок, преподанный барсуком. Вспомнил Лё-лёк и ос-

тров, увиденный ими во время перелета, остров, на котором мирно сожительствовали все эти тупики, гагарки, чистики и моевки, сохраняя собственные разновидности цивилизации, не ведая войн, — потому что и они не проводили границ. И вся проблема внезапно легла перед ним просто, словно на карте. Самое фантастическое в любой войне состоит в том, что ведется она из-за ничего — в доподлинном смысле этого слова. Границы — суть воображаемые линии. Никакой зримой линии между Англией и Шотландией не существует, хотя из-за нее-то и давались сражения при Флоддене и Бэннокберне. Одна лишь география являлась причиной — политическая география. И все. Народы вовсе не нуждаются ни в единообразии цивилизаций, ни в единообразии вождей, — не больше, чем тупики или чистики. Пусть себе, подобно эскимосам и готтентотам, сохраняют собственную цивилизацию каждый, пока они в состоянии предоставить друг другу свободу торговли, свободу проезда и доступ в иные края. Странам следует обратиться в графства, — но в графства, сохраняющие собственную культуру и местные законы. Все, что требуется сделать, — это не воображать больше воображаемых линий на поверхности земли. Перелетные птицы обошлись без них, ибо такова их природа. Каким безумием казались границы Лё-лёк и еще покажутся человеку, если он сможет научиться летать.

Старый Король чувствовал себя исполненным бодрости, голова была совершенно ясной, он почти готов был начать все сначала.

Настанет когда-нибудь день, — должен настать, — и он возвратится в Страну Волшебства с новым Круглым Столом, у которого не будет углов, как нет их у мира, столом без границ между нациями, которые усядутся за ним для общего пиршества. Надежда на это коренится в культуре. Пока людей удается уговорить читать и писать, а не только есть

да предаваться плотской любви, все-таки существует возможность того, что они образумятся.

Но в ту ночь слишком поздно было для новых усилий. В ту пору судьба назначила ему умереть и, как кое-кто уверяет, быть перенесенным в Авалон, где он мог ожидать лучших дней. В ту пору судьба Ланселота и Гвиневеры состояла в том, чтобы принять постриг, а судьба Мордреда — в том, чтобы погибнуть. Судьба человека — того ли, иного — это нечто менее капли, пусть и сверкающей, в огромном и синем волнении озаренного солнцем моря.

Пушки противника громыхали тем разодранным в клочья утром, когда Его Величество Король Англии с миром в душе шагнул навстречу грядущему.

EXPLICIT LIBER REGIS QUONDAM
REGISQUE FUTURI

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗАНОВО

Перевод латинских терминов

Incipit Liber Primus (Secundus, Tertius, Quartus) — начинается Книга Первая (Вторая, Третья, Четвертая).

Explicit Liber... — завершается Книга...

Explicit Liber Regis Quondam Regisque Futuri — завершается Книга о Короле Былого и Грядущего.

СОДЕРЖАНИЕ

Книга Третья

РЫЦАРЬ, СОВЕРШИВШИЙ ПРОСТУПОК

5

Книга Четвертая

СВЕЧА НА ВЕТРУ

301

Scan Kreider

Литературно-художественное издание

Теренс Хэнбери Уайт

СВЕЧА НА ВЕТРУ

Перевод с английского
Сергея Ильина

Зав. редакцией *Александр Кононов*
Редактор *Александра Глебовская*
Художник *Владимир Канивец*
Художественный редактор *Виктор Меньшиков*
Технический редактор *Татьяна Раткевич*
Корректоры: *Елена Серпокрылова, Нина Васильева*
Верстка *Светланы Широкой*

Подписано к печати с оригинала-макета 23.03.92.
Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Гарнитура школьная.
Печать высокая. Усл. печ. л. 25,2.
Тираж 200 000 экз. Изд. № 95. Заказ 294.

Издательство «Северо-Запад».
191187, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 18

Отпечатано с оригинала-макета в ГПП «Печатный Двор»
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.



fantasy

Рыцарь Совершивший Проступок
Свеча на ветру



·Северо-Запад·®